А. В. Перцев

Молодой Ясперс:

рождение экзистенциализма из пены психиатрии

К. Ясперс
Философская автобиография

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Карл Ясперс (1883–1969) — одна из ключевых персон в интеллектуальной жизни XX в. Он был психиатром, философом, культурологом. Вопреки времени, редко оставлявшему место для гуманности, он стремился «сохранить человека», и вопреки мнению большинства психиатров, считал возможным говорить о душе. Был экзистенциализм философской программой или способом сохранить себя? Как рождалось самое мощное философское движение? Благодаря и вопреки чему Ясперс стал столь ярким мыслителем? Это лишь некоторые вопросы, поднимаемые автором книги. Дополняет издание «Философская автобиография» К. Ясперса, до настоящего времени малодоступная в русском переводе. Автор книги и перевода — Александр Владимирович Перцев, профессор, доктор философских наук, специалист по современной западной философии, известный также своими переводами Ф. Ницше, К. Ясперса, П. Слотердайка, Ф. Г. Юнгера и др.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся современной философией и психологией.

- Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии
  - ○
  - ○ От автора
  - ○ Часть I. Детство экзистенциалиста
    - ■ Глава I. Родня и почва
      - ■ Болота экзистенциализма
      - ■ Прадед — контрабандист
      - ■ Дед по отцу: любитель аристократического образа жизни
      - ■ Дед по матери: патриархальный авторитет
      - ■ Родители: единение крайностей
    - ■ Глава II. Неприкаянность
      - ■ Тоска по родине в родном городе
      - ■ Мир подлинный и мир неподлинный: необходимость коррекции сказок
    - ■ Глава III. О жизненных неприятностях — внешних и внутренних
      - ■
      - ■ Ужас перед школой: предчувствие неизбежного

- Недостаток дыхания и избыток духа
- Часть II. Преступная тоска по родине: почему Ясперс взялся писать диссертацию о девочках — убийцах
  - Глава IV. Философия как путь к исцелению
    - Несколько необязательных замечаний — только для профессионалов
    - Жизнь молодого Ясперса: тотальная абсурдность или полная осмысленность?
    - Cogito ergo sum: попытка медицинской интерпретации тезиса
  - Глава V. Диссертация «Тоска по родине и преступления»: с Декартом против медицинского материализма
    - О важности хитроумия при выборе диссертационной темы
    - Девочки — убийцы с хорошими задатками: о ценности эмпирического материала в психиатрии
    - Наблюдения клиники
  - Глава VI. Тоска по родине без преступлений: что с самого начала хотелось сказать врачебному миру
    - Нужно ли психиатру читать книги?
    - Ностальгия по версии И. Хофера: смехотворность вульгарного материализма
    - Ностальгия по версии Ларрея: приговор медицинскому вульгарному материализму
    - Можно ли описывать внутренний мир человека с такой же точностью, с какой физики описывают мир внешний?
- Приложение. К. Ясперс Философская автобиография[121]
  -
  - 1. Детство и юность
  - 2. Психопатология
  - 3. Психология мировоззрений
  - 4. Риккерт
  - 5. Философия
  - 6. Эрнст Майер
  - 7. Университет
  - 8. Политическое мышление
  - 9. Философская логика
  - 10. Хайдеггер
  - 11. Теология и философская вера

- 12. Идея всемирной истории философии
- 13. О моих произведениях в целом
- 14. Старость

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121

Молодой Ясперс: рождение экзистенциализма из пены психиатрии

Автор — переводчик Ф. Ницше, К. Ясперса, П. Слотердайка, Ф. Г. Юнгера, специалист по современной западной философии, доктор философских наук, профессор Уральского Федерального университета — посвящает эту книгу своей матери В. А. Перцевой, выдающемуся врачу.

От автора

Экзистенциализм — это повествование о том, как человека тянет домой из дома.

Был экзистенциалистом, сам не ведая того, уже апостол Павел, который воскликнул в отчаянии: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»[1].

Был экзистенциалистом и Данте Алигьери, тринадцать веков спустя написавший: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу»[2].

А совсем уж недавно — всего лишь меньше века тому назад — прекрасную экзистенциалистскую притчу рассказал Леонид Осипович Утесов:

«В одном маленьком городишке жил человек. Был он очень беден, и семья у него, как у большинства бедняков, была большая, а заработков почти никаких. Но однажды кто-то сказал ему: “Зачем ты мучаешься здесь, когда в тридцати верстах отсюда есть город, где люди зарабатывают сколько хотят. Иди туда. Там ты будешь зарабатывать деньги, будешь посылать семье, разбогатеешь и вернешься домой”…

И он отправился в путь. Дорога в город, куда он направился, лежала в степи. Он шел по ней целый день, а когда настала ночь, лег на землю и заснул. Но чтобы утром знать, куда идти дальше, он вытянул ноги туда, где была цель его путешествия. Спал он беспокойно и во сне ворочался, и когда к концу следующего дня он увидел город, то он был очень похож на родной его город, из которого он вышел вчера. Вторая улица справа была точь — в-точь как его родная улица. Четвертый дом слева был такой же, как его собственный дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина, как две капли воды похожая на его жену. Выбежали дети — точь- в — точь его дети, и он остался здесь жить. Но всю жизнь его тянуло домой»[3].

Почему человека тянет домой из дома?

Об этом более двух тысячелетий пытались размышлять литераторы и священники, психологи и философы.

Одним из них был Карл Ясперс (1883–1969), о котором повествует эта книга. Он вначале учился на медицинском факультете. Стал психиатром. Потом принялся писать патографии великих художников: такие истории их жизни и болезни, которые должны были помочь пониманию их творчества. Наконец, создал философию экзистенциализма — вместе со своим другом М. Хайдеггером, и еще написал историю человеческих философий — методом понимания, который

предполагал использование не только ума, но и сочувствующего сердца.

Историю собственной жизни К. Ясперс изложил в «Философской автобиографии». Она — тоже у вас в руках, под одной обложкой с этой книгой, в моем переводе. В ней изложены и прокомментированы все события, которые сам К. Ясперс считал важнейшими в собственной жизни.

В чем же тогда моя задача?

В том, чтобы попытаться понять, как сложилась жизненная философия человека по имени Карл Ясперс.

Какою мерою мерит человек, такою будут мерить и ему.

Тот, кто занимался пониманием других, тоже заслужил понимание.

Тот, кто пишет патографии других, рискует обрести свою.

Карл Ясперс сформулировал первоочередное требование к историко — философскому исследованию, которое основано на методе понимания:

«Нужно знать мир, в котором продумывалась философия, материал, в котором она мыслит, опыт и наглядные представления, лежащие в ее основании, типичные ситуации, которые в ней происходят, общество, в котором живут люди, нечто, для них само собой разумеющееся, повседневное, всеобщее для определенного времени, культуры, народа. <…> Нужно понимать философскую мысль в действительности мыслящего его человека, а не только как оторванное от него предметное содержание. Нужно исторически присутствовать в мире, в котором мыслилась мысль, в ландшафте и природе, в способах производства и социальных отношениях, в общественном положении самого мыслящего»[4].

Вот и мы попытаемся исторически поприсутствовать в мире, в котором мыслилась мысль Карла Ясперса.

Часть I. Детство экзистенциалиста

Глава I. Родня и почва

Болота экзистенциализма

Экзистенциализм возникает от созерцания болот в молодости.

Это утверждение — отнюдь не шутка и даже не цитата из статей советских пропагандистов, которые так любили писать про «болото экзистенциализма».

Нет. Это утверждение выражает искреннее убеждение последнего ассистента Карла Ясперса — Ханса Занера.

Сей достойный ученый муж полагает, что экзистенциализм его патрона являет собой словесный эквивалент того умонастроения, которое навевают на человека приморские болота Германии:

«Карл Ясперс происходит из Ольденбурга, лежащего неподалеку от побережья Северного моря. Ландшафт Севера наложил двоякий отпечаток на его ум и вошел в его произведения, написанные позже. Болотистая равнина, над которой поднимаются только немногие невысокие холмы, оставляет открытой всю широту горизонта. <…> А море — в свободной игре своего движения — открывает горизонт так, будто он перетекает в бесконечность. Открытость со всех сторон, светлая ширь, бесконечное движение: они становятся свойствами истины нашего разума»[5].

Загадка Карла Ясперса, таким образом, разгадана: он сложился как мыслитель, глядя на приморские болота, с *одной стороны,* и на морской простор — с *другой стороны.*

Просим не торопиться тех, кто готов немедленно высказаться по поводу этой мысли.

Тут все не так однозначно.

* * *

В полной научного изящества статье историк философии из Санкт — Петербурга А. Я. Кожурин[6] отмечает, что многие весьма уважаемые люди пытались связать ментальность с ландшафтом.

Заметное место в этом ряду занимал молодой Ф. Энгельс. Летом 1840 года он опубликовал работу «Ландшафты», в которой ставил пейзаж той или иной страны в соответствие с

мировоззрением, которое в ней распространено.

В Греции, по мнению Ф. Энгельса, был совершенно *естественным* пантеизм: природа там такая яркая, что каждый кустик, каждую речку хочется отметить особо, объявив обиталищем нимфы или какого-нибудь иного божества:

«На долю Эллады выпало счастье увидеть, как характер ее ландшафта был осознан в религии ее обитателей. Эллада — страна пантеизма. Все ее ландшафты охвачены — или, по меньшей мере, были охвачены — рамками гармонии. И все же каждое ее дерево, каждый источник, каждая гора слишком рельефно выступают на передний план, ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур великолепно, чтобы они могли удовлетвориться суровым одухотворением воспетого Шелли *Spirit of nature,* какого-то всеобъемлющего Пана; каждая отдельная часть природы в своей прекрасной завершенности претендует на собственного бога, каждая река требует своих нимф, каждая роща — своих дриад; так создавалась религия эллинов»[7].

В свою очередь, пейзаж долины Рейна представляется Ф. Энгельсу воплощенным христианством, потому что здесь небо, склоняясь к земле, глядится в зелень полей и виноградников, облитых золотом солнца, и дух, стало быть, погружается в материю. А вот северогерманская равнина — унылая, с бедной растительностью — являет собой воплощенное иудейское мировоззрение. Зато в Голландии пейзаж ничуть не одухотворен, а потому предрасполагает к кальвинизму — вере, сопряженной с расчетом.

Более всего, однако, молодому Энгельсу понравилось море, которое ему надо было пересечь по пути из Голландии в Англию. Море представилось ему воплощенным гегельянством — потому что именно там, на море, по его мнению, мы только и можем почувствовать в полной мере, как живем, действуем и существуем в Боге.

Запомним это суждение о море, чтобы вернуться к нему впоследствии. Пока же ограничимся ностальгическим вздохом. О, юность! Прекрасный возраст! Надо ли судить его строго и принимать его суждения всерьез? Что спрашивать с двадцатилетнего Фрица, который так и рвется продемонстрировать всему свету свой гениальный ум, играющий и парящий шаловливо, без всяких пределов — и, конечно же, вольным полетом своим далеко превосходящий умственные потуги всего предшествующего человечества?

Работа Ф. Энгельса, посвященная ландшафтам, говорит только об одном: вырвавшегося на свободу юношу просто

распирает от восторга при виде иных земель, но… Смотрит он на эти земли не собственным взором, а только через призму ранее усвоенной книжной премудрости, которая была сдана в гимназии на оценку. Чтение всегда предваряет пейзаж и предопределяет то, что юный человек видит.

– *Где была, киска?*
– *У королевы английской.*
– *Что видала при дворе?*
– *Видала мышку на ковре.*

Фридрих Энгельс побывал на море — и увидел там философию Гегеля.

Итак, некоторая информация к размышлению у нас уже есть.

Вот перед нами Х. Занер и Ф. Энгельс. Видят они одно и то же — а толкуют совсем по — разному.

Пейзаж Северной Германии, по мнению Х. Занера, делает из Ясперса *экзистенциалиста.* Зато, по мнению Энгельса, этот пейзаж может навеять только *иудейские мотивы*: как взглянешь на северные картины природы, так сразу и поймешь, что существует Суровый Бог, воспитующий и наказующий свой избранный народ, в том числе — путем демонстрации ему *бесчеловечных* пейзажей.

Теперь возьмем море.

При виде моря юный Энгельс впадает в гегельянское умонастроение. Ему представляется, что море подхватывает его и несет, колыша и вздымая на своих волнах — словно всемогущий Мировой Разум. Надо ли напрягаться, чтобы выдумывать что-то собственное? Достаточно понять, куда тебя с необходимостью влечет течение Мирового Разума. Так что свобода — это познанная необходимость. А всякая субъективная свобода, сиречь произвол, — от лукавого. Как презрительно говаривал тот же Г. В. Ф. Гегель, «мнение принадлежит мне», то есть никому на свете оно больше не интересно и ничему в мире не соответствует.

А вот Х. Занер совсем не так видит воспитательную и формирующую роль моря. Оно, по его мнению, открывает простор для полной самостоятельности: лети над ним, куда хочешь. Лети сам! Сам определяй направление! А не позволяй нести себя — по воле волн.

Впрочем, между Ф. Энгельсом и Х. Занером есть существенная разница: *один плывет по морю, а другой смотрит на море с берега.* Потому Х. Занера, стоящего на берегу, море не подхватывает и не несет. Ему *самому* хочется улететь куда-нибудь к горизонту. А Ф. Энгельс находится во власти стихии, которой наслаждается, полагая ее разумной.

Так что не все зависит от морского пейзажа. Кое-что все же зависит и от позиции наблюдателя.

* * *

В. Зомбарт, произведения которого, кстати, высоко оценивал Ф. Энгельс, совсем иначе говорил о влиянии безрадостных, тоскливых пейзажей Северной Германии. Ф. Энгельс полагал, что они предрасполагают к иудаизму. А В. Зомбарт считал, что они делают человека кантианцем. И. Кант, проживавший безвыездно в Кенигсберге, разработал суровую этику ригоризма: он заявлял, что исполнение долга и удовольствие несовместимы. Тот, кто выполняет долг с удовольствием, обманывает себя и других — словно человек, который пошел собирать ношеные вещи для бедных ради того, чтобы получить повод пофлиртовать с очаровательной волонтершей.

Так что либо долг, либо удовольствие.

Стало быть, умозаключает В. Зомбарт, человеку моральному лучше жить на фоне унылого, безрадостного пейзажа. Когда картины природы ничуть не радуют, то есть не доставляют ровно никакого наслаждения, остается только вздохнуть — и исполнять свой долг. Именно потому кантианство могло родиться только в окружении суровых ландшафтов Восточной Пруссии: А. Я. Кожурин с глубоким сочувствием приводит слова В. Зомбарта об этом «нищем окружающем мире, где ничто не внушает любви и радости».

Но тут с В. Зомбартом можно и поспорить. Ведь И. Кант настаивал на том, что выбор исполнения долга ценой отказа от наслаждения должен быть *свободным.* Значит, такой выбор не следует делать вынужденно, при виде картин суровой природы. Наоборот, его нужно делать на фоне какого-нибудь соблазнительного пейзажа — где-нибудь на кокосовых островах, у теплого моря, да еще и в окружении прочих пятизвездочных удобств. Вот, смотри, прогрессивное человечество, и бери с меня пример: я мог бы наслаждаться всем этим, но свободно откажусь от него, отброшу шоколад «Баунти», отстраню красоток, сулящих неземное наслаждение под пальмами, запрусь в номере, опущу жалюзи — и примусь писать произведение «Критика практического разума» на темы морали.

(Один из выдающихся российских афористов второй половины XX века выразил сходную мысль короче: «Иногда так хочется быть красивым, но вспоминаешь, что уже женат».)

* * *

В общем и целом, после сопоставления различных высказываний о ландшафтной детерминации менталитета создается стойкое впечатление: *толкования такой детерминации весьма и весьма произвольны.* Нет в них ничего научного, то есть строго верифицируемого, непосредственно проверяемого на опыте.

Так, одна сплошная поэзия.

Вроде той, о которой писал А. Генис: «Для Бродского зима моральна»[8]. Ведь лютый мороз и белое безмолвие суть смерть, а перед лицом небытия никакое лицемерие невозможно.

Красиво, конечно, сказано. Поэтически. Но непосредственный опыт, увы, подсказывает, что лицемеры бывают даже в Сибири, на самом полюсе холода. Зато величайший моральный авторитет М. К. Ганди проживал то в жарком, то в теплом климате — в Индии и в Южной Африке.

Стало быть, нельзя утверждать однозначно, будто всякое лето — калифорнийское ли, сочинское ли — климатически аморально. Всякий, кто знает жизнь не понаслышке, засвидетельствует, что дрова крадут в особенно суровые зимы.

В общем, складывается такое впечатление, что говорить о влиянии климата и ландшафта на душу туземных обитателей — это увлекательное и необременительное занятие для праздных умов, обладающих продуктивной способностью воображения и развитой уверенностью в себе.

Вот только надо не забывать, что рассуждать следует исключительно о краях отдаленных, желательно — вообще неведомых читателю. Тогда суждения о связи климата и философии обретают особую убедительность и весомость. Куда скромнее бывает успех, когда автор толкует о влиянии местного климата на местное же население: тут его читателям все известно досконально, поскольку и климат, и население непрерывно даны в непосредственном наблюдении. Так что всякие досужие домыслы немедля будут разоблачены и высмеяны.

К примеру, специально для российского читателя, видавшего и русские виды, и русское население, приведем рассуждения немца Освальда Шпенглера о географических причинах возникновения специфического русского ума и характера:

«Русская жизнь имеет иной смысл. Бесконечная равнина создала более мягкую душу народа (Volkstum), покорную и меланхоличную, и душа эта внутренне тоже растекается по плоской широте, лишенная подлинно личностной воли, склонная подчиняться. Это — предпосылка большой политики от

Чингисхана до Ленина. Русские, кроме того, полукочевники — *еще и по сей день.* Даже советскому режиму не удалось воспрепятствовать постоянным переходам фабричных рабочих с одной фабрики на другую — блужданиям без особой нужды, просто из тяги к странствиям. (Ср. многие рассказы Лескова и, прежде всего, Горького). Поэтому опытные специалисты в России так редки. И для крестьян родина — это не деревня, не место их рождения, а широкая русская равнина. Даже “мир”, как называется аграрный коммунизм, который вовсе не представляет собой чего-то древнего, а проистекает из техники управления, созданной царскими правительствами для сбора налогов, не смог привязать к себе душу крестьянина — так, как германские крестьяне привязаны к своему клочку земли и родному дому. Они устремлялись многими тысячами во вновь открытые области южнорусских степей, Кавказа и Туркестана, чтобы удовлетворить свою страсть к поиску границ бесконечного. Этой черте соответствует непрерывное расширение империи до естественных границ — морей и высоких гор. В XVI веке была занята и заселена Сибирь до озера Байкал, в XVII веке — до Тихого океана»[9].

Что немцу убедительно, то русскому — парадоксально.

Оно, конечно, логично: на бесконечной равнине всегда можно избежать конфликта, и места всем хватит, чтобы ужиться, и уйти от столкновения есть куда, чтобы сидеть там и проявлять толерантность. Другое дело — в тесной долине между горными хребтами. Здесь никуда не уйдешь ни от врагов, ни от соседей. Уйти от конфликта нельзя, приходится стоять на своем со всей принципиальностью.

Но вот ведь какая проблема… Кто же покорил русских, покорных от житья на равнинах? По мнению О. Шпенглера, это сделал Чингисхан. А что, разве он, Чингисхан, был горцем? Нет, он был степняком. Проблема усугубляется тем, что Чингисхан десять лет не дожил до установления так называемого монголотатарского ига на Руси. Впрочем, глобально мысливший О. Шпенглер мог и не знать всех этих деталей и тонкостей, ведомых всем детям, сдающим ЕГЭ[10]. И вообще: как только дело доходит до тонкостей и деталей, изящные схемы теоретиков начинают шататься и трещать. Ведь географический детерминизм О. Шпенглера обрекает жителей горной Австрии на лидерство в немецкой истории: суровым тирольским горцам раз плюнуть покорить равнинную Пруссию с ее мягкотелыми обитателями. Но история сложилась как-то не по Шпенглеру…

Нет, право, куда ни посмотри, сплошь и рядом не соответствует теория О. Шпенглера историческим фактам. А ведь именно он написал более всего о влиянии географических

факторов на характер и склад ума человека!

Если сливки плохи, то что же молоко?

Короче говоря, вроде бы есть все основания поставить жирный крест на попытках выводить философский менталитет из ландшафта.

И мы поставили бы этот крест, если бы…

Если бы сам Карл Ясперс не заявил, что *созерцание родных ландшафтов сформировало его как мыслителя:*

«Ничего, кроме неба, горизонта и того места, где я стою. Небо открывается во все стороны»[11].

Вот вам, пожалуйста, и весь экзистенциализм — самостояние на фоне Всеохватывающего Бытия, иначе называемого Небом, которое становится ближе в определенных местах планеты.

Так что Х. Занер, как и подобает верному ассистенту, всего лишь пересказывает своего наставника и патрона.

И вот еще что надо принять во внимание: вовсе не один только Карл Ясперс, но и другие весьма почтенные философы прямо заявляли, что природа родных мест повлияла на их стиль мышления. Сошлемся хотя бы на П. А. Флоренского:

> «Мои позднейшие религиозно — философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений и, может быть, более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород и отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающий, кусты и деревья над ними — я узнал оних не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным. <…> Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали»[12].

Так и хочется навести справки, не выросли ли Ж. Делез и Ф. Гваттари в степи, подобно Чингисхану: ведь они с такой страстью противопоставляют образу глубоких древесных корней *ризому,* то есть сплетенные вместе, неглубокие, распространяющиеся вширь корни травы? Может быть, они и деревьев-то в юности не видали? Только степь да степь кругом… Отсюда поверхностность… А что бы стало с ними как мыслителями при виде баобаба?

* * *

Шутки — шутками, но ведь надо понять, почему разные мыслители рассуждают — и вполне серьезно рассуждают! — о роли пейзажей в становлении своей философии.

Когда П. А. Флоренский всячески подчеркивал влияние природы на формирование своего мышления, он хотел выступить против засилья всего искусственного, *надуманного в* культуре. Но — если присмотреться! — разве *сама природа* противопоставлялась у него всему городскому, искусственно *надуманному и наделанному?* Нет, под природой у него подразумевались вовсе не дикие дебри, а *село,* в котором человек ведет *природосообразный* образ жизни. И когда российские писатели — «деревенщики» XX века — звали вернуться к природе, к здоровому естеству, то *имели они в виду* вовсе не картины звериной жизни в таежной чащобе, а милое их сердцу село с церковью на пригорке.

Здесь надо зафиксировать нечто важное: бесчеловечной городской культуре противопоставляется не «натура» в первобытном виде — нет, под «природой» подразумевается *культура вчерашняя,* которая противопоставляется *культуре сегодняшней.* Село — это природа, а город — культура и цивилизация.

А ведь село, представляющееся сегодня той самой «природой», на которую горожанин едет отдыхать в отпуск и в выходные, когда-то — всего пару веков назад — показалось бы верхом цивилизации и оплотом передовой культуры. Шутка ли — там есть даже водопровод!

Но времена меняются быстро, и «природа» меняется вместе с ними.

Решимся на афоризм: *то, что было культурой вчера, сегодня — всего лишь природа.*

И, стало быть, никакой природы «самой по себе» давно уже нет, — если не говорить о каких-нибудь глухих таежных дебрях или отдельных антарктических ледниках.

«Природа» — это всего лишь культурный шифр, обозначение культуры позапрошлых веков.

Можно было бы на этом и закрыть тему, сказав:

Поскреби сегодняшнюю природу — и найдешь вчерашнюю культуру. Так что никакой природы в виде ландшафта человек не видит уже давно — с самых первобытных времен, когда он впервые ***приложил руку*** *к окрестному миру.*

Есть прекрасно иллюстрирующая эту мысль журнальная шутка.

Горожанин, приехавший в деревню, говорит:

– Какая чудная у вас тут природа! Какой прекрасный пейзаж! Удивляюсь, как вы не замечаете его красоты!

Селянин отвечает:

– Мне этот пейзаж завтра пахать!

* * *

А вот если оказывается, что «природы» в чистом, первозданном виде давно не существует; если у человека природа всегда предварена культурой; если один человек при взгляде на море видит гегельянство, а другой — экзистенциализм; если то, что называется «природой» у философов, не имеет ничего общего с природой, которую знают биологи, а представляет собой лишь культурный символ, изменяемый исторически, то суждения философов о природе и ее влиянии на их мышление становятся крайне интересными для нас. Ведь они становятся равносильными признанию: «На меня повлияла не современная культура, а культура давно прошедших времен».

Здесь заканчивается география и начинается философская психология, которую В. Дильтей называл пониманием.

В этом случае смотреть на природу, описываемую философами, надо совсем иначе. Она — уже не какая-то географическая данность. Она — не просто ландшафт. Она уже представляет собой результат проекции внутреннего мира мыслителя на окружающий его внешний мир. Но при этом мыслитель далеко не всегда сознает, что сам — своим умонастроением — делает окружающий мир таким, что это состояние его души накладывает отпечаток на видимые окрестности. Наоборот, ему кажется, что окрестный ландшафт формирует склад его ума и души. По крайней мере, в детстве и в молодости.

Почему же все видится в таком, перевернутом виде?

Искать ключ к разгадке этой тайны надо, обращаясь к современной психологии, а еще лучше — к предваряющей ее немецкой «философии жизни». А если смотреть совсем в корень, а не увлекаться ризомами, то истоки учения о неосознаваемых проекциях внутреннего мира на мир внешний надо усматривать в учениях И. Г. Фихте и Л. Фейербаха[13].

* * *

Моралисты требуют от нас раньше думать о других, а уже потом о себе. Психологи скептичны: они знают, что такое невозможно, потому что больше всего человеку интересен он сам. Тот, кто не согласен с таким утверждением, пусть вспомнит, как всякий его знакомый делит фотографии на интересные и неинтересные. Неинтересными являются фотографии, на которых его нет. Интересными — на которых он есть. На любой групповой фотографии человек, прежде всего, находит самого себя. Иногда он из вежливости делает вид, что замечает на фото и кого-то другого, как правило, того, кто рассматривает фотографии вместе с ним. Но человек грубый и искренний, то есть невежливый, сразу же находит на групповом фото себя и после этого немедленно утрачивает интерес к снимку.

Потому что больше всего человек любит наблюдать самого себя и изображать самого себя.

На втором месте в ряду его предпочтений те, кого он считает похожими на себя.

Прежде всего, мне интересен я, воплощенный в себе самом. Затем — я, воплощенный в других, которые суть мое подобие и порождение.

Что это? Предельный эгоизм? Или всего лишь попытка ответить на предельный эгоизм других, всецело поглощенных самосозерцанием. Отчаянная попытка обратить на себя хотя бы малейшее внимание. Вся наша жизнь, по мнению Ф. Ницше, есть сплошной отчаянный крик: *«Выслушайте меня! <…> Прежде всего, не смешивайте меня с другими!»*[14].

Крик, обращенный не только к людям, но и к Существам Высшим.

В окружающем нас мире мы везде ищем себе подобное — и хвалим его, чтобы указать на себя. Говоря о том, кого мы хвалим, мы повествуем о себе — чем, собственно, только и занимаемся на протяжении всей своей жизни. Мы совершаем великие подвиги, совершаем открытия, жертвуем собой, проявляем чудеса альтруизма, даже занимаемся самоуничижением — и все ради того, чтобы сказать *«Выслушайте меня! <…> Прежде всего, не смешивайте меня с другими!»?*

* * *

На столь циничном допущении всеохватного и всепроникающего общечеловеческого эгоизма основывается современная психология. В частности, именно на него опирается проективная методика исследования личности, предложенная в

1939 году врачом и психологом Леопольдом Зонди (1893–1986).

Этот врач из Австро — Венгрии столкнулся с такой проблемой. В первой половине двадцатого века, несмотря на успехи просвещения, еще встречались *отдельные* неразвитые индивиды, не способные внятно описать свое душевное состояние. (Сегодня это — *массовое* явление). Как правило, не способные рассказать о своих душевных состояниях и переживаниях люди жили в глубинке (в Австро — Венгрии *глубинка* расположена высоко в горах — чем выше в горы, тем глуше место). В городе такими были психически неразвитые, недужные люди. Они не могли описать свое внутреннее состояние, поскольку язык их был слишком беден и примитивен, а способность к рефлексии — столь же удручающе низка, сколь у самых продвинутых пользователей Интернета. Дело доходило до того, что такие аномальные индивиды могли произвести только школьный рассказ по картинке — они не могли повествовать о чем-то таком, чего они предварительно не увидели.

И тогда врач Л. Зонди, который хотел получить представление о психическом состоянии своих больных, предложил им 48 стандартных карточек с портретами. Пациент должен был выбрать те портреты, которые ему больше всего нравятся (и, соответственно, не нравятся). Фокус заключался в том, что портреты изображали больных, страдавших различными психическими недугами. Выбирая те из них, которые ему понравились, больной косвенно рассказывал Л. Зонди о своем душевном состоянии. Ведь нравится человеку тот, кто похож на него.

Прошли десятилетия технического прогресса.

Отдельные индивиды, не способные рассказать о себе внятно, сменились многомиллионным техническим персоналом, который все больше разбирался в окружающем его мире, но все меньше в себе самом. Психологи оказались в меньшинстве и уже не решались откровенно называть кошку кошкой, а больных больными. Они заменили мрачную галерею больных, составленную Зонди, «забавными смайликами», и предложили всем продвинутым пользователям Интернета посылать их друг другу. Психологи были очень осторожны и политкорректны. Они полагали, что больных лучше не дразнить. Не надо дразнить и современные агрессивные поколения, которые выросли у компьютера и остались без минимального гуманитарного образования. На самом-то деле «смайлики» вовсе не представляют собой, как это следует из их названия, улыбающиеся лица. Хотя и нарисованы они в манере детского мультфильма, а выражают они не только веселье и радость, но и

гнев, и уныние, и скуку…

«Смайлики» в Интернете призваны заменить поэзию, которая ранее позволяла человеку выражать тонкости своих чувств. Сегодня, в принципе, и «Евгения Онегина», и сонеты Шекспира можно представить в виде ряда смайликов. Тонкие душевные переживания Ф. Ницше или С. Кьеркегора изображаются сегодня в комиксах, и все это абсолютно соответствует ожиданиям интернет — аудитории, которая поэзии не понимает. Не в ходу у нее поэзия.

А потому узнай себя в смайлике, как больной доктора Зонди. Выбери понравившийся тебе в данный момент смайлик, один или несколько из предложенных. Сообщи таким образом о своем психическом состоянии Надзирающему Взрослому, Просвещенному Контролеру и Социальному Лекарю — Большому Брату.

Окружи себя смайликами: сними понравившиеся тебе лица на камеру своего мобильного телефона, а потом выставь все это в Интернет, поделись с одноклассниками и прочими, включая Большого Брата.

Портреты друзей в «моем мире», «в контакте», в любых социальных сетях — это все ты. Это люди, похожие на тебя. Это — друзья. И все это — твои попытки рассказать о себе.

Твоя душа, вооруженная инновационными технологиями, не перестает лепить по своей прихоти мир вокруг себя, проецируя себя на вселенную.

«Везде встречаю свой взгляд», так выразил великий поэт И. В. Кормильцев тоску пребывания в провинции.

В столице — веселее. Там художнических, творческих натур больше. В провинции, можно сказать, есть только один Зонди с его галереей портретов, а все прочие — его пациенты. А в столице постепенно собирается множество Зонди, и каждый норовит представить свой тест. Между этими законодателями мод и творцами классификаций затевается увлекательная борьба, которая затем выносится на телеэкраны.

Достигнув столичного признания, ты становишься всего лишь одним из 48 смайликов в галерее каждого телеканала.

Кто тебе больше по нраву — выбери и щелкни пультом, а мы померяем рейтинг. Бульдог Харламов или Петросян? Толстая или Чехова? Валуев или Дроздов?

Рейтинг — это вовсе не могучее послание от тупых к тупым, как утверждает М. М. Жванецкий. Это обеспечение проекции небогатого внутреннего мира потребителя на окружающую вселенную.

* * *

Человек проецирует себя на мир, не только выбирая понравившихся ему людей. Это, собственно говоря, самая простая задача, «для чайников»: тот, кто утратил дар связной речи и письменность, сможет выбрать портреты — смайлики, «бяку» и «няку», а затем столь же примитивные и однозначные физиономии кино и телегероев — «хороших» и «плохих» парней.

Задача более сложная — *узнать себя в пейзаже.*

Два художника, поставив мольберты рядом на пленэре, никогда не нарисуют двух одинаковых картин природы. Да что там! Даже два фотографа, снимая одной и той же камерой с одной и той же точки, никогда не снимут двух одинаковых пейзажей. Потому что каждый будет видеть мир на свой лад — вернее, проецировать на этот мир себя самого. Картина природы говорит не столько о природе, сколько о душевном состоянии того, кто природу изображает.

Избранный человеком — для рисования, фотографирования или созерцания на выставке — пейзаж тоже есть попытка этого человека сказать о себе.

Это проекция его душевного состояния на природу. Какой может быть сила такого высказывания о себе, не надо объяснять тому, кто хоть раз видел картину И. Левитана «Над вечным покоем».

Вовсе не вид озера Удомля навел И. Левитана на мысль о том, что существование человека есть бытие перед лицом смерти. Все было как раз наоборот. Вначале эта экзистенциалистская мысль — чувство появилась и вызрела внутри него. Затем заброшенность и отчаяние стали искать свою проекцию вовне — и нашли большее или меньшее внешнее соответствие в том пейзаже, который открылся И. Левитану в окрестностях Вышнего Волочка. (Наверняка, открылся художнику не этот пейзаж во всех его деталях и частностях; он был «подправлен» и стал синтезом нескольких пейзажей). Весь этот процесс происходил в значительной степени *безотчетно,* и лишь в итоге И. Левитан «узнал» на своей картине бессознательно сконструированный им ландшафт как символическое выражение собственной острой экзистенциальной тоски. Собственно, полное осознание ее только и произошло во время написания картины.

И только простодушные советские симплициссимусы, которые полагают, что И. Левитан был «мастером реалистического пейзажа», считают по сей день, что печальное, трагическое, прекрасное и т. п. существует «в самой природе». Будешь, мол, смотреть на трагические окрестности озера Удомля

или на приморские болота Германии и станешь экзистенциалистом.

Как сообщают ныне в Интернете, сотни тысяч местных пейзан отнюдь не стали экзистенциалистами, созерцая окрестности озера Удомля. Наоборот, они спроецировали на эти окрестности свой нехитрый, но инновационный опыт чувствований и страстей, украсив левитановские места неоновой рекламой. Экзистенциалистам придется уходить гораздо дальше в глушь, чтобы обнимать там нежно изгиб гитары желтой и петь о своей неизбывной тоске.

Подобным же образом все обстояло с К. Ясперсом. *Он вовсе не сформировался как мыслитель под влиянием болот и моря, он просто спроецировал на болота и море свои представления о себе.* А представления эти были сформированы отнюдь не природой. Они были сформированы всей его жизнью в том микрокосмосе культуры и общества, который может называться *биографической средой.*

Если бы все было иначе, то миллионы земляков К. Ясперса, созерцавшие вместе с ним те же болота и море за ними, поголовно стали бы от этого экзистенциалистами.

Но этого, к счастью, не произошло. Общество не может состоять из одних только экзистенциалистов. Оно не выживет.

Даже ближайшая родня Карла Ясперса была от экзистенциализма весьма далека.

Прадед — контрабандист

Земляки К. Ясперса вовсе не простирали свой взор к самому горизонту, а потом и далее — в бесконечность, за пределы сущего, к Чистому Бытию, и предки самого философа останавливали взгляд на вещах, куда более близких.

Предельно практичным умом отличался прадед Карла Ясперса, носивший фамилию Дрост. Благодаря этому он стал бургомистром города Евер (Jever) и был им в те времена, когда город заняли войска Наполеона Бонапарта. Но практичный сей человек не ограничился муниципальным менеджментом. Он еще и торговал, причем торговал успешно. Прадед Дрост сколотил огромное состояние, выступая совладельцем торгового дома «Делиус и компания» в городе Бремене. Сильно пополнила его богатства континентальная блокада, объявленная Наполеоном: прадед будущего философа успешно занимался контрабандой.

Дед по отцу: любитель аристократического образа жизни

Успешный негоциант, прадед Карла Ясперса оставил его деду большое наследство — и дед весьма своеобразно распорядился им.

Он купил в 1843 году родовое дворянское поместье Зандербуш. (Не нами замечено, что потомки прозаичных торговцев отличаются недюжинным романтизмом и весьма тяготеют к аристократическому образу жизни; для обозначения такого *благоприобретенного аристократизма* даже было придумано специальное слово — снобизм). В этом бывшем дворянском поместье, расположенном в окрестностях Евера, сын купца-контрабандиста прожил три десятилетия с лишним. За это время он привел имение в порядок и, в итоге, выгодно продал свою резиденцию, чтобы вернуться в Евер. Там, в городе, он снова построил что-то вроде дворянского гнезда (сегодня этот дом назвали бы большой двухэтажной виллой).

В общем, дед будущего философа был подобен чеховскому Лопахину: тот тоже был предприимчив, но жить хотел вовсе не по буржуазному, а так, как жили «благородные», те самые, у которых он купил поместье с вишневым садом.

Дед философа Ясперса, поселившись в Евере, ходил по городу просто невозможным аристократом:

> «Он жил там на покое как рантье, отправлялся пропустить вечернюю кружечку в цилиндре и в перчатках, с легкостью давал поручительства и так, что называется, во благородстве и немощи спустил все свое состояние. Перед его смертью в 1886 году сыновьям пришлось прилагать усилия, чтобы предотвратить банкротство. Мать свою, невысокую, малоподвижную из-за болезни сердца женщину, они оставили в убеждении, что она продолжает жить на проценты с большого состояния, и та сохраняла уверенность в этом вплоть до своей смерти в 1895 году»[15].

Дед по матери: патриархальный авторитет

Уже в зрелом возрасте Карл Ясперс вспоминал первые школьные впечатления: младшему классу читали вслух Библию, и он, слушая историю об Аврааме и его праведной, истовой жизни около дубравы Мамре, сразу представил себе дом деда по матери. Тот владел большим крестьянским хозяйством в Хееринге, где трудилось множество работников, совсем как у Авраама.

В Библии сказано, что Господь поселил Авраама вдали от порочного и грешного города Содома, сказав ему:

«Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее»[16].

Правда, с потомством у Авраама долгое время были проблемы, зато рабов, рожденных в доме его, было целых триста восемнадцать[17], причем это только взрослых рабов мужского пола, пересчитанных потому, что Авраам отправил их сражаться. Стало быть, вместе с женщинами, детьми и стариками рабов у Авраама было более тысячи, и все они работали в поте лица своего, повинуясь железной воле Авраама.

Такие же патриархальные порядки царили и в крестьянском хозяйстве деда. В его доме, как вспоминал философ, всегда пахло чистотой, черным хлебом и парным молоком. Скотина и птица бродила по двору во множестве. Карлу Ясперсу, который ребенком наблюдал эти картины, казалось, что за животными никто не смотрит и они полностью предоставлены самим себе. Многочисленные работники деда делали свое дело неторопливо и спокойно, словно в те славные патриархальные времена, когда люди еще не ведали спешки и суеты.

Дед, с гордостью носивший старинную фамилию Тантцен, был человеком властным и строгим; тон его всегда был непререкаемым, и даже само молчаливое его присутствие подавляло окружающих. (Во всяком случае, так будущему философу казалось в детстве; дед умер, когда мальчику было десять лет.) Бабушка, всегда тихая и послушная воле супруга, была, по выражению К. Ясперса, весьма *зла до работы*: у нее все так и горело в руках. После смерти мужа она вступила в управление всем хозяйством и успешно справлялась с делом.

Дед был не только крепким хозяином, но и авторитетным политиком: его избирали членом ольденбургского ландтага[18]. Точнее, впрочем, было бы сказать так: земляки сделали его политиком именно потому, что он был крепким хозяином. Так оно было принято — в те годы, в Германии.

Родители: единение крайностей

Супружеская пара, давшая жизнь Карлу Ясперсу, складом характеров своих напоминала родителей другого философа, Фридриха Ницше. У певца Заратустры отец был интеллектуалом, придворным священником, душепопечителем — воспитателем принцесс, а мать происходила из сельской семьи и отнюдь не

отличалась тягой к высокой культуре. По образованию и культурному развитию своему, по интересам и образу жизни родители Ф. Ницше являли собой противоположные полюса.

Родители К. Ясперса тоже были противоположностями по менталитету и стилю жизни, но именно это и обеспечивало гармонию между ними.

Во всяком случае, именно такое впечатление Карл Ясперс пытается создать в своих автобиографических произведениях. Посмотрим на их образы, а потом попытаемся выяснить, насколько они правдивы.

О родителях К. Ясперс пишет с неизменным восхищением, несмотря на их разительное отличие друг от друга в культурном отношении (а, может быть, именно благодаря этому, потому что гармония это созвучие *различных* звуков).

Отец будущего философа был политиком, банкиром и немного художником. Мать, урожденная Генриетта Тантцен, всецело посвятила себя домашнему хозяйству. Их сын Карл, как мы это вскоре увидим, унаследовал лучшие черты обоих родителей: *он был практичным интеллектуалом.*

Мать, будучи истинной дочерью крестьянина, считала своим долгом поддержание в доме неизменно жизнерадостной атмосферы. Ведь всякому сельскому жителю известно, что человек с веселым нравом лучше работает. Поэтому шуткой на селе считается любое сочетание слов, незамедлительно сопровождаемое смехом самого шутящего. Ответное произвольное словосочетание тоже сопровождается смехом. Сельская молодежь, собираясь вместе, непрерывно смеется, по поводу и без повода. Так потенциальные женихи и невесты показывают друг другу, что они здоровы и работоспособны. Человек жизнерадостен, значит, здоров и охоч до работы. Ведь больные люди не смеются…

Мать Карла Ясперса была весела и жизнерадостна даже тогда, когда для этого не было особого повода. (Именно в такие времена и надо было поддерживать семью своей бодростью.) Кроме того, дочь крепкого сельского хозяина Тантцена отличалась недюжинной житейской сметкой и какой-то инстинктивной способностью к дипломатическому разрешению всех и всяческих конфликтов. Она ни на чем не настаивала, ничего не диктовала, но все как-то само собой получалось в соответствии с ее волей.

Разумеется, родители дали ей образование, такое, которое считали необходимым и достаточным: хотя она и закончила всего лишь народную школу, но, как и всякая немецкая девушка из хорошей семьи, находила время для чтения и домашнего музицирования. В отличие от матери Фридриха Ницше,

Генриетта Ясперс пыталась читать книги своего сына — философа. (Отец эти книги осилить не смог). В «Философской автобиографии» К. Ясперс написал о матери:

«Она осветила своей бесконечной любовью все мое детство, детство других младших в семье, всю последующую нашу жизнь. Она вдохновляла нас на достижение наших целей своим неукротимым темпераментом, окрыляла нас своим пониманием жизни, для которого не существовало рамок условностей, и оберегала нас своей мудростью» [С. 208][19].

Отец философа, Карл Вильгельм Ясперс, в отличие от матери, всецело посвятил себя делам общественным. Он являл собою благородного буржуа. (В отличие от России, этот социальный тип был весьма распространен в Европе, где буржуа даже вызывали друг друга на дуэль, отстаивая свою честь). Дворянское благородство в делах бизнеса, бизнес как высокое служение — эти словосочетания отнюдь не казались странными Карлу Вильгельму Ясперсу. Вспомним о том, что он с раннего детства жил в дворянских интерьерах, в поместье Зандербуш и в построенной отцом городской усадьбе. Но при этом он ни на миг не забывал, что все эти интерьеры были восстановлены или сотворены заново именно благодаря деловой сметке членов семьи Ясперсов — людей, которые сделали себя сами.

В результате Карл Ясперс — старший (будем именовать его так, в отличие от его сына — философа, названного Карлом Теодором Ясперсом) стал человеком, который сочетал в себе лучшие качества дворянина и буржуа, благородство и предприимчивость. Он рано проявил деловые способности: окончив юридический факультет, уже в 29 лет стал окружным начальником в Бутьядингене. Затем, стремясь обрести финансовую самостоятельность, он вошел в дирекцию «Сберегательной и ссудной кассы» в Ольденбурге, а с 1896 года стал руководить ею самостоятельно.

Карл Ясперс — старший был благородным банкиром: даже в годы большого дефицита свободных денег в стране он давал кредиты не более чем под пять процентов[20]. Его банк обслуживал не только крупных, но и самых мелких клиентов, которые вносили на свой счет всего 30 марок (обслуживание таких мизерных вкладов для банка никогда не окупается). Но Карл Ясперс- старший рассматривал свою деятельность в банке не как способ получения прибыли, а как высокое служение землякам. Ведь банк для них был учреждением необходимым. Нет ничего удивительного в том, что Карла Ясперса — старшего выбирали депутатом ландтага и председателем городского совета. Кроме того, он на протяжении 50 лет был председателем

наблюдательного совета, контролировавшего деятельность Ольденбургского стекольного завода.

Как бизнесмен и банкир, он, *естественно,* был либералом. В газете «Везер — Цайтунг» от 2 ноября 1906 года его даже назвали «прирожденным вождем всех либералов»[21].

Возможно, именно поэтому он так любил одиночество. Либералы это вообще странная партия; это — *партия индивидуалистов,* которые *совместно* борются за то, чтобы каждый мог жить на свой собственный, отдельный лад. Главными их противниками всегда выступают люди, которые пытаются установить общий для всех порядок — прежде всего, чиновники, просветители и контролеры *всех мастей.* Но необходимость совместной борьбы даже за права индивидуальные либерала всегда тяготит именно своей совместностью. Отсюда и страсть к периодическому уединению.

При первой же возможности отец уходил подальше от суетного мира. В его личной шкале ценностей превыше всего стояла честность. Условием честности была полная независимость. А сохранять независимость можно было, периодически изолируя себя от людей. Карл Ясперс — старший время от времени уходил в такие миры, где его никто не мог потревожить. Если получалось уйти надолго, он отправлялся на охоту. Будучи состоятельным банкиром, он абонировал для себя одного огромные участки охотничьих угодий. (Однажды он забронировал для своей охоты целый остров Спикероог).

Если же уединиться надолго не получалось, он удалялся в виртуальный мир, куда другим не было доступа. Это был мир, который он создавал своими рисунками и акварелями. Сколько-нибудь значительным художником Карл Ясперс — старший себя не считал, хотя порой делал виртуозные копии известных произведений. Лучше всего у него получались пейзажные зарисовки. Это и был именно такой мир, какой Карл Ясперс — старший хотел видеть вокруг себя в немногие минуты покоя. На его картинах не было людей. Больше того: на них не было и никаких конкретных, тщательно прорисованных предметов — контуры их были предельно размытыми. Акварель позволяет не вникать в частности, не прорисовывать их. (Можно ли придумать лучший отдых от бизнеса и политики?). И. еще на картинах Карла Ясперса- старшего всегда открывались бескрайние дали. Это вселяло надежду, что однажды, если станет *совсем* невыносимо, можно будет уйти далеко — далеко без особого труда. Ведь нет никаких гор, пропастей и обрывов, чтобы преградить тебе путь.

К религии либерал Карл Ясперс — старший относился так же, как и все либералы. Он не выносил никаких директив, и попытки

священников диктовать ему, как нужно строить свои отношения с Богом, вызывали у него резкое неприятие. Либерал не способен слепо следовать указаниям какого-либо авторитета, даже если это авторитет Бога. Ему недостаточно указания: «Делай так, потому что я так сказал». Либерал непременно потребует обосновать приказ разумно, а затем убедится, оптимальное ли решение принято начальником. Именно либералы и придумали науку, требуя от Бога разумных законов мироустройства и пытаясь их отыскать. Религию, основанную на авторитете, либерал отвергает. Он даже отвергает веру — такую, которая не основана на разуме. Но он вовсе не отвергает религию вообще. Ведь религия позволяет давать священные клятвы и принимать священные обязательства, без которых не может быть прочных связей между людьми. Поэтому религию либерал считает удобным изобретением и вполне разумным способом морального обеспечения общественных договоров: разумные люди заключили сделку и поклялись сохранять верность ей на священной книге, описывающей основные правила достойного поведения.

В «Философской автобиографии» Карл Ясперс — младший написал:

«Мои родители игнорировали мир церкви. Атмосферу в доме я могу описать так. Будучи старшеклассником — прошло несколько лет после конфирмации — я пришел к мысли, что мне следует, если я хочу быть честным, выйти из лона церкви. Когда я сообщил о таком намерении отцу, он сказал примерно следующее: “Мальчик мой, ты, конечно, волен поступать, как пожелаешь. Но тебе еще не вполне ясен смысл того, что ты собираешься сделать. Ты не один на свете. Ответственность людей друг перед другом требует, чтобы отдельный человек не выбирал свой путь наобум, как ему только вздумается. Мы сможем жить, сосуществуя с другими, лишь в том случае, если будем соблюдать общепринятые порядки. Один из таких порядков устанавливается через посредство религии. Если мы разрушим его, неизбежно случится зло. В том, что с церковью, конечно, связано много лжи, как, впрочем, и со всеми человеческими учреждениями, я с тобою согласен. Вероятно, все будет обстоять иначе, когда ты доживешь до семидесяти лет. Перед смертью, когда мы уже отходим от активной деятельности в мире, мы вправе избавиться от всего лишнего, выйдя из лона церкви”» [С. 313].

Карл Ясперс — старший не верил в Бога. Но, не веря, он полагал, что религия должна существовать — исключительно для деловых надобностей. Когда ему исполнился 71 год, он окончательно отошел от дел и поступил именно так, как говорил

много лет назад сыну — вышел из лона церкви.

«Он попросил в церковном управлении решить это дело без широкой огласки. Несколько дней спустя пришел священник. Мой отец сказал ему: “Для нас обоих, господин пастор, было бы лучше, если бы мы не стали обсуждать этот шаг. Мои обоснования, возможно, оскорбят вас. Решение мое окончательно”. Пастор стал настаивать, требуя у отца объяснений. На что тот сказал: “Я стар и навожу перед смертью порядок в делах. Я редко принимал и одобрял то, что делает церковь. Приведу только один пример. Недавно один молодой человек лишил себя жизни. Церковь публично осудила самоубийство, пастор отказал в христианском погребении. Я подумал: а кто дал вам право на такое осуждение? и как вы можете, не будучи уже в состоянии добраться до самого покойного, так мучить его близких? Вы поймете, господин пастор, почему мне хотелось бы, чтобы о моем выходе из лона церкви не сообщали публично. Для других это событие не должно иметь никакого значения”. Нам же мой отец сказал, что ему доводилось слышать так много бестактностей в надгробных речах пасторов, что он желал бы избавить от этого своих близких во время своих похорон» [С. 313].

Резюмируя все, что им было написано об отце, Карл Ясперс-младший подчеркнул самое главное:

«Он рос, словно дуб, который стоит сам для себя и сам за себя, непреклонно следуя своему собственному закону…»[22]

Карл Ясперс — младший гордился отцом, считая, что на этом человеке не было ни единого темного пятнышка. Вся его философия — так же как философия у Джона Локка — пронизана восхищением отцом.

«Был нам богом отец, ну, а чертом — родина», — спел однажды Юрий Шевчук.

Карл Ясперс вполне мог подписаться под этими словами.

Один из друзей К. Ясперса, прочитав строки его воспоминаний об отце, сказал: «Таких отцов не бывает».

Хотя этот друг и был психологом, в экзистенциализме и экзистенциалистах он понимал мало. Сторонники этой философии не просто полагают, что внутренний мир ничуть не менее реален, чем внешний. Они полагают, вдобавок, что в определенных ситуациях внутренний мир человека может обрести такую значимость, что совершенно уничтожит для этого человека мир внешний. Сведет мир внешний к нулю. Ликвидирует самые очевидные, самые незыблемые факты и данности.

Об этом и поразмышляем дальше, конечно же, с текстами К.

Ясперса в руках.

Глава II. Неприкаянность

Тоска по родине в родном городе

Если выпало родиться в империи, то жить, как известно, надо в провинции у моря.

Если не получается жить у моря, остается одно: носить образ моря в душе. Постоянно, и смотреть на море всегда — внутренним взором.

Карл Ясперс написал на закате жизни:

«Я вырос с морем. С тех пор для меня море само собой разумеющийся фон жизни. Всегда все в движении, нигде ничего застывшего и, однако, во всем порядок, которого нельзя не чувствовать»[23].

Правда ли это?

Вырос ли Ясперс рядом с морем — географическим?

Нет.

Факты говорят о противоположном.

Город Ольденбург, где К. Ясперс родился, находится не у самого моря, а в трех десятках километров от него.

И моря из него не видно.

Карл Ясперс был неприкаянным в своем Ольденбурге. Сравнивая этот бюргерский мир с двумя *небуржуазными, непрозаическими мирами* — квази — аристократической усадьбой одного деда и с патриархальным крестьянским двором другого — он вспоминал, что город с детства действовал на него угнетающе:

«Настроение серого дождя, мутных оконных стекол, зрелище дурно пахнущих куч мусора, заброшенных стройплощадок — все это был город. Украшен он был расчетливо и манерно. Но и дух старого города ни в коем случае не был мне мил. В нем, как мне казалось, сохранялось нечто убого — трезвое; блеклое настроение без подлинной души»[24].

Карлу Ясперсу — младшему не нравилось то, что мы сегодня именуем *гламуром* — буржуазная расчетливость и манерность в украшениях города. Но не устраивала его и старая, «историческая» часть города. Она не была рыцарской — в том смысле, что здесь никогда не жили великие воины. Это была древность без величия. Старый город обладал в высшей степени скромным обаянием феодальной бюрократии, будучи резиденцией великого герцога, то есть правителя одной из многочисленных германских земель.

Точно так же нет никакого величия в сегодняшних

резиденциях региональных правителей, сооруженных в последние годы, равно как и в Дворцах Съездов или даже в помпезных зданиях Пенсионных Фондов.

Карл Ясперс, как это ни парадоксально, *родился на чужбине.* Он сам признался, что его родной город вызывал у него ощущение «тоски по родине»![25]

Да, этот город был слишком далек от моря…

Сам К. Ясперс признается, что море он *осознанно* увидел только в восемь или в девять лет. Нет, конечно, родители и раньше возили его отдыхать к морю, на фризские острова, но тогда он был совсем ребенком. Море было для него просто водой. А *смысл* моря он понял только в восемь — девять лет:

«Никогда не забуду, как я в восемь или девять лет в первый раз осознанно увидел море. Мы поехали на остров Нордерней. В первый вечер… мой отец на закате солнца пошел со мною на побережье. Был глубокий отлив. Мы пошли по обнажившемуся дну вслед за отступавшей водой. Открылась широкая полоса дна; нам пришлось идти неожиданно долго, поскольку путь наш все удлинялся, пока мы, наконец, дошли до воды. Подойдя к ней, мы увидели, как блестят в солнечном свете влажные плоскости открывшегося песка. Дорожка солнечного света на море, а потом, прямо под ногами, бесчисленное множество ценных, невиданных раковин, медуз, водорослей на обнажившемся дне: все это словно явилось чудесным магическим образом из какой-то бесконечной дали»[26].

Так что море *географическое* К. Ясперс видел в детстве только урывками: летом, когда ездил туда отдыхать с родителями, а потом и самостоятельно.

Он не *родился у моря.*

Он не *вырос у моря.*

Он *периодически* видел море в детстве, отрочестве и в юности. А в зрелые годы ему довелось жить в городах, которые и вовсе удалены от моря на сотни километров. Моря нет ни в Гейдельберге, ни в Швейцарии.

Но *всю жизнь,* как утверждает К. Ясперс, море было для него *само собой разумеющимся фоном.*

Уж не обманывает ли нас К. Ясперс?

Нет, не обманывает. Потому что он не пишет «Я вырос у моря». Он пишет: *«Я вырос с морем».*

Это значит, что он *вырос с морем в душе.*

И всю жизнь прожил с морем в душе.

Хотя и жил вдали от него.

* * *

Филолог И. Я. Соковнина как-то рассказала автору этой книги о своей фольклорной практике на Урале. Ее поразило то, что все старушки в деревнях под Невьянском, не сговариваясь, начинали свои повествования о жизни словами: «Сами мы не отсюда». После этого они расписывали свои родные места — на Украине, в средней полосе России, в Сибири. Однако из дальнейшего разговора вдруг выяснялось, что на Урал переехали еще их родители, а сами они родились и безвыездно прожили здесь.

Никакого несоответствия в своих рассказах эти старые женщины не видели. Они действительно чувствовали себя на Урале *нездешними,* проведя здесь всю свою долгую жизнь. Они прожили на Урале с Украиной или с Сибирью в душе, *ни разу там не побывав.* Но их родина, бесспорно, осталась там, независимо от места рождения. Потому что на Урале им *пришлось жить.* А *хотелось бы жить* совсем в другом месте.

То, что человек считает родиной, далеко не всегда совпадает с местом рождения и проживания. А если и совпадает, то при определении родины сам факт появления на свет в каком-либо месте и реальные обстоятельства проживания в нем особого значения для человека не имеют. У него всегда есть образ родины, с любовью сотворенный им в душе — самостоятельно, произвольно, хотя и не без некоторого влияния наиболее близких людей.

Значит, не надо понимать буквально слова о том, что, родившись в империи, надо жить в провинции у моря. Речь здесь идет не о прописке, а о мироощущении. Империя хочет навязать человеку свой образ родины, а человек отстаивает свой. Империя желает, чтобы человек считал своей родиной столицу, где пребывает Отец Народов, правитель империи. Там, в столице, всеобщий родительский дом. Как и все имперские правители, И. В. Сталин и его последователи формировали у каждого советского человека чувство, что его подлинный дом и родина это столица, а сам он находится у себя в городе или в селе в бессрочной командировке. Возможно, даже пожизненной. Тут уж как жизнь сложится. Ведь Отец Народов в любой момент вправе послать ради блага Великой Империи любого своего сына или дочь туда, куда пожелает. Там, куда тебя послал Отец Народов в командировку, и есть родина — но не дом. В этом ключ к пониманию сюрреалистических, казалось бы, советских песен: «Напиши мне, мама, в Египет, там, где Волга моя течет»; «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз».

И только в Москве — столице советский человек мог чувствовать себя дома.

«Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве», — так хором пели свинарки и пастухи в советских фильмах.

Потому что это настоящий друг, *из дома.* То есть— из Москвы. А все прочие друзья — просто знакомые из командировки. Пусть даже с ними и прошла вся жизнь где-то на Урале или в Сибири, о них нельзя сказать, что ты их никогда не забудешь. Ведь ты подружился с ними не в Москве, на подлинной родине для всего мирового пролетариата. Ты познакомился с этими немосковскими друзьями, шатаясь где-то по свету без дома, без адреса. Даже если прожил всю жизнь на одном и том же месте.

Вот какой образ родины навязывала человеку империя.

* * *

Поэты и мыслители, составившие своеобразный экзистенциалистский (читай — диссидентский) интернационал, наоборот, требовали жить не в столице, а в провинции, у моря. И здесь тоже, конечно, речь шла не о реальном местопребывании. Жить в провинции, у моря можно и нужно даже тогда, когда тебе приходится безвыездно обитать в столице или в каком-нибудь орденоносном индустриальном моногороде. Здесь ты не живешь, а *влачишь существование.* Так сказать, *имеешь место.* А к морю, в провинцию, надо вернуться в душе своей, и это будет вовсе не внутренняя эмиграция, а самая настоящая внутренняя репатриация. А самые стойкие диссиденты — которые были диссидентами даже в школе! — во внутренней репатриации не нуждаются, потому что никогда не покидали родины у моря, воображаемого моря в душе своей.

Карл Ясперс всю жизнь был таким диссидентом и жил именно так — у моря, которое он видел лишь несколько раз в жизни, но которое непрерывно существовало в его душе.

Он вполне мог бы подписаться под словами Ф. Ницше:

«Я не стал бы строить себе никакого дома (и это даже входит в мое понятие о счастье — не обзаводиться домом!). Но если бы мне пришлось, я бы, как некоторые римляне, построил его на самом берегу, так, чтобы он вдавался прямо в море — я хотел бы иметь кое — какие общие тайны с этим прекрасным чудовищем»[27].

К. Ясперсу надо было жить с *морем,* поскольку ему выпало родиться в империи. В империи новорожденной, а потому особенно крикливой — 1883 год был всего лишь двенадцатым

годом ее существования. Молодые империи наглы и настырны. Они пробуют голос, громко заявляя о своих правах и порядках, о тех правах и порядках, которые уже *по умолчанию* подразумеваются в империях старых.

Германская империя, созданная Отто фон Бисмарком, была громогласной и солдафонской. Фридрих Ницше ненавидел ее за это — за то, что прусский офицер с его командным голосом и безапелляционностью был принят здесь за образец, на который равнялись не только государственные служащие, но и все население от мала до велика. Ф. Ницше признавал воинские доблести прусского офицера, но с отвращением наблюдал, как он начинает определять весь стиль имперской жизни:

«Но стоит лишь ему начать говорить и двигаться, как он оказывается самой нахальной и самой противной фигурой в старой Европе — сам того не сознавая, без всякого сомнения! Не сознают этого и славные немцы, дивящиеся в нем человеку первостепенного и аристократичнейшего общества и охотно позволяющие ему “задавать тон”. Этим-то он и занят! — и тону его подражают прежде всего фельдфебели и унтер — офицеры, делающие его еще более грубым. Обратите внимание на командные выкрики, которыми прямо-таки выревываются немецкие города, теперь, когда у всех ворот занимаются строевой подготовкой: какая чванливость, какое бешеное чувство авторитета, какая насмешливая холодность вызвучивается в этом реве! Неужели немцы и в самом деле музыкальный народ?»[28]

Беда кайзеровской Германии, по мнению Ницше, состояла не в том, что в ней есть армия, а в том, что она пытается копировать армейские порядки и манеры во всех областях общественной жизни:

«Нечто насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное в голосе: это ныне звучит для немца “благородно” — и претензия на эту благородность слышится мне в голосах молодых чиновников, учителей, женщин, торговцев; даже маленькие девочки подражают уже этому офицерски — немецкому языку <…> Официальные немецкие сообщения, проникающие и за границу, инспирированы не немецкой музыкой, но как раз этим звучанием безвкусного высокомерия. Почти в каждой речи первого немецкого сановника, и даже тогда, когда он вещает в свой кайзеровский рупор, слышится акцент, от которого с отвращением уклоняется ухо иностранца: но немцы выносят его — они выносят самих себя»[29].

Именно от этого казенно — казарменного имперского духа и надо было бежать к морю, которое постоянно должно было жить в твоей душе. Ведь на фоне бескрайнего моря всякая человеческая

империя ничтожна. Как, впрочем, и вообще все человеческие затеи: титаники индустриальных времен ничуть не менее смехотворны, чем попытки царя древних персов заковать море в кандалы, опускаемые в его воды.

Когда такое — вольное — море все время живет в твоей душе, никакие посягательства империи на твою свободу и жизнь не страшны.

Их можно *игнорировать,* совершая Великий Отказ.

Правда, иногда такой Великий Отказ, предполагающий полное отстранение от империи и от ее дел, может быть нарушен — когда постоянные попытки империи *достать* поэта в его внутреннем уединении окажутся удачными. Тогда море в душе поэта будет убито. Так произошло с Анной Ахматовой, которая не выдержала семнадцати месяцев ожидания в тюремных очередях Ленинграда, добиваясь свидания с сыном:

> Если когда-нибудь в этой стране
> Воздвигнуть задумают памятник мне,
> Согласье на это даю торжество,
> Но только с условьем — не ставить его
> Ни около моря, где я родилась:
> Последняя с морем разорвана связь,
> Ни в царском саду у заветного пня,
> Где тень безутешная ищет меня,
> А здесь, где стояла я триста часов
> И где для меня не открыли засов.
> Затем, что и в смерти блаженной боюсь
> Забыть громыхание черных марусь…
>
> *«Реквием»*

Империя точно так же пыталась достать К. Ясперса, но порвать его связь с внутренним морем все же не смогла, как ни старалась. В годы нацистского правления Карлу Ясперсу, либералу, женатому на еврейке, запретили преподавать и публиковать свои работы. За взятку— этой болезни подвержены все этатистские режимы — ему удалось узнать точную дату, на которое была намечена депортация в концентрационный лагерь его и жены. До этой даты оставалось восемь лет. (Империи любят планировать). Все эти годы К. Ясперсу, отстраненному от преподавания и лишенного возможности публиковать свои работы, исправно привозили продукты и дрова, как профессору университета. (Ordnung muss sein!)

За несколько дней до запланированного срока депортации

Ясперса спасли американцы, вошедшие в город. Но все восемь лет обреченный профессор, с которым поддерживали связь только самые близкие и верные друзья, неустанно трудился — писал книги. Остальные задавали недоуменные вопросы: «Зачем вы пишете? Ведь публиковаться вам запретили, а после депортации из ваших рукописей вряд ли что сохранится».

Вынести все это позволял только образ родного моря — в душе. Если в детстве Карл Ясперс признавался, что его родной город вызывал у него ощущение «тоски по родине», то на закате жизни он мог бы сказать, что это же ощущение у него вызывали все места, где ему пришлось *проживать*. Только вокруг обретенного в детстве внутреннего моря он чувствовал себя дома.

* * *

Иногда прослеживание аналогий между вещами объясняет много больше, чем рассмотрение вещей по отдельности. То же можно сказать и о человеческих судьбах. Когда размышляешь о море, которое существовало в душе Карла Ясперса, невольно вспоминаешь жизнь русского писателя — экзистенциалиста А. С. Грина, автора «Алых парусов». Когда его будили ночью и подробно расспрашивали, как пройти из Лисса в Зурбаган, он всегда описывал путь неизменно, во всех мельчайших деталях, каждый поворот, каждый мост, каждое дерево у дороги. Будившие его заключали пари, спутает или не спутает ли он эти детали, описывая вымышленный мир, всячески пытались сбить его, прерывали, уточняли путь, задавая самые каверзные вопросы. Они полагали, что фантазия это произвол, и два раза представить одно и то же стереотипно она не в силах. Но они просто не понимали, что А. Грин не воображал себе этот мир периодически — он непрерывно жил в нем, изредка выбираясь в мир реальный. Он не просто воображал себе дорогу из Лисса в Зурбаган — он помнил ее наизусть, потому что ходил по ней тысячи раз. Потому что он жил там, у себя на внутренней родине, а не на внешней чужбине, где пребывал вынужденно. Чужбина не любила его.

Грин был на чужбине полным неудачником.

Он даже родился на чужбине (так однажды сказал о себе К. Ясперс).

А. Грина постоянно били дома, его исключили из училища. У него рано умерла мать, ему пришлось жить с мачехой и добывать деньги тяжким трудом. Родина была для него чертом и чужбиной. Несчастья преследовали его и в зрелые годы. Вот что пишет К. Г. Паустовский:

«Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью. Уже в зрелом возрасте, чтобы уйти от нужды, Грин придумал клеить из фанеры шкатулки и продавать их на рынке. Было это в Старом Крыму, где с великим трудом удалось бы продать одну — две шкатулки. Так же беспомощна была попытка Грина избавиться от голода. Грин сделал лук, уходил с ним на окраины Старого Крыма и стрелял в птиц, надеясь убить хоть одну и поесть свежего мяса. Но из этого ничего, конечно, не вышло. Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье. Мечтами об “ослепительном случае” и радости полны все рассказы Грина, но больше всего — его повесть “Алые паруса”. Характерно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей… Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить пожары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом. Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами»[30].

Дело, однако, не просто в неудачах.

И не только в том, что все мы больше любим не те города, в которых родились, а те, которые завоевали.

Грину, как и Ясперсу, была ненавистна буржуазность, та самая, которой на поверку оказалось воспетое просветителями царство чистого разума (на самом деле — царство голого расчета). Каперна, с такой ненавистью описанная Грином в «Алых парусах», весьма напоминала Ольденбург Ясперса — *город серых дождей и запотевших окон.*

Грин был эсером, он хотел удержать деревню от обуржуазивания — и с горечью видел, что попытка не удается. Патриархальность и истовость, те самые, которые так ценил в дедовском хозяйстве Ясперс, уходили безвозвратно. Приходила мерзость пошлого всенародного прагматизма.

В «Алых парусах» есть собиратель песен, легенд и сказок Эгль; он показался Ассоль самым главным волшебником на свете. Этот Эгль так описал Ассоль деревню Каперну, откуда она была родом, где жила, но чувствовала себя на чужбине:

«Я был в той деревне, откуда ты… У вас не рассказывают

сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом…»[31]

Портрет пошлых, ненавистных капернцев дополняется у Грина описанием их любви:

«Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева»[32].

Представляется, что родной и такой чужой город Ольденбург казался К. Ясперсу таким же. А кто же был противопоставлен у А. С. Грина буржуазно — торгашеской Каперне? Ремесленники и аристократы, которых так любил К. Ясперс. Правда, они отступали под напором буржуа. Благородного Грэя мещане вытеснили в море. Ему пришлось стать капитаном, потому что рожденные ползать, но шустрые буржуа не оставили ему места на земле. Отец Ассоль, ремесленник Лонгрен, делал игрушки, напоминавшие о прекрасном романтическом *прошлом,* и разорился под напором машинной индустрии, массами производящей игрушки про отвратительное *настоящее* — «складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой… Выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые»[33].

(Ясперс тоже ненавидел школу, но об этом позже).

Аристократ Грэй, будущий капитан судна с алыми парусами, родился и вырос в фамильном замке, где на чердаке «он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу»[34].

Он, Грэй, был точно таким же, как отец философа Ясперса — аристократом среди бизнесменов. Что поделаешь! Ведь в буржуазные времена аристократу без бизнеса не выжить, но бизнес этот аристократ может вести только по рыцарским правилам.

Корабль Грэя был торговым судном. Но этот корабль возил только *нездешние грузы не от пошлого мира сего,* например пряности, а капитан его презирал все законы экономики и не стремился к прибыли, говоря:

«Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру»[35].

Александр Грин и Карл Ясперс мыслили одинаково: они

верили, что пошлость рыночных отношений, плебейство правового государства и демократии еще можно будет однажды преодолеть, наполнив духовными, подлинно человеческими отношениями. Эти отношения, конечно, не будут возвратом к реальному феодализму. Они станут реальным воплощением высокого романтизма, при котором человек будет иметь дело не с какими-то *юридическими и физическими лицами,* не с какими-то *репрезентантами* общественных групп и слоев, которые так любят политологи и социологи, а с людьми во всей их уникальности и неповторимости. «Индивидуального подхода» заслуживает каждый человек, а в ответ он приложит все усилия, чтобы действительно стать индивидуальностью, поскольку «быть заменимым некрасиво»[36].

Герой «Алых парусов» Грэй выражает эту мечту так: «…Вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка… Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получить дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы *сам* выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно… Владеть этим — значит владеть всем»[37].

Алые паруса на торговом судне — это и было чудо, сотворенное аристократом — менеджером Грэем для своей возлюбленной Ассоль.

Постройка предками Ясперса дворянского гнезда в обывательском Ольденбурге была затеей аналогичного свойства.

Карл Ясперс пойдет еще дальше: в книге «Куда движется ФРГ?» он предложит переделать на человеческих, подлинно экзистенциалистских (или *эсеровских*?) началах всю послевоенную Германию.

Он предложит навсегда похоронить в ней бюргерство, бюрократию и муштру. То есть сделать явью алые паруса на торговом судне Германии. Но утопический экзистенциалистский план Ясперса, один в один совпадавший с процитированной нами программой Грэя, не был принят. Империя не использовала предложенный философом шанс исправиться.

В знак протеста философ перебрался в Швейцарию.

Вроде бы — вдаль от моря, но на самом деле — ближе к нему.

Потому что, если не видеть моря, оно остается в душе все таким же волшебным.

* * *

Тоска по вымышленной, нереально прекрасной внутренней родине называется *ностальгией.*

Запомним и это до поры.

Ностальгия всегда считалась источником поэзии, заставляла сочинять стихи и песни о прекрасных, но недостижимых местах, ради обретения которых не жалко и положить свою жизнь.

Сотворенная фантазией внутренняя родина выглядела всегда по — разному, в зависимости от мастерства и вкуса поэта, его политических взглядов и эстетических пристрастий.

Возьмем наугад известные поэтические тексты, выражающие ностальгию в наиболее ярком виде. (Они, впрочем, известны представителям *разных* поколений современного российского общества, а потому стоит привести их целиком).

Вот известная старшему поколению «Гренада» М. А. Светлова, никогда не бывавшего в Испании, но написавшего в 1926 году, задолго до гражданской войны в этой стране, свое лучшее стихотворение (на создание его поэта подвигло название гостиницы «Гренада» на Тверской):

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко» — песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит
Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»
Он песенку эту

Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И, Харьков, ответь:
Давно ль по — испански
Вы начали петь?
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко П
апаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада, Гренада моя»?
Он медлит с ответом,
Мечтатель — хохол:
— Братишка! Гренаду
— Я в книге нашел.
— Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»
Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход подымался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.
Но «Яблочко» — песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен…
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада, Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена…»
Да. В дальнюю область, В заоблачный Плёс Ушел мой приятель.
И песню унес.
С тех пор не слыхали
Родные края:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»
Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко» — песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя…
Новые песни
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Тот же феномен острой тоски по воображаемой родине, на которой лирический герой не был никогда, выражен в известной среднему поколению «культовой» песне «Наутилуса Помпилиуса» на слова В. Г. Бутусова — «Прощальное письмо»:

Когда умолкнут все песни,
Которых я не знаю,
В терпком воздухе крикнет
Последний мой бумажный пароход.
Good-bye, Америка, о,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,

Сыграй мне на прощанье.
Мне стали слишком малы
Твои тертые джинсы.
Нас так долго учили
Любить твои запретные плоды.
Good-bye, Америка, о,
Где я не буду никогда.
Услышу ли песню,
Которую запомню навсегда.

Наконец, для демонстрации полного разнообразия жанров — и полного единообразия ностальгии — вспомним известнейший современный «шансон» И. Л. Кучина «Чикаго»:

Глухая тайга. Лесосплав полным ходом,
Бревно за бревном, день за днем, год за годом.
Напарник из новых, весь светит насквозь,
Под вышкой ходил, но, увы, не сбылось.
Принес он свои золотые пятнадцать,
Держался за них, все потел, надрывался
И я, наблюдая, как он метит дни:
Земляк, — говорю, — покури, отдохни!
А он, доходяга, ответил неясно:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!
Когда нормы нету, когда не погодит,
То каждый с ума всяк по — своему сходит.
Кто пьет, кто дерется, а этот — того,
Какой-то ущербный… Мне жалко его.
Глядит в небеса, взгляд дурной с поволокой,
Морока мне с ним, ведь гляди в оба ока:
Сорвался багор, покатился волан…
Эй, прыгай! — кричу, — оглоушит, болван!
А он, доходяга, сказал вновь неясно:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!
В бараке лежим. Я стараюсь помягче.
Спросил о семье. Он лежит, глаза прячет.
Дела, — говорю, — знать, не важны, браток?
Ну, хочешь, заочницы дам адресок?
От сердца даю, от души отрываю,
Шеф — повар столовой, по имени — Рая.
Напишешь — полюбит. Вернешься — возьмет,
И жизнь у тебя, как по маслу, пойдет!
А он, доходяга, заладил и баста:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!

Я вижу — дойдет, не дотянет до снега.
И я то да се ему, вплоть до побега.
И время убил, и не смог ничего,
И, в общем, оставил в покое его.
А нынче сказали: его задавило,
Но дышит еще… Я к нему, что есть силы.
Прибег, говорю: Доконал ты меня!
Неделю мне снится Чикага твоя!
И он, бедолага, чуть слышно, печально:
Ты видел Чикаго? Ну, как там, нормально?..

Ставить эти тексты в один ряд можно только в одном случае: если мы совершенно оставим в стороне эстетическую сторону дела и будем рассматривать их исключительно как выражение *ностальгии по невиданному.*

Иными словами, мы поступим так, как поступил Карл Ясперс: он посмотрел на ностальгию не как на источник поэтического творчества, а как на болезнь, способную привести к преступлению.

Все приведенные тексты получили огромную известность в России: каждый из них известен десяткам миллионов людей. Разумеется, причиной тому — не их поэтические достоинства как таковые, а психологически точное выражение ностальгии, характерной для экзистенциализма.

Чем тягостнее и бессмысленнее окрестный лесоповал, тем ярче краски внутреннего Зурбагана — как бы он ни назывался и каким бы он ни рисовался человеку, и тем сильнее желание уничтожить «до основанья» ту пошлую реальность, которая заслоняет этот волшебный, сверкающий мир.

Мир подлинный и мир неподлинный: необходимость коррекции сказок

Как мы уже успели заметить, экзистенциалист знает два мира, подлинный и неподлинный. Мир подлинный (или собственный) сотворен самим человеком исключительно по собственному выбору. В нем человек — единственный демиург. Мир неподлинный (или несобственный) сотворен другими и навязан человеку.

Разница между экзистенциалистом и реалистом заключается в том, что реалист заранее признает второстепенность подлинного мира, а экзистенциалист — второстепенность мира неподлинного. Говоря проще, реалист заранее готов признать

неподлинный мир свинцовым, несокрушимым, *необходимым* (то есть таким, что *обойти его и* уклониться от него невозможно). Именно к такому миру, именуемому объективной реальностью, и следует приспосабливаться, всячески ограничивая своеволие и сводя к минимуму мир собственный, подлинный.

Напротив, экзистенциалист не считает неподлинный мир несокрушимым и непреодолимым. Да, до определенной поры этот неподлинный мир владеет сознанием *образованного* человека (то есть такого человека, который был ранее *безобразен* и получил свой *образ* благодаря обществу, наложившему на него свой отпечаток). Но со временем, под влиянием определенных факторов, о которых мы еще будем говорить позднее, навязанный человеку мир отторгается. Вначале он вызывает отвращение и тоску, а затем — тошноту, заставляющую осуществлять Великий Отказ от него. Мечта о подлинном, собственном мире у экзистенциалиста оказывается настолько сильной, что она способна зачеркивать, ничтожить в душе то, что принято именовать реальностью. У Ж. — П. Сартра это выражено формулой: «Человек — это место, где Ничто вторгается в мир».

Вначале появляется отвращение к неподлинному — к какому-нибудь Ольденбургу или к деревне Гадюкино, в которых постоянно идут дожди, — и оно зачеркивает для человека эти гнусные места, а затем на их место в душе входит подлинный мир мечты, подлинная внутренняя родина экзистенциалиста, которую он изо всех сил пытается утвердить и в создаваемом им внешнем мире.

Но если это так, то фантазия для экзистенциалиста имеет ничуть не меньшую силу, чем реальность, реальность, данная в опыте. Мечта может зачеркнуть реальность. Если это так, то всякое слово экзистенциалиста нужно проверять: описывает ли он *еще* реальность или *уже* фантазию?

Море…

Сразу же надо спросить: это реальное, *географическое* море, которое К. Ясперс видел лишь изредка, или созданное его фантазией море, у которого он жил постоянно?

Не нужно ли нам задать точно такой же вопрос и о *родителях,* которых описывает К. Ясперс?

Это реальные родители, или родители, которыми их хотел бы видеть экзистенциалист К. Ясперс?

Едва ли такое разделение может четко провести любой из людей: его внутренний образ родителей всегда представляет собой сплав реальности, данной в опыте, и фантазий.

Но мы, ставящие своей задачей создание *понимающей истории философии,* просто обязаны произвести коррекцию

экзистенциалистских фантазий. Их вовсе не следует заменять *реалиями,* чтобы понять философа — как мы видели, нам нужен для такого понимания образ моря, существующий в душе мыслителя, а вовсе не описание географических данностей.

Будь на нашем месте позитивист, он просто назвал бы море Ясперса вымыслом, тогда как это море было для мыслителя влиятельной внутренней реальностью.

Но, как мы убедились, эта внутренняя реальность была сотворена фантазией достаточно произвольно…

А люди, которые живут вокруг этого созданного фантазией моря?

Насколько произвольно сотворяются они? Вопрос не праздный.

Мы уже познакомились с портретами предков, которые нарисовал К. Ясперс.

Насколько эти портреты были плодом его фантазии?

Если на месте К. Ясперса был бы А. Грин, мы не задавали бы этого вопроса.

И Грэй, и Ассоль, и все прочие — нереальны.

Но ведь Ясперс никогда не пытался выступать в роли сочинителя.

Он писал собственную автобиографию, а не биографию вымышленного героя.

Он был врачом — по образованию и по первой профессии. Он переживал, он мыслил и чувствовал, как экзистенциалист. Но при этом он постоянно наблюдал за собой как врач. Иногда он увлекался, уходя в фантазии.

Тогда ему помогали вернуться на твердую землю коллеги.

Об одном из них — психоаналитике — мы уже упомянули вскользь.

Послушаем теперь, что говорит о нем сам К. Ясперс.

«В 1937 году, когда меня лишили профессуры, я написал для своих родителей о своем происхождении, родительском доме, детстве. Неопубликованную рукопись я дал прочесть одному своему другу, психоаналитику. Он вернул мне ее со словами: “Это — картина, нарисованная по золоту; такого отца и такого сына не бывает”. Происхождение моей силы — в том, что такой отец был»[38].

Здесь можно заметить, как в К. Ясперсе борются экзистенциалист и врач.

Врачебная наука, основанная на опыте, говорит, что таких отцов не бывает. Как вообще не бывает людей, состоящих из одних достоинств.

К. Ясперс знает это — как врач.

И все же он настаивает на том, что такой «золотой» отец у него был.

Мы, конечно, не вчера родились на свет. Мы понимаем, при каких обстоятельствах были написаны мемуары К. Ясперса. В 1937 году ему уже исполнилось 54 года. В этом возрасте человек уже прекрасно понимает, что объективной истины не существует. Так называется мнение, которое желают тебе навязать. Сам ты, как субъект, обладаешь только субъективной истиной. А вот другие субъекты по какой-то причине обладают не субъективной, а объективной истиной. (Очевидно, потому, что они «сгрудились в партию», как говаривал В. В. Маяковский, или вещают от имени отдела кадров, который есть представительство империи в жизни каждого человека). К тому же за пять с лишним десятилетий жизни человек успел увидеть, как часто менялась незыблемая «объективная истина» — с каждым приходом к власти новых субъектов.

В общем, после пятидесяти люди — если они, конечно, не настоящие, профессиональные историки, для которых честность есть квалификационный признак, — перестают стесняться и выдают за истину то, что они считают таковой в данный момент.

Применительно к нашему случаю это надо понимать так: я пишу свою автобиографию такой, какой мне хотелось бы ее видеть, и людей, сыгравших в моей жизни значительную роль, я рисую такими, какими они мне сейчас представляются. (Мне нет нужды проверять, насколько эти представления соответствуют представлениям других, ведь не проверяю же я путем опроса, действительно ли моя любимая женщина — самая прекрасная на свете).

Принять во внимание надо и еще одно: в 1937 году мемуары пишет человек, который отстранен от преподавания и не имеет возможности печататься, человек, которого ждет концлагерь. Он пишет мемуары как прощальное письмо. В таких письмах редко присутствует холодная объективность.

Наконец, воспоминания пишутся — прежде всего! — для своих стареньких родителей. Они будут первыми читателями. Понятно, что К. Ясперс постарался избавить их от изложения своих детских претензий и обид, которые обычно и называются «неприкрытой правдой», написав о родителях только приятные для них вещи.

Да и вообще: состояние полной незащищенности в годы нацистского правления просто не может не наводить на ностальгические воспоминания о славных годах в родительском доме, где К. Ясперс чувствовал себя как за каменной стеной.

И все же К. Ясперс не полностью победил в себе врача. Голос

друга — психоаналитика (а существовал ли он вообще?) — это голос самого Ясперса, читающего собственные мемуары.

Если присмотреться к деталям и частностям воспоминаний, а тем более — к сохранившимся письмам и к тому, что ускользнуло от внутренней цензуры в мемуарах, то образы родителей оказываются вовсе не такими сусальными.

Образ матери у К. Ясперса получился значительно более противоречивым и неоднозначным, чем образ отца. Это говорит о том, что с матерью юный Карл общался больше, чем с отцом. Фантазия рисует образ цельным и непротиворечивым. Наблюдения, наоборот, бывают разнообразными — ведь, как замечал Гераклит, нельзя застать никого из смертных в одном состоянии дважды. Потому человек, с которым ты общался долго и тесно, неизбежно представляется тебе разнообразным, противоречивым, неоднозначным. Такое разнообразие и изобилие впечатлений никак не желают вписываться в единый и цельный образ, специально выстраиваемый для мемуаров.

Вот и выходит, что самый близкий и дорогой из родителей, с которым ребенок общался, что называется, взахлеб, спустя многие годы описывается противоречиво, нескладно и сбивчиво. В общем, так, что это кажется неубедительным, и наоборот: образ того родителя, который был недоступен для общения, выходит в мемуарах лучше всего.

(А как совершенен и целостен у теологов образ трансцендентного, запредельного Господа!)

Тот же друг — психоаналитик наверняка признал противоречивый образ матери в мемуарах К. Ясперса гораздо более жизненным, чем образ отца. Вот что философ написал о ней, вспоминая детство:

> «С матерью своей я чувствовал себя связанным настолько несомненно, безусловно, без всяких вопросов, что никогда даже не добивался специально ее внимания и расположения. Я жил с оглядкой на нее не так, как жил с оглядкой на своего отца; я не боролся с нею, как боролся с ним. Я отдал себя ее переполненному сердцу и позволил ему нести себя, я почувствовал себя защищенным ее неосознанной, инстинктивной мудрости. Она признавала достойным существования и значимым то, что представлялось ей чуждым, и с чем она, тем не менее, стремилась сблизиться. Она не ведала никаких незыблемых принципов и доктрин. “С твоей матерью можно красть лошадей” — сказал мне как-то один из друзей. Строгость ее заключалась только в ее любви, не

выносившей ничего заурядного и искавшей благородного в сокровенных глубинах каждого человека. Она веселилась с веселыми и страдала со страдающими. Поскольку она так сильно любила, она была способна видеть в реальном то, что было чем-то большим, чем просто реальное. Поскольку она без остатка отдавалась своему счастью и своей боли, будучи потрясенной в душе, у нее оставалось в душе и нечто незыблемое, не подверженное никаким потрясениям. Она оставалась связанной с судьбою своих детей до невероятия, до немыслимого, вопреки всем представлениям о счастье и всем условностям. Отчаяния для нее просто не существовало. Она действовала в любой ситуации, вовлекая в это действие нас, детей. Всегда мужественная, она на протяжении всей жизни ободряла нас, вселяя в нас мужество <…> Существование такой матери было для ее детей великой силой и последним прибежищем»[39].

Как видим, образ матери в мемуарах К. Ясперса достаточно сумбурен и противоречив, а потому вызывает доверие. Сочинить такой сумбур затруднительно. Завершается он, правда, однозначно восторженной оценкой. Но говорятся о матери такие вещи, которые трудно совместить. Она — человек инстинктивный, прагматичный, не ведающий принципов, и вдруг — ищущий в других нечто возвышенное и благородное. Она растворяется в детях, живет их жизнью, но при этом не ведает отчаяния даже тогда, когда дети ее оказываются в трагическом, безысходном положении…

Незадолго до смерти Карл Ясперс рассказал своему последнему ассистенту Х. Занеру поразительную историю о своей матери — как он выразился, просто «чтобы кто-нибудь знал об этом»[40]. Карлу Ясперсу надо было облегчить душу, разделив это тяжкое знание с кем-то.

История была такова. Младший брат философа, Энно, запутался в жизни. «Когда он решил, что ему уже ничто не поможет, он — ему тогда было немного за сорок — покончил с жизнью в родительском доме, приняв яд. Мать, которая знала о безысходности его жизни, позволила ему умереть. Она вызвала врача лишь тогда, когда было уже слишком поздно»[41].

И это — женщина, которая «оставалась связанной с судьбою своих детей до невероятия, до немыслимого, вопреки всем представлениям о счастье и вопреки условностям»? Женщина, которая «на протяжении всей жизни ободряла нас, вселяя в нас

мужество»? Женщина, благодаря которой Ясперс «почувствовал себя защищенным»? Отчаяния для нее, похоже, действительно «просто не существовало». Но едва ли причиной этого была беспредельная любовь к детям, стремление раствориться в их жизни…

* * *

Фигура отца в воспоминаниях К. Ясперса совершенно безукоризненна. Это — натура абсолютно цельная, свято чтящая собственные принципы и свободу, всегда разумная и нравственная. Что может свидетельствовать только об одном: образ отца вымышлен в значительно большей степени.

Вот описания этой немыслимо прекрасной и невероятно любимой фигуры Отца — они похожи на описания Бога:

«В случаях, вызывавших сомнение, он полагался на разум своих детей. Мы не получили от него ни одного удара, ни одного приказа, которому надо было следовать слепо. Он наставлял, он показывал, он использовал разные средства — для игры и для обучения. Но он не играл нами. Он был авторитетом, не притязая на авторитет. Мы видели, как он рисовал свои акварели, как он идет на охоту, как держит в строгом повиновении охотничью собаку. Мы слышали, как он говорит с родными и друзьями, а также с людьми всякого происхождения. Он всегда был естественен, но не попустительствовал всему, что бы ни происходило, и не любил условностей, установленных общим мнением. Пиры и празднества, которые тогда были приняты в буржуазном обществе, могли вызвать оживление у моей матери и побудить ее позволить себе нечто сверх дозволенного. Ему такого было не дано. Он излучал, сам того не желая, превосходство и задавал таким образом настроение. Казалось, что его рука, всегда готовая оказать помощь, всемогуща. Его доброта была нашей защитой в мире. Само существование его гарантировало, что ничто на свете нам не сможет повредить»[42].

Джон Локк, глядя на своего собственного отца — пуританина, создавал себе образ Отца Небесного. Он полагал, что сын должен заслужить право на общение с отцом, всячески работая над собой.

Возможно, и Карл Ясперс превратил бы в своих мемуарах отца в земное воплощение Бога, если бы его отец был человеком верующим. Во всяком случае, от такого превращения Карла Ясперса отделял лишь один, последний шаг: ведь отец представлялся ему чуть ли не космической силой, оберегающей и сохраняющей, но при этом мудрой, любящей и терпеливой:

«Я чувствовал себя, живя с родителями, как за каменной стеной. Мой отец, неосознаваемо для нас, ненамеренно с его стороны, был образцом для нас. Без церкви, без отсылки к объективному авторитету— наихудшим считалась неподлинность (Unwahrhaftigkeit), и почти столь же скверным было слепое повиновение. Ни того, ни другого быть не должно! Поэтому наш отец был бесконечно терпелив по отношению к моему сопротивлению. Если я противоречил, следовал не приказ, а обоснование, почему это разумно»[43].

Отец был для Ясперса Богом, который представляет собою абсолютный авторитет просто потому, что Он — Бог. Отец для него, собственно, даже превосходит Бога. Бог просто велит повиноваться, не утруждая себя разъяснениями. Отец же всегда умел объяснить, почему надо исполнять его распоряжения. То есть он, отец, был Богом, способным разумно объяснить, почему в Него надо верить.

Такое немыслимое совершенство заставляет более пристально всматриваться в последнее предложение из приведенной цитаты: «Если я противоречил, следовал не приказ, а обоснование, почему это разумно».

Оно больше характеризует сына, чем отца.

Карл Ясперс редко повиновался отцу, не потребовав от него объяснений.

Вспомним сказанное о матери — о том, *что* в ней было противоположно отцу.

«Я никогда даже не добивался специально ее внимания и расположения. Я жил с оглядкой на нее не так, как жил с оглядкой на своего отца; я не боролся с нею, как боролся с ним».

Вот это уже ближе к правде.

Ясперс жил с постоянной оглядкой на отца, специально добивался его внимания и расположения, боролся с ним.

И борьба эта была вовсе не романтической, вроде битвы Давида и Голиафа. Она была весьма прозаической, эта борьба.

Это сильно корректирует образ самого Ясперса.

В письмах к родителям он парадоксален — как был бы парадоксален романтик Грэй, который торговался бы, покупая алые паруса. Сохранившиеся письма, адресованные К. Ясперсом в пятнадцатилетием возрасте к родителям, столь безумно любимым и обожаемым, столь полным совершенств, никак об этой любви не свидетельствуют. Их можно изучать с лупой — и все равно рассмотреть там можно будет только образ очень больного, капризного мальчика, который думает исключительно о себе и своем здоровье; он инфантилен не по годам, как и все чрезмерно опекаемые родителями дети.

Вот письмо пятнадцатилетнего юноши с каникул, проводить которые его отправили на фризские острова в Северном море.

«Нордерней 10 июля 1898

Дорогие родители!

Вот и закончилась сегодня неделя наших каникул. Это жалко, но я и радуюсь тому, что через три недели снова приеду домой. Я здесь действительно чувствую себя прекрасно. Фрау Буш полагает, что я уже выгляжу значительно свежее. Правда, мой кашель еще не прошел полностью. Днем я почти не кашляю, но фрау Буш говорит, что я кашлял ночью. Каждое утро и каждый вечер мне дают молоко, в котором растворена эмсская[44] соль. На вкус отвратительно, я думаю, совершенно не помогает. Вчера был день рождения у сестры фрау Буш, Хедвиг Буш, которая здесь хлопочет по кухне.

Столько цветов, сколько ей подарили, я еще никогда не видел. Заставили ими всю комнату. Вчера вечером В. Залфельд, Ф. Шнайдер и я были на берегу моря, чтобы посмотреть, как заходит солнце. Это было восхитительно. Солнце полностью погрузилось в море, на горизонте не было ни облачка. Сегодня я снова собираюсь искупаться. Если мне будет хорошо после этого, как до сих пор было всегда, то и завтра буду купаться тоже. Чего мне, собственно, не хватает на берегу, так это пледа, чтобы укутывать ноги. При таком ветре, как сейчас, это и в самом деле необходимо. Я попробовал укрывать их пальто, но тогда слишком холодно верхней половине тела.

В. Залфельд взял с собой плед, а мне тоже нужно <…> Мои фотографии мне здесь проявлять плохо — вышло бы чересчур дорого. Если вы разрешите, я хотел бы, пожалуй, купить здесь шезлонг, который может складываться, он стоит 2.25 [марки]. Сердечно благодарю тебя, любимая мама, за твое милое письмо. Мило с твоей стороны, что ты пишешь мне каждый день, ты доставляешь мне этим большую радость. Конечно же, ста пятьюдесятью марками я не обойдусь на протяжении всех четырех недель. Один только пансион стоит 180 марок. Кроме того, я на сегодняшний день потратил около 32 марок. <…> Я полагаю, что вам будет лучше всего через восемь — четырнадцать дней прислать еще 150 марок. Ведь я привезу те деньги, которые мне не понадобятся, назад домой; так бы я не чувствовал себя неуверенно, боясь, что денег не хватит. Сейчас мы хотим пойти купаться.

Сердечный привет

Ваш Калли[45]»[46].

Принято полагать, что экзистенциалисты — народ чувственный, порывистый, эмоциональный, сумбурный, не

пользующийся разумом и не отличающийся расчетливостью.

Это не так. Человек чувственный, по — настоящему порывистый, эмоциональный и сумбурный сам своей чувственности и сумбурности не замечает. Он живет чувствами, не анализируя своего поведения. А вот заметить свою эмоциональность и удивиться ей настолько, чтобы взяться за ее скрупулезное описание, может только человек с бухгалтерским складом ума. Смотри-ка, насколько мною овладели чувства… Поглядим-ка на это диковинное явление повнимательнее, проанализируем…

Письма К. Ясперса не оставляют сомнений: он прекрасно считает деньги, причем делает это естественно, привычно, а не только потому, что хочет понравиться отцу — банкиру.

И еще одно стоит заметить. Человек, который действительно любит кого-то, в письмах своих к любимому существу говорит, главным образом, о нем и о своих чувствах к нему. Он обычно не расписывает в деталях свою жизнь без любимого человека. (Предполагается, что это — вовсе не жизнь, а сплошная мука, так что нечего о ней и говорить).

Но в письме К. Ясперса нет ничего, кроме стандартной благодарности за письмо и предписанного правилами вежливости уверения в любви к матери. Там нет ничего, говорящего об его интересе к родителям, их жизни, мыслям и чувствам. Даже стандартные уверения в сыновней любви перемежаются обсуждением сугубо меркантильных, «денежных» вопросов.

Да, экзистенциализм — это философия о чувствах.

Но это — *калькуляция чувств.*

Как, впрочем, и всякая психология.

Кроме приведенного письма, полного виртуозных описаний природы («Солнце полностью погрузилось в море, на горизонте не было ни облачка») и казенных признаний в любви к родителям, мать философа сохранила еще и открытку того же времени:

«[Нордерней, 9.7. 1898]

[Милые родители]

Сегодня я не пишу вам письма, так как больше не знаю, о чем писать. Вчера мы были в дюнах, когда разразилась непогода. На мою беду, когда мы поднялись на высокую дюну, мой зонт сломался. Его вывернуло ветром, и три спицы сломались. Так как конструкция очень сложная, и все связано друг с другом, сейчас надо менять всю конструкцию. Я хотел бы спросить, купить мне новый зонт или отдать в ремонт этот, что было бы очень дорого, или, может, мне и вообще не надо никакого зонта? Вчера вечером сюда приехал Фридов Шнайдер из Гамельна (15 лет, очень мил). У него своя отдельная комната, хотя он и приехал позже меня.

Мои дела идут очень хорошо. Все прекрасно. Вилли Залфельд становится лучше в соответствии с моими замечаниями. Сейчас я охотно сплю с ним в одной комнате, ведь надо же уметь привыкать ко всему. Сердечное спасибо за мамину открытку. С сердечным приветом ваш Калли»[47].

Хорош любящий сын! «Я не пишу вам письма, так как не знаю, о чем писать». Любил бы, так было бы, о чем написать. А так понятно, что ему *велено* было писать письма каждый день. Не велено было бы, так и не написал бы вовсе.

Но вот писать нечего, а потому вместо письма родителям отправляется открытка. В открытке люди кратко пишут о главном, самом существенном. И каково же оно, это главное и существенное для юного Ясперса?

Юный хитрец сообщает, во — первых, что у него сломался зонт. Во — вторых, он подчеркивает свою бережливость: он уже прикинул, что ремонт будет стоить дорого, так что он, бережливый, готов обходиться и вовсе без зонта — бедный, всегда простуженный мальчик, и еще одно хитроумное сообщение. Приехал сюда отдыхать новый юноша и сразу же поселился в отдельной комнате. А мне, хотя я живу тут уже давно, приходится спать в одной комнате с приятелем Вилли, который оглушительно храпит. Ну, ничего. Я сплю с удовольствием — ведь надо же уметь привыкать ко всему, развивая в себе христианское смирение. Я стремлюсь улучшить этого храпуна, воспитывая его. Все хорошо, прекрасные мои родители…

В искусстве тонких намеков на толстые обстоятельства К. Ясперс оставался непревзойденным мастером на протяжении всей жизни. Он ничего не требовал, даже ничего не просил, он просто говорил столько, что *разумному человеку было достаточно.* Возможно, он брал в этом пример с отца, который точно так же убеждал его в необходимости выполнить свои просьбы.

Апофеоз любви между папой — банкиром и его расчетливым сыном был достигнут перед окончанием гимназии. К. Ясперс вспоминает, что отец пригласил его, будущего выпускника, к себе и раскрыл перед ним самое сокровенное — свои бухгалтерские книги. А затем сделал щедрый подарок, буквально сотворил чудо. Показав сыну, каковы доходы семьи и каков капитал, которым она располагает, отец завершил экскурс в семейную экономику словами:

«Полагаю, ты можешь рассчитывать, что у тебя будет возможность на протяжении десяти лет изучать то, что ты пожелаешь, и заниматься любым делом по своему выбору, прежде чем тебе самому придется зарабатывать на жизнь»[48].

Чем мог ответить образцовый сын на такой широкий жест

образцового отца?

Конечно же, у него был только один ответ: он заверил, что выбирает именно то, что хотел бы выбрать для него отец. К. Ясперс сказал, что принял решение изучать право, а затем перейти к «практической жизни»[49], став адвокатом или торговцем. Нетрудно заметить, что такой выбор будущей профессиональной стези был сделан в полном соответствии с семейной традицией, хотя — по видимости — абсолютно самостоятельно. Отец и сын обменялись благородными жестами: первый заявил, что ни к чему не принуждает сына и готов финансировать на протяжении десяти лет его поиски собственного дела в жизни. Другой сделал ответный шаг, которого от него и ожидали: он заявил, что свободно, без всякого принуждения избирает стезю предков, которые были торговцами, финансистами и политиками.

Глава III. О жизненных неприятностях — внешних и внутренних

Нет никаких сомнений, именно так все и произошло бы: К. Ясперс окончил бы юридический факультет, а затем перешел «к практической жизни», занявшись бизнесом или засев в адвокатской конторе.

Мечты, согласимся, для юноши странные. Скорее, это мечты родительские, которые К. Ясперсу сумел внушить отец — хитромудрый педагог сократовского толка. Он продемонстрировал высший педагогический пилотаж, при котором наставник ничего не диктует, ничего не навязывает. Но — слава великим богам! — воспитуемый свободно приходит именно туда, куда ему и определил прийти наставник.

Кто кого тут обманывает?

И воспитатель, и воспитуемый знают, что имеет место негласное джентльменское соглашение. Старший джентльмен предоставляет младшему свободу выбора, а младший отвечает на эту любезность выбором именно того, что нравится старшему джентльмену.

Карл Ясперс — младший двинулся бы строго по стопам отца: тот тоже изучал право в университете, а потом занимался бизнесом и политикой, и не осталось бы после Карла Ясперса — младшего ни экзистенциализма, ни общей психопатологии, ни экзотической *антипсихиатрической психиатрии,* если бы…

Если бы не было в его жизни гимназии и болезни.

Гимназия была неприятностью внешней.

Болезнь — неприятностью внутренней.

Но связаны они были самым непосредственным образом.

Ужас перед школой: предчувствие неизбежного

Больные дети редко преуспевают в делах общественных.

Они с детства избегают состязаний со сверстниками, поскольку проигрывают им физически. Они не знают радости победы в честной борьбе, а потому борьбы не любят. И еще — они не любят всяких общественных учреждений и заведений, потому что именно там поддерживается дух публичности. Куда лучше они чувствуют себя в родительском доме, куда привыкли еще в детстве убегать, уклоняясь от борьбы и драки. Только здесь, в родительском доме их покидает чувство заброшенности в чересчур суровый мир. Покидать это убежище они не хотят. Сама

мысль об этом вызывает у них ужас.

Один из эпизодов детства запомнился К. Ясперсу особо, такого ужаса он не испытывал ни до ни после этого:

> «Я был в столовой, когда вдруг понял, что однажды мне придется пойти в школу. Я ворвался в переднюю, где мой отец как раз принимал гостя, и стал заклинать его: “Ведь мне же никогда не нужно будет идти в школу! Никогда!”[50]

Ни в какой школе Калли Ясперс не бывал ни разу. Значит, он знал о школьных порядках только из домашних разговоров. Едва ли родители обращались к нему, пугая школой. Скорее, они обсуждали школу в своих, взрослых разговорах, к которым мальчик прислушивался. Отец — либерал не одобрял школу как царство муштры и зубрежки, грубого соперничества и навязываемого единообразия. Всего этого в родительском доме не любили. Заодно со школой здесь не любили и армию, за те же казарменные порядки. К. Ясперс вспоминал, как отец однажды захотел познакомить его с каким-то мальчиком. Но Калли отказался наотрез: «Нет, я вовсе не хочу знакомиться с ним, ведь он — сын офицера». Отцу — банкиру пришлось успокаивать его, уверяя, что среди офицеров тоже бывают вполне приличные люди.

Ужас, испытываемый Калли Ясперсом перед школой, объяснялся не только суровостью этого наказания, но и его неотвратимостью. *Школы было не избежать.* И в школу Калли Ясперса все же отдали. Он, как и всякий экзистенциалист, всячески противился своей злой участи, выдумывая причины, чтобы в ненавистную школу не ходить. Первые несколько недель его приходилось провожать до дверей этого отвратительного образовательного учреждения, чтобы «защищать от чужих собак и от полицейских»[51].

Отличником К. Ясперс никогда не был, но учился неплохо. Об этом можно судить объективно. Ведь в ту далекую пору демократия еще не достигла сферы культуры и не утвердила здесь полного равенства отличников и двоечников. Отличники еще были отличниками, а двоечники двоечниками. В каждом классе ученики знали, кто у них идет первым в учебе, а кто последним. Биографы свидетельствуют, что в первые школьные годы К. Ясперс обычно держался шестым среди тридцати своих одноклассников, а в последние годы — третьим. Во время сдачи экзамена на аттестат зрелости его письменные работы оказались столь хороши, что его освободили от устных экзаменов.

Несмотря на вполне приличные достижения в учебе, К.

Ясперс всегда очень боялся провала. По его воспоминаниям, без каких-либо усилий ему давалась только математика, предмет, который считался отнюдь не самым важным в гуманитарной гимназии с лингвистическим уклоном. Языки шли значительно тяжелее. А сочинения на уроках немецкого он и вовсе писал с несказанным трудом[52]. Но дело было даже не в трудностях при освоении предметов. Просто с детства — по нездоровью — у К. Ясперса был немалый опыт неудач: тело отказывало в самый неподходящий момент, и провал происходил даже тогда, когда его ничто не предвещало. Постоянная возможность неожиданной неудачи держала в напряжении.

Но К. Ясперс справился с трудностями вполне достойно, о чем свидетельствует документ, выданный по окончании гимназии:

«Велико — герцогская гимназия Ольденбурга, аттестат зрелости,

19 февраля 1901.

Оценки:

Очень хорошо Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Карл Теодор Ясперс, 19 февраля 1901. Родился 23 февраля 1883 года в Ольденбурге, исповедания евангелического лютеранского, сын директора банка Ясперса из Ольденбурга, учился в гимназии 9 лет…

I. **Поведение и прилежание — *очень хорошо и хорошо.***

II. **Знания и достижения**

1. ***Религиоведение.*** На уроках показал хорошее понимание, ***хорошо***

2. ***Немецкий язык.*** Читал классиков с хорошим пониманием и интересом и показал устно и письменно хорошие навыки. Его экзаменационное сочинение было хорошим, ***хорошо***

Латынь. Как в грамматике и в стиле, так и в чтении показал хорошие результаты. Письменную работу можно оценить на «хорошо». ***хорошо***

Греческий язык. Он показал в целом хорошее понимание содержания [произведений] писателей. Его экзаменационная работа была хорошей, ***хорошо***

Французский язык. Достижения в классе были удовлетворительными, иногда — лучше, письменную экзаменационную работу можно было назвать хорошей, ***удовлетворительно***

Английский язык. Достижения были удовлетворительными. ***удовлетворительно.***

Еврейский язык.

История и науки о земле. С общим теоретическим пониманием он соединял совершенно отрадный личный интерес к предмету и приобрел широкие и прочные знания, ***очень хорошо***

Математика. Достижения в классе постоянно были хорошими, экзаменационная работа очень хорошей, ***хорошо***

Физика. Достижения, в особенности, письменные работы, были хорошими, ***хорошо***

Гимнастика, удовлетворительно Рисование.

Пение.

В соответствии с этим экзаменационная комиссия выдает ему аттестат зрелости, поскольку он сейчас покидает гимназию, чтобы изучать право.

Ольденбург, 19 февраля 1901 Велико — герцогская экзаменационная комиссия Доктор Руд. Менге, правительственный комиссар; Штайнворт, директор, Рейнхардт, Аман, Эйлерт, Рамзауэр»[53]

* * *

Очень неуверенные в себе, но крайне честолюбивые ученики чаще всего специально затевают конфликты со своими наставниками. Для них невыносима сама мысль о личной, персональной неудаче, которую придется признавать открыто. Искусственно спровоцированный конфликт с наставником позволяет переложить всю вину на него — это учитель плохо научил, потому что плохо разбирается в предмете, да и вообще человек вздорный и скверный. Предчувствуя возможную неудачу, такие ученики просто не пойдут на экзамен, предварительно не ославив своего учителя на всех углах как полного профана и негодяя. Тогда окажется, что неудачник — вовсе не ученик, а учитель. Впрочем, в такого рода противостояниях вина редко лежит только на одной из сторон.

В каждом из таких конфликтов надо разбираться отдельно.

В гимназии у Карла Ясперса возник непримиримый конфликт с директором.

В этом не было ничего удивительного: почва для конфликта была подготовлена еще в родительском доме, да и сам директор гимназии прямо заявлял, что ненавидит в сыне демократический дух его отца, банкира Ясперса. Слово «дисциплина» было для Ясперса ругательным. Возможно, его неудачи с изучением языков объяснялись именно тем, что он не мог настойчиво и упорно заучивать неинтересный ему материал, осваивая словарный

запас. Языки давались К. Ясперсу тяжело. Он чувствовал себя неудачником. А всякий неудачник хочет переложить часть вины за свою неудачу на других…

Но и директор гимназии Штайнворт не был ангелом. Порой он принимал просто чудовищные педагогические решения. Ему не надо было прилагать многих усилий, чтобы сделаться в глазах К. Ясперса воплощением всего ненавистного, что соединялось в его уме с понятием публичной школы.

Во — первых, именно директор сформировал ненавистный К. Ясперсу *дух гимназии* — смесь слепого повиновения властям (кайзеру и великому герцогу) с корпоративным высокомерием филологов, которым всегда славилась Германия (и от которого, добавим, пострадал молодой Ф. Ницше). Классическая филология превозносила себя до небес, объявляя царицей наук и единственной хранительницей традиций античной культуры. Античные авторы рассматривали всю историю человечества как деградацию: первым был «век золотой», в который правили боги по божественным законам; потом они передали правление лучшим из людей, но не богам; наконец, к власти и вовсе пришли всякие недостойные типы.

Представители классической филологии, предметом которой была вся культура античного мира (включая языки, во плоти которых она существовала), взирали на все современные знания свысока — как на результат многовековой деградации человечества. Вся последующая культура представлялась им каким-то убогим «новоделом». В результате классическая филология подавала себя как науку наук, хотя в ней давным — давно уже не делалось никаких великих открытий, зато величайшее значение придавалось зубрежке и поклонению авторитетам. Именно такой дух и культивировал в своей гимназии директор Штайнворт.

Во — вторых, этот педагог совершил явный промах: желая, чтобы его гимназия походила на университет, он решил создать в ней что-то наподобие студенческих союзов. Но вот союзы эти он решил сформировать *сам,* в отличие от студенческих корпораций, которые складывались на добровольной основе. Мало того: при создании ученических союзов директор главным критерием отбора сделал общественное положение родителей. Хотя высокое положение отца — банкира позволило бы К. Ясперсу принадлежать к союзу, объединявшему сливки гимназии, он — как сын главного ольденбургского либерала — с негодованием отказался вступать в какой-либо ученический союз. В ответ директор потребовал, чтобы члены всех трех ученических союзов, то есть все ученики гимназии без исключения, объявили Карлу

Ясперсу бойкот, не дружили и не общались с ним.

В «Философской автобиографии» Карл Ясперс подробно рассказал всю эту историю:

«В гуманитарной гимназии у меня произошел конфликт с директором. Я взбунтовался, отказавшись слепо исполнять те распоряжения, которые казались мне неразумными. Отец с раннего детства приучил меня к тому, что я получу ответ на любой вопрос, и не заставлял меня делать то, смысл чего я не мог понять, даже из уважения к человеку, который отдает распоряжения, хотя оно само по себе обладает немалой убедительной силой. Воспитанный своим отцом, я держался того принципа, что существует разница между порядком на уроке и армейской дисциплиной, без всяких на то оснований распространенной на школу. “Это оппозиционный дух!” — в один прекрасный день торжественно объявил мне директор. Этот дух, по его словам, был свойственен всей моей семье, и, будучи директором, он вынужден был дать ему отпор. Конфликт достиг апогея, когда я отказался вступить в один на трех ученических союзов, созданных с одобрения директора и в подражание союзам студенческим. Я обосновал свое решение тем, что союзы формировались по социальному происхождению учеников и в зависимости от профессий их родителей, а не по принципу личной дружбы. Соученики мои вначале заявили, что поддерживают меня, но на деле осудили мой поступок. Когда один из друзей отправился со мной на недельный поход в горы, союз, в котором он состоял, под угрозой исключения потребовал от него разорвать отношения со мной. Когда друг спросил меня, как ему быть, я посоветовал остаться в союзе. Так он и поступил. Директор заявил: учителя не будут спускать с меня глаз. Я оставался в одиночестве. Мой отец попытался возместить мне утраченное и абонировал большую охоту. Я мог, когда хотел, проводить время в самых различных уголках, отличавшихся великолепием природы» [208–209].

К. Ясперс оказался в полной изоляции. Его репутация в гимназии была ужасной. Он сам признавал это: «Всякий раз, когда возникали какие-то разногласия, я оказывался зачинщиком свары, своевольным и своенравным человеком, который выступал против всех»[54]. Трудно представить себе лучшую школу для экзистенциалиста, диссидента и правозащитника. С тех гимназических времен Карла Ясперса перестала пугать перспектива бойкота и изоляции. Но с тех же пор он научился интриговать, а не вступать в бой с открытым забралом. Свои удары по врагу, директору, он объяснял вовсе не личной антипатией, а требованиями элементарной порядочности и

общечеловеческой справедливости.

Война между гимназистом Ясперсом и директором гимназии приняла затяжной, позиционный характер. Непокорному гимназисту грозило исключение. Но директору было непросто разделаться с сыном влиятельнейшего гражданина города. Отец пообещал К. Ясперсу, что в случае исключения он пойдет прямо к министру образования земли. Однако отец не спешил делать это, потому что видел — обе стороны, что называется, закусили удила. Директор, конечно, не отличался большим умом и педагогическим тактом. Но и гимназист Ясперс теперь использовал любой повод, чтобы перечить ему и приводить в бешенство. Скудоумная затея со студенческими союзами была мероприятием добровольным, хотя и верноподданническим. По причине ее необязательности неповиновение К. Ясперса — младшего в верхах могли и стерпеть. Но конфликт быстро распространился и на решение тех вопросов, которые касались вещей *обязательных, в* частности учебной дисциплины. К. Ясперс уже не разбирал средств, стараясь задеть директора, вывести его из себя, привести в бешенство. Директор, впрочем, постоянно платил тем же.

Последние схватки между директором и гимназистом Ясперсом произошли при подготовке выпускного вечера и непосредственно после него. Директор, по всей видимости, время от времени делавший попытки сгладить остроту конфликта, в очередной раз наткнулся на непримиримость гимназиста. Как это часто бывает у записных борцов за справедливость, возражение последнего было формально правильным, но по сути дела — утонченным издевательством. Учитывая успехи К. Ясперса в изучении латыни, директор решил предоставить ему высокую честь произнесения от имени выпускников прощальной речи на этом языке. Гимназист отказался, заявив: «Ведь мы вовсе не настолько много выучили из латыни, чтобы свободно говорить на ней; эта искусственно подготовленная речь будет обманом публики»[55].

Формула отказа была столь хитроумна, что ее можно было выдать за проявление высокой принципиальности и требовательности к себе, за доказательство стремления к свободе и ответственности — речи следует произносить только от себя, свободно, ничего не вызубривая. Разумеется, выпускник гимназии мог отказаться читать речь, написанную для него преподавателями, — читать от своего имени, благодаря за науку и за свое счастливое детство в целом. Но ведь он, даже недостаточно зная язык, чтобы свободно импровизировать, вполне мог самостоятельно подготовить эту речь. Ведь его учили

— и даже выдали аттестат с оценкой «хорошо» по латыни. Если ты такой принципиальный, отказывайся не только от произнесения речи, но и от аттестата…

Ответный удар «ниже пояса» директор нанес во время прощального визита К. Ясперса к нему в кабинет. Он напутствовал ненавистного юношу словами: «Ведь из вас же не может выйти ничего, вы органически больны»[56]. Это был категорически запрещенный в педагогических и академических кругах аргумент против личности. Ведя полемику, ни один педагог или ученый не должен в качестве аргумента ссылаться на физические недостатки оппонента. (Например, говорить: «Кого может интересовать мнение одноногого об устройстве космоса?») Вдвойне подлым было напоминание о болезни юноше, которому врачи долгой жизни не сулили.

Но мы не можем не признать: К. Ясперс умел выводить из себя противников. Сам он, вспоминая свои школьные годы, сказал, что обрел в гимназии ценный опыт. Больше того: именно там он уяснил для себя основную схему развития событий, которая затем повторялась в различных сферах в последующие годы его жизни. В сражениях с директором гимназии «было предвосхищено то, что вынужденно повторялось во многих вариациях в моем существовании»[57]. А именно: вначале К. Ясперс превращал себя в аутсайдера, в «человека стороннего», не желающего принимать участия в игре по принятым правилам, которые стремился дискредитировать; затем он привлекал к себе внимание, со скандалом противопоставляя себя всему сообществу. Будучи членом этого сообщества, он не мог, однако, позволить, чтобы его изгнали из этого сообщества, потому что бунтарство его имело смысл только в рамках этого сообщества и не было интересно никому за его пределами, и поэтому К. Ясперс никогда не доводил конфликт до логического завершения, до схватки или до разрыва, в последний момент находя какую-то хитрую формулу, позволяющую ему капитулировать с сохранением лица. (Сам К. Ясперс называл это — «неоднозначный выход»[58]; у нас еще будет возможность увидеть, как такая хитроумная техника балансирования на грани конфликта использовалась им в науке — для борьбы со сплоченной корпорацией, которая, не раздумывая и не слушая никаких разумных аргументов, упорно держится установившегося мнения.)

Единственное, что мог сделать в этой ситуации отец, — удалить сына с поля боя. Он и сделал это, купив для Карла Ясперса- младшего абонемент на охоту в самых живописных местах. Именно так отдыхал от конфликтов на службе и просто от

общения с докучливыми людьми сам отец. Он полагал, что сын тоже сможет залечить в уединении душевные раны. Увы! Больной юноша не смог пойти по стопам мужественного отца — охотника. Приступ слабости застиг его прямо на охоте — в одиночестве. Он даже подумал, что умрет прямо здесь, в лесу. Напуганный этим обстоятельством, К. Ясперс — младший вернулся домой и принялся читать Спинозу, которого считал в ту пору *«своим философом»*.

Этот мудрец толковал свободу как согласование устремлений души с теми возможностями, которые предоставляет тело. Разумное избегание излишеств, вредящих телу, — разве это не есть свобода? Как осознанная необходимость?

Человек здоровый никогда не согласится с подобными рассуждениями.

Не позволяет тебе твое хилое тело ходить в лес на охоту — так, значит, твоя осознанная свобода заключается в том, чтобы сидеть дома?

Здоровый человек, издевательски усмехаясь, заменит спинозовскую формулу «Свобода есть осознанная необходимость» обидными поговорками. По — русски они звучат так:

«По одежке протягивай ножки».

«Каждый сверчок знай свой шесток».

Но и Спиноза не был здоровым человеком.

У него, как и у Карла Ясперса, были очень больные легкие.

А потому Спинозе не оставалось ничего иного, кроме свободы как осознанной необходимости и философии разумного самоограничения.

Когда не имеешь того, что любишь, приходится любить то, что имеешь.

У Б. Спинозы был туберкулез. Он болел чахоткой двадцать лет, усугубляя болезнь табакокурением (что в XVII веке считалось лекарством от туберкулеза). Деньги на жизнь он зарабатывал тем, что шлифовал линзы для оптических приборов. Вдыхание возникающей при этом стеклянной пыли здоровья ему не добавляло.

Если здоровья нет, приходится возводить в идеал умеренность и аккуратность, называя их счастьем.

Диагноз Ясперсу во времена учебы его в гимназии еще поставлен не был.

Но он уже болел, а потому почувствовал родство духа со Спинозой.

Родство дыхания. Родство души. Родство духа.

Недостаток дыхания и избыток духа

Легкие у К. Ясперса были больными с самого рождения: младенец задыхался и не мог нормально сосать материнскую грудь.

«Я с самого начала создавал своим родителям заботы своим слабым здоровьем. Еще когда я был младенцем, мое дыхание было не в порядке. Мой отец обратил внимание на это «перханье», как он его называл. На коже головы и на подколенных впадинах возникла экзема. Кашель не прекращался. Мальчиком я переживал сильнейшие приступы кашля по ночам и постоянно чувствовал слабость. Здоровым я не был никогда. Мои родители не теряли мужества даже тогда, когда мое существование представлялось весьма проблематичным. Они давали мне почувствовать, как прекрасна жизнь, и то, что я для них не обуза, а радость. Об этом, например, — один пример из тысячи! — говорится в письме отца, написанном в 1908 году: "… Ты принес нам с матерью много радости — и большой радости. <…> и если теперь нам совершенно ясно, что твое здоровье может жестоко перечеркнуть все твои прекрасные жизненные планы, то это отнюдь не удерживало и не удерживает нас от того, чтобы радоваться, про себя тихо радоваться тебе, тому, что ты делаешь и чем занимаешься, твоим достижениям и успехам, а особенно — здоровой, прекрасной и ясной жизни твоих чувств и твоим жизненным воззрениям. <…> Я пишу тебе это так бесхитростно и так без обиняков, чтобы показать, что мы не питаем ложных надежд. Мы никогда не делали этого; но надежда никогда нас не оставляла, не оставляет и сейчас”»[59].

Несмотря на очевидное нездоровье, врачи не могли поставить точный диагноз Карлу Ясперсу ни в детстве, ни в гимназические годы. Как мы помним из письма, присланного с острова Нордерней, лечили его, в основном, народным средством — велели пить растворенную в молоке соль. К сколько-нибудь заметному успеху это лечение не привело.

Несмотря на недуг, Калли Ясперс участвовал во всех мальчишеских играх, которые порой бывали достаточно буйными. Заводилой всех игр становился его дядя — младший брат матери, который был старше племянника всего на шесть лет. Энергия этого малолетнего дяди не знала пределов[60], он всецело подчинил себе и Карла, и его брата Энно, который был на четыре года младше.

Мальчики играли в те же игры, которые увлекали всех их сверстников в Германии. Они строили с друзьями «дома» из досок — в несколько этажей высотой — и превращали их в свою крепость и обиталище. Оттуда они совершали вылазки в окрестный мир: вечерами рыскали по садам, пугая взрослых

своим внезапным появлением из тьмы, и стреляли из духовых трубок по оконным стеклам, чтобы потревожить хозяев. Летом они сооружали плоты, чтобы плавать по рвам, наполненным водой, зимой бегали на коньках по льду рек.

Хотя Калли Ясперс и участвовал в этих буйных забавах, такая активность давалась ему нелегко. Но, как это всегда бывает в детстве и в отрочестве, у него и у родителей существовала надежда, что с возрастом, когда организм окрепнет и нальется взрослой силой, его болезни пройдут.

Но этого так и не произошло.

Особенно напугал Карла Ясперса тот случай на охоте, о котором мы уже говорили, — когда он сидел под деревом, не в силах шевельнуться от внезапной слабости, и думал, что так и умрет сейчас в лесу. После этого он вернулся домой, не дожидаясь, когда закончится срок абонированной охоты, и принялся читать Спинозу, «испытывая вселенскую скорбь»[61].

Но юность никогда не оставляет надежд.

Молодой человек не желает считать себя недужным и совершает такие шаги, которые человек зрелый и здоровый наверняка счел бы авантюрными. В доказательство полной своей самостоятельности и силы Карл Ясперс решил покинуть родительский дом после окончания гимназии, чтобы учиться в университете Фрайбурга. Так он и поступил в апреле 1901 года. Восемнадцатилетний юноша получил от отца вексель на значительную сумму, которой он мог распоряжаться по своему усмотрению. Но перед началом учебы юному Карлу предстояло показаться другу семьи, врачу Альберту Френкелю, который проживал в Баденвайлере. В ту пору А. Френкель возглавлял среднего уровня санаторий, но впоследствии достиг всемирной известности, разработав собственную методу лечения штрофантином, которая оказалась очень эффективной.

Вид юного абитуриента врачу Френкелю очень не понравился. При росте более 190 сантиметров Карл Ясперс весил всего 57 килограммов. Невероятная худоба дополнялась бледностью. А. Френкель тут же обследовал юношу и поставил предварительный диагноз — «заболевание левого легкого, которое протекает с воспалением»[62]. Однако туберкулез был исключен сразу. Определить заболевание более точно не удалось, но ясно было одно: до излечения от него ни о какой учебе в университете не может быть и речи. Френкель предложил юноше пройти курс лечения тут же, в его санатории, в надежде, что с заболеванием удастся если не справиться, то, во всяком случае, создать предпосылки для выздоровления. Однако результат лечения разочаровал: Карл Ясперс только прибавил в весе, да и то

ненадолго.

С этого момента между Френкелем и Ясперсом началось настоящее психологическое противоборство. Врач — который, напомним, был еще и другом семьи — полагал, что юношу надо поберечь: больной должен примириться со своей участью и перейти к щадящему образу жизни, всячески себя ограничивая. Карлу Ясперсу было нужно совсем другое. Он хотел знать правду о состоянии своего здоровья. Он намеревался вести полноценный образ жизни — и хотел прикинуть, на сколько лет его еще хватит. В зависимости от этого можно было выбрать сферу занятий, в которой предстояло ярко проявить себя в оставшиеся немногие годы.

Постепенно картина болезни прояснилась во всей полноте. Френкель поставил диагноз: бронхоэктатическая болезнь легких; осложнения в работе почек, вызванные предшествующим течением болезни и неправильным лечением; сердечная недостаточность, вызванная усиливающейся эмфиземой.

Для Карла Ясперса это означало, что с таким телом еще можно было вести полноценную жизнь и успешно работать несколько лет, конечно, при множестве ограничений, при строжайшей самодисциплине, строго соблюдая лечебные процедуры.

Исключались всякие физические нагрузки. Требовалось регулярное отхаркивание: в небольших количествах — ежечасно, в больших — от двух до трех раз ежедневно[63]. Если эти процедуры не выполнялись в полном объеме, возникала повышенная температура, появлялся озноб, начиналось кровохарканье, а заканчивалось все острым воспалением легких.

Будучи незаурядным врачом, Альберт Френкель понял, наконец, чего хочет от него юноша. Он без всякого сострадания, по- деловому поговорил с К. Ясперсом о его возможностях и перспективах. С этого момента отношения между врачом и пациентом переросли в прочную дружбу. Френкель всегда был для Ясперса воплощением образа идеального врача, о котором он говорил в своих медицинских и философских произведениях. Врача и пациента еще более сроднила общность судьбы. Так же, как и Ясперс, Френкель был изгнан нацистами со всех постов. Он умер в 1938 году в Гейдельберге, а Ясперс был приглашен проститься с умирающим. Философ мог рассчитывать на помощь и поддержку своего врача- друга на протяжении всей жизни.

Понятно, что учебу в университете пришлось отложить — как минимум, на семестр[64]. После курса лечения в Баденвайлере К. Ясперс отправился отдыхать в привычные места, на Нордерней и в Ольденбург. К зимнему семестру он отправился в университет

Гейдельберга, чтобы изучать право. Это намерение было зафиксировано в его аттестате зрелости; право изучал отец; К. Ясперс обещал отцу, что пойдет по его стопам.

Но… Как это было и с Фридрихом Ницше, именно болезнь заставила Карла Ясперса отказаться от навязанного взрослыми выбора. Перед лицом смерти юноша решил, что не стоит тратить недолгую жизнь (так он думал тогда!) на изучение чего-то неподлинного, выбранного из чувства долга или чувства благодарности отцу. Ему захотелось выбрать что-то свое. Настоящее, предназначенное жизнью только для него. Жизненное призвание… То, к чему его властно призывает сама жизнь. В этом, правда, еще предстояло разобраться…

Поэтому студент, записавшийся на юридический факультет, стал, по его собственному признанию, «любителем истории искусств и философии»[65]. Первым делом он прослушал лекции знаменитого историка философии Куно Фишера об Артуре Шопенгауэре. Первое впечатление было восторженным: «Он говорил действительно великолепно»[66]. Однако в дальнейшем Фишер Ясперса разочаровал. Неделю спустя новоиспеченный студент записал: «Куно Фишер импонирует только в первый момент»[67]. Историк философии показался К. Ясперсу чересчур много мнящим о себе. Единственным преподавателем, лекции которого К. Ясперс выдержал на протяжении всего семестра, был Генри Тоде, который читал историю итальянской живописи Высокого Возрождения.

В общем, можно сказать, что в рамках той свободы, какую позволяло ему недужное тело, К. Ясперс занимался «прожиганием жизни». Он ходил не на те лекции, на которые ему было положено ходить. Он изобретал себе самые диковинные занятия. Он наслаждался, занимаясь лишним — вместо необходимого. Он научился играть в бильярд (что было сущим подвигом для человека, полностью отрешенного от физических нагрузок). Он по четыре раза в неделю ездил на спектакли театра в Мангейм и часто сидел в кафе. Он брал уроки французского и итальянского языка, а также уроки рисования. Несмотря на все свое «зазнайство», Куно Фишер все же приохотил юношу к чтению Шопенгауэра[68]. Кроме того, К. Ясперс развлекался, изучая стенографию, читая «Франкфуртер цайтунг» и участвуя в работе литературного объединения. Он признался, вспоминая это время: «Моя жизнь протекала, будучи полна удовольствий»[69].

Эту вакханалию духа К. Ясперс завершил достойно, отправившись после окончания семестра в одиночку в поездку по Италии (Милан — Генуя — Пиза — Рим — Флоренция — Болонья — Венеция — Верона), чтобы посмотреть те произведения

искусства, о которых говорил в своих лекциях Тоде.

Ясперс закончил запланированное им турне в Мюнхене, надеясь, что юристы там посильнее, чем в Гейдельберге. У них он собирался изучать право в летнем семестре 1902 года. Но баварские профессора — юристы не оправдали его надежд. Интерес в университете вызвали только Луйо Брентано и Теодор Липпс, «острый ум которого и благородный образ мышления»[70] привлекали студентов. Семестр, проведенный в Мюнхене, тоже стал, по признанию самого К. Ясперса, «семестром разбросанности и развлечений»[71].

Об этом периоде К. Ясперс пишет в «Философской автобиографии» так:

> «Что же касается внутренней истории моей жизни, то надо сказать хотя бы кратко о происходившем в юности. В 17 лет я читал Спинозу. Это был мой философ. Но я не собирался избирать философию в качестве предмета изучения в университете и делать ее в будущем своей профессией. Значительно большее предпочтение я отдавал юриспруденции и штудировал право, намереваясь позднее заняться адвокатской практикой. Однако, разочаровавшись в абстракциях от жизни общества, которая еще совсем была мне незнакома, я занялся поэзией, искусством, театром, графологией, все время разбрасываясь — к несчастью, но обретая, к счастью, разрозненные знания о величии человеческом, в первую очередь в искусстве. Я не был доволен ни собой, ни состоянием общества, ни фикцией общественного мнения. Основное ощущение было таково: что-то неладно и в мире людей, и во мне самом. И все-таки насколько великолепен был другой мир — природа, искусство, поэзия, наука! Все-таки оставалось, всему предшествуя и все предваряя, основополагающее чувство доверия к жизни, внушенное любимыми родителями и сбереженное под их покровительством. Выбор жизненного пути я считал делом глубоко личным» [209–210].

Юноше, который еще совсем не был знаком с реальной жизнью, право показалось скучным и абстрактным. Он, конечно, не мог оценить своеобразную красоту решения человеческих проблем, предлагаемого законниками. Для того чтобы ее оценить, надо было вначале зайти в жизненный тупик, побиться о реалии, словно рыба об лед, а затем найти, словно избавление, правовое решение проблемы, которое кажется тем более основательным и

надежным, чем более суконным и нудным представляется правовой сленг. Но вот начать прямо с изучения этого правового сленга, совершенно не зная жизни во всей ее остроте и эмоциональности — мало кто выдерживает эту пытку всерьез.

Студент Карл Ясперс ее и не выдержал. Он «занялся поэзией, искусством, театром, графологией, все время разбрасываясь — к несчастью, но обретая, к счастью, разрозненные знания о величии человеческом». Отметим самое важное в сказанном: не для развлечения и увеселения Ясперс занялся изучением искусств и графологии! *Он пытался познать человеческое величие.* Это не пустая фраза. Вопрос о том, в чем именно заключается и как проявляется человеческое величие, интересовал Карла Ясперса настолько, что впоследствии, когда он писал свои историко — философские работы, он посвятил человеческому величию специальную вводную главу. В ней он рассматривал единственный вопрос: чем отличается великий человек от невеликого?

Практичный сын банкира никогда ничего не делал впустую. Он сам собирался стать великим — в тот краткий срок, который ему отпустила жизнь. Именно для этого он изучал величие человеческое во всех областях, которые оказались доступными для него в университете. Сами эти области, как таковые, его не интересовали, интересовала только возможность стать великим, которую предоставляла (или не предоставляла) каждая из них. (Конечно же, право такой возможности не представляло, являя собой царство анонимной вселенской справедливости; последние авторские законы были в Древней Греции, а с возникновением римского права именно деиндивидуализация закона только и делала его правовым.)

Итак, К. Ясперс промчался галопом по всей доступной ему культуре, выясняя, в какой ее области можно быстрее всего достичь величия — чтоб запомниться. Именно этим объясняется, по всей видимости, тот факт, что он взял всего один (!) урок графологии у Л. Клагеса, поскольку интересовала его не столько сама графология, сколько графолог Клагес, впоследствии ставший одним из известнейших философов Германии:

> «…Урок состоялся у него на квартире. Она представляла собой несколько едва убранных комнат, в которых, как мне показалось, я почувствовал дух необузданности. Я проникся им. В своем энтузиазме этот человек горел своим собственным светлым пламенем. Я ощутил страх перед чем-то первобытным в нем и постарался держать дистанцию. Ведь я, несмотря на его

необыкновенную любезность, почувствовал нечто великолепно — бездушное, что меня притягивало и отталкивало…»[72].

Спустя несколько лет Ясперс попытался подвигнуть Клагеса хабилитироваться, т. е. защитить работу на соискание звания доцента в Гейдельберге. Но тот отказался, поскольку предпочел сохранять абсолютную свободу. (С необузданностью, стало быть, Ясперс угадал — людей он умел понимать с юных лет.)

В остальном К. Ясперс продолжил уже освоенный им в предыдущем семестре полубогемный образ жизни: принимал участие в литературных вечерах, которые устраивала Хелене Бёлау, а также активно приобщался к искусству, посещая выставки. На изучении права, похоже, втихомолку уже был поставлен крест.

В конце августа того же, 1902 года, К. Ясперс по рекомендации Френкеля отправился поправлять здоровье в Швейцарию, в Верхний Энгадин. Там, на высоте 1811 метров, расположен климатический курорт Сильс Мария: покрытые лесом горы укрывают долину от ветров, в изобилии солнце и чистый горный воздух, альпийские виды успокаивают расстроенные нервы. Пребывание в этом благословенном месте всегда было показано больным хроническим воспалением легких, малокровием, атонией желудка и кишок. (Именно поэтому в Сильс Марию с 1879 года стал ездить Ф. Ницше, который называл это место «землей обетованной».)

Однако Ясперс вовсе не собирался вести там праздную жизнь курортника. Жизнь не оставляла ему на это времени. Он усердно штудировал И. Канта, а также психолога и философа Т. Липпса, а кроме того, занялся изучением естественных наук. Судьбой юноши занялись два профессора, приехавшие на курорт, физиолог Фона из Флоренции и историк искусства Корнелиус из Фрайбурга. Оба принялись уговаривать его стать медиком, в особенности физиолог, постоянно расписывавший жизнь врачей. Историк искусства посоветовал пойти в психиатры, чтобы, наконец, заняться изучением феномена «истерии среди университетских профессоров»[73].

Сохранилась шуточная фотография К. Ясперса с курортными наставниками. «В центре стоял я, во всю свою длинную тощую величину, а слева и справа от меня преклонили колени оба профессора. Каждый из них положил свою руку на раскрытую мной книгу и клялся в верности духу науки»[74].

Юноша сделал свой выбор. Первым медиком, поразившим его воображение, был Френкель. Т. Липпс и Л. Клагес

воспринимались им как психологи, то есть почти что врачи. Фано и Корнелиус довершили дело. В Сильс Марии Карл Ясперс написал родителями «меморандум», в котором объявлялось, что он меняет жизненные планы:

> «С месяц назад я решил для себя, что хочу оставить изучение права и заняться изучением медицины; если бы я обладал необыкновенно одаренным умом, то я начал бы прямо с изучения естественных наук и философии, чтобы встать на академическую стезю… Я бы сделал свою докторскую диссертацию по философии. Разумеется… я также обстоятельно штудировал бы и медицину как одну из основ, на которой могут строиться и психология, и философия… Но поскольку необходимое условие отсутствует, я буду поначалу изучать медицину… Мой план таков: после предписанного числа семестров — их будет одиннадцать или двенадцать — я сдам свой государственный экзамен. Если я тогда все еще буду верить, как верю сейчас, что у меня есть способности, я перейду к психиатрии и психологии; затем я, видимо, стану, прежде всего, врачом психиатрической лечебницы или ассистентом университетского профессора, который преподает психиатрию. Наконец, я, вероятно, изберу университетскую карьеру, по примеру Крепелина в Гейдерберге… Философия… благодаря медицине и естественным наукам, еще больше, вероятно, оживится во мне. Возможно, она, как я надеюсь, убережет меня от односторонности, которую обычно влечет за собой зазнайство естествоиспытателей. Она, возможно, вообще даст содержание моей жизни, и она тоже необходима, чтобы оградить от абсурдности естественнонаучного мышления… Липе говорит так: если человека вынуждают к тому, чтобы отвергнуть часть его предшествующей жизни и сделаться другим, это дается ему очень тяжело. Этого мнения… я не разделяю. Я пришел к такой точке моей жизни, в которой я порываю с предшествующим. Но я охвачен радостью от сознания правильности поступка»[75].

Есть несколько моментов, которые следует особо отметить в этом «меморандуме» (он остался неотправленным, но вскоре К. Ясперс изложил его содержание отцу в Ольденбурге лично).

Во — первых, медицина рассматривалась К. Ясперсом с самого начала как путь к философии, как промежуточная стадия

в движении к ней. Это не принижает ни философию, ни медицину. Медицина мыслится Ясперсом как научная основа для философии. Такая постановка вопроса кажется странной только тем, кто не знаком с культурными традициями начала двадцатого века. Именно тогда в Германии рождается идея построить философскую антропологию строго на научной основе. Для этого надо начать с точных наук о человеке — и на основании их данных сформировать исходную «модель человека». Когда эта модель позволит ответить на вопрос, что такое человеческое здоровье и что такое болезнь, можно будет вывести из этих представлений знание обо всех человеческих достижениях — о политике и искусстве, о религии и культуре, о философии и науке, о технике и литературе.

В соответствии с этой программой, которую яснее всего сформулировал М. Шелер, действовала «философская антропология» в Германии (М. Шелер, Г. Плесснер, А. Гелен и др.). В соответствии с этой программой, в сущности, действовали в Австрии З. Фрейд и его последователи. Эту же программу, как видим, собирался реализовать и К. Ясперс.

В — вторых, начинающий студент К. Ясперс по — прежнему — как и в гимназии — был не уверен в своих силах и талантах. Если бы он был уверен в них, он занялся бы философией сразу же. Но он боялся откровенных споров с «чистыми» философами, в которых многое определяется харизмой, несмотря на всю и всяческую логику. Против таких харизматичных оппонентов из разряда «чистых» философов он и собирается использовать дополнительное оружие — данные опытных наук о человеке. (Этот трюк активно используется в начале XX века, когда появляются подобные Ясперсу маргиналы, которых философы считают естествоиспытателями или врачами, а врачи и естествоиспытатели — философами; ни у кого не хватает смелости таких маргиналов опровергать.) К. Ясперс — по обыкновению своему — избирает вкрадчивый окольный путь к философии, потихоньку, через медицину, ступенька за ступенькой, зарабатывая все больший и больший авторитет в университете.

В — третьих, нельзя не поразиться тому, насколько планы, выстроенные юношей до начала учебы на медицинском факультете, воплотились в действительность. А воплотились они почти на сто процентов. К. Ясперс окончил университетский курс медицины, специализировался на старшем курсе по психиатрии, затем стал ассистентом — волонтером в психиатрической клинике Гейдельбергского университета и, завоевав себе авторитет в кругах психиатров и психологов, отправился

преподавать психологию на философский факультет. Такое совпадение плана и реальной жизни не случайно. Оно свидетельствует о незаурядном упорстве в достижении поставленных целей, о силе воли и даже о некотором педантизме.

Отец одобрил начинание сына. Он сказал ему: «Ты убедил меня, мальчик мой, я согласен». А при этом наверняка подумал, что изучение медицины в любом случае пойдет на пользу его больному ребенку.

Время исканий закончилось. За учебу К. Ясперс взялся с прилежанием всех своих крестьянских предков. Он изучал медицину в трех университетах — в Берлине (зимний семестр 1902–1903 года), в Геттингене (1903–1906) и в Гейдельберге (1906–1908). На каникулах между семестрами он, не теряя времени, занимался самостоятельно — вначале на зоологической станции на острове Гельголанд (1904–1905), затем в Ольденбурге, где он оборудовал собственную лабораторию.

Бывают люди, которые, приходя в какую-то научную область, активно начинают приспосабливаться к ней: осваивают традиции, сленг, приемы, вживаются в иерархию, словом, всецело предаются научной мимикрии. Они имитируют научное поведение, в том числе и тогда, когда пишут статьи и книги. Они думают, что стать ученым можно только тогда, когда тебя перестанут отличать от всех остальных ученых, когда ты сольешься с их толпой до полной неразличимости.

Бывают и другие ученые — они сразу же начинают придумывать избранную ими науку «под себя», по своему вкусу. Если это удается, придуманная наука навязывается окружающему миру исследователей. Как правило, навязать сызнова придуманную науку старшему и среднему поколению не удается. Зато молодое поколение с удовольствием откликается на подобные «инновации».

Карл Ясперс принадлежал, без сомнения, ко второму разряду ученых. Он придумывал себе медицину заново. Вначале он решил, что работать по нескольку часов ежедневно ему не даст болезнь. Стало быть, зубрежка — а вместе с ней и скрупулезное освоение традиции — исключается сразу. Лекции можно слушать только урывками. Зато, если хорошо распределить время, можно обеспечить свое присутствие на всех практических занятиях, которые необходимы для зачетов и экзаменов. В своих воспоминаниях К. Ясперс признался, что «всегда использовал глупости и упущения в инструкциях, которые предписывали, как и за что ставятся экзамены и зачеты»[76]. От всего, от чего только можно было увильнуть, он увиливал, успокаивая себя тем, что таким образом высвобождается время для чтения действительно

хороших книг. Но главное значение студент К. Ясперс придавал тому, чтобы получать непосредственные, собственные впечатления об изучаемом предмете, а потом рассказывать о них. Он называл это всматривающимся погружением в природу и надеялся таким образом постичь законы природы. Напомним, что юноша читал Канта и полагал, что так называемые «законы природы» принадлежат не самой природе, а устанавливаются человеческим мышлением. Стало быть, «законы природы» можно постичь, поняв особенности мышления естествоиспытателя и медика, научившись мыслить, как естествоиспытатель и медик.

Иными словами, изучение медицины было для К. Ясперса изучением особенностей медицинского мышления, которое неотделимо от мышления естественнонаучного. Изучая медицину, он изучал медиков, а вместе с ними и человека, поскольку медик это всего лишь разновидность человека. Говоря о своей медицинской деятельности, Ясперс не уставал подчеркивать: «Моя область это человек, ни к чему другому я уже давно не имел ни способности, ни влечения»[77].

Правда, при таком кантианском подходе к делу, исключающем в принципе всякий научный разговор о «природе как таковой», как метафизику, тщетно пытающуюся судить о вещи- в — себе, не совсем понятно, зачем было заводить себе домашнюю научную лабораторию с массой приборов, а также с подопытными животными. Ведь Ясперс был в этой домашней лаборатории один. Едва ли он мог бы изучать специфику научного мышления, наблюдая только за собой, неофитом. А больше вокруг никого и не было.

Скорее, возня с подопытными животными была тоже игрой в основательность — и в основательность не медицинскую, а в крестьянскую, которая превосходит медицинскую основательность и, стало быть, должна давать преимущества в медицине. Ясперс, так сказать, использовал свои преимущества, полученные в детстве — он, будучи крестьянским внуком, не испытывал содроганий, проводя опыты на животных. Чем, собственно говоря, даже бравировал, приводя соответствующие детские воспоминания:

> «Жизнь в этом крестьянском доме открывала нам неисчерпаемый мир: множество всяких животных, голуби, куры, утки, свинарник, а сверх того главная масса животных, которую составляли коровы и бычки, летом пасшиеся на лугах, зимой пребывавшие в стойлах. Когда требовались голуби для приготовления еды, мой дед поднимался по лестнице на голубятню, ловил

молодого голубя и зажимал его голову пальцами так, что при резком движении руки тело голубя падало, трепыхаясь, на землю, а голова оставалась у него в руке. Молодые петушки забивались посредством отсекания головы. Я смотрел на все это с удивлением, но без ужаса; как однажды мне вспомнилось много лет спустя, моя славная и добрая бабушка, уже став вдовой, как-то стояла в птичнике; она зажала петуха между ног и отсекла ему голову; это могла сделать только она, пояснили мне, больше никто не мог на это отважиться, ни экономка, ни служанка, так что пришлось это сделать ей…»[78].

Нет, положительно трудно понять, зачем Ясперсу потребовалась домашняя лаборатория — в дополнение к университетским. То ли он решил восполнить недостаток естественнонаучной подготовки, характерный для гуманитарной лингвистической гимназии, то ли он хотел показать себя основательнейшим исследователем. Кому? Гуманитариям, разумеется. Ведь однобоких заносчивых естествоиспытателей он презирал еще *до* поступления на медицинский факультет.

Как бы то ни было, а университетский курс медицины был успешно освоен. 20 января 1908 года состоялся государственный экзамен по медицине; сдав его, Ясперс стал врачом. В 1909 году он защитил диссертацию «Тоска по родине и преступление»[79], сделавшись доктором медицины.

После этого он начал работать ассистентом — волонтером (то есть без оплаты) в психиатрической клинике Гейдельбергского университета — там же, где готовил свою докторскую диссертацию.

Часть II. Преступная тоска по родине: почему Ясперс взялся писать диссертацию о девочках — убийцах

Глава IV. Философия как путь к исцелению

Несколько необязательных замечаний — только для профессионалов

На первой же странице своей «Философской автобиографии» Карл Ясперс заявил: *понятно само собой,* что жизнь всякого человека интересна любому другому человеку. С этим можно согласиться — но с определенной оговоркой. Обычный человек интересуется жизнью другого лишь тогда, когда у него возникают сложности в собственной жизни. Если он полюбил сам, но что-то у него не складывается, он идет расспрашивать у друга или родственника, любил ли тот когда-либо, и как это происходило. Если человек разводится, ему очень интересно послушать о чужих разводах. Если он заболел… если чего-то боится… если у него разлад с детьми… в общем, только тогда, когда человеку необходимо безотлагательно разобраться в своей жизни, он начинает интересоваться жизнью другого.

А все потому, что есть у человека такая интересная особенность: слушая или читая повествование о чужой жизни, он постоянно думает о себе, а это самое любимое и важное для него занятие.

Слушая о чужой любви, он думает о своей, слушая о чужой семье, он думает о своей; и так — всегда. Человеку требуется немалое усилие, чтобы, слушая о чужой жизни, думать именно о чужой жизни — а не о своей собственной. Это усилие профессионально совершают педагоги, психологи, психиатры, и очень редко — историки философии. Они не вникают в жизнь тех философов, о которых пишут. Как, впрочем, и в собственную жизнь: что я, тварь ползущая, не могу я свое мнение проявлять, а вот Гегель, о котором я, как историк, пишу — голова!

Впрочем, и не о Гегеле пишут историки философии — о гегельянстве. Тут большая разница. Пишут не о философах, а о философиях, и предмет науки называется «история философии», а не «история философов». Историки философии хотят описывать чистую мысль. А люди, которые были носителями этой мысли, их не интересуют. Не интересуют принципиально, потому что всякое связывание этой мысли с жизнью людей нарушало бы ее безукоризненную чистоту. Приблизительно так же поступают историки религии: они хотят писать о Боге, а не о богословах; богослов — лишь путь к Богу, сам по себе он не интересен. Жизнь богослова никак не должна влиять на те мысли о Боге, которые

пришли ему в голову; поэтому, право, будет лучше ничего о жизни богослова не знать совсем.

Гегель научил историков философии писать историю Мирового Разума, а не отдельных мыслителей, их жизненных перипетий и учений. Именно потому в России, где еще не отрешились от гегельянства, историки философии крайне редко вникают в биографии мыслителей. На Западе В. Дильтей, К. Ясперс, З. Фрейд сотоварищи переломили ситуацию и научили историков философии использовать *метод понимания, герменевтику*. У нас такого перелома не произошло, может быть, потому, что в школе нас заставляли учить В. В. Маяковского: «Единица? Кому она нужна? Голос единицы — тоньше писка». А вот если в партию сгрудились малые или выступили как агенты всемирного Мирового Разума — тогда, конечно, дело другое.

Мы в этой книге, как уже мог убедиться читатель, попытались преодолеть эту привычку выводить суть учения мыслителя из чего угодно — из мистического развития мирового разума, из экономики, из социально — политических коллизий, из глухого и невнятного бормотания Воли — только не из жизненных обстоятельств самого человека.

Мы полагали и полагаем, что человек — философ прежде всего и в первую очередь создает свою философию для себя самого, чтобы помочь себе, утвердить себя и оправдать себя[80].

А потому мы пишем историю *человеческой* философии.

Нет, мы, конечно, не сомневаемся, что можно написать историю мировой философии так, что будет казаться — одни идеи порождают другие идеи, без всякого участия человека. Черепная коробка человека в этом случае предстанет всего лишь помещением, где идеи занимаются размножением, а рука человека окажется только самописцем, который регистрирует этот процесс.

Можно написать историю философии и по — другому, так, что любое учение будет казаться навеянным экономической и политической обстановкой в стране. Тогда, правда, останется непонятным, почему надо рассказывать про эту обстановку в столь сложных и непонятных философских терминах: ведь можно куда проще описать ее в бесхитростных понятиях политологии и экономики.

В этих двух жанрах история философии до сих пор и писалась. Либо идеалистически — как история саморазвития чистой мысли. Либо материалистически — как сильно зашифрованная история экономики и политики. Мы полагаем, что творчество в этом жанре до сих пор имеет своих ценителей, а потому имеет право на существование.

Но есть и третий жанр, представленный тем же К. Ясперсом, а также В. Дильтеем, Ф. Ницше, З. Фрейдом и многими другими. А основоположником его был, пожалуй, И. Г. Фихте, который заявил: «Каков человек, такова и его философия».

В этом жанре мы и намерены писать дальше.

Мы будем исходить из непедагогичного, но особо очевидного ныне допущения, что *человек всегда более всего интересуется самим собой.*

Вопреки призывам моралистов, он раньше думает о себе, и только потом — о Родине, и лишь после этого — обо всем мире в целом.

Философы, правда, всегда делали вид, что они предпочитают обратный порядок: вначале думают о Вселенной, затем о Родине и только в последнюю очередь о себе. Это всегда было лукавством, так же как и попытка философов выдать себя за ангелов во плоти, которые живут между небом и землей в башне из слоновой кости.

Нет, философы — как и все люди на свете — думают в первую очередь о себе.

А думая о себе, человек приходит к неоригинальному выводу: *он должен выглядеть в своих глазах и в глазах других людей достойно.* Встречают по одежке, провожают по уму — то есть сразу же за критическим осмотром гардероба следуют требования к интеллектуальному дресс — коду. Ты должен предъявить свой умопостигаемый образ, который может устроить окружающих. По этой причине даже ребенок из детского сада каждый день сочиняет себе жизнь, изображая себя человеком достойным, а остальных вполне симпатичными либо крайне неприятными мальчиками и девочками (в зависимости от того, как они повели себя с ним). У лиц невысокого умственного развития эта привычка выдумывать себя и мир остается в детском виде до глубокой старости. Она выступает в неприкрытом виде. Эти люди ничуть не скрывают, что есть два типа фотографий, интересные и неинтересные, на которых их нет.

Однако и лица с высоким интеллектом никогда не отказываются от привычки придумывать себя окончательно. Просто они подают себя куда более солидно и утонченно. Картины, которые они рисуют, куда более масштабны. Существо простодушное способно нарисовать только свой красочный портрет в окружении шаржей на окружающих. Интеллектуал высокой пробы рисует панорамные полотна, изображающие мир до самого горизонта. Да что там говорить — не просто окружающий мир, но и весь космос, всю Вселенную.

Конечно же, на этой панораме изображены и другие люди, но

центром мироздания выступает именно интеллектуал — философ. Только его отличает правильный взгляд на вещи; все остальные видят их однобоко, не под тем углом, искаженносубъективно. Мир изображается на панораме таким, что весь смысл этого мира подвигает человека разумного к совершенно определенным поступкам. Философия такого человека представляет собой описание мира с позиций его самого — образцового человека, находящегося в центре мира. Из того, как изображен мир, вытекает неукоснительная правота его, философа, вкусов, принципов и поступков. Если мир таков, достойный человек может поступать в нем только так, и никак иначе. Панорама космоса оборачивается вполне определенной этикой, а образцовым человеком — *человеком вообще, носителем общечеловеческих ценностей и т. п.* — оказывается именно философ, нарисовавший панораму мира. Из его картины следует, что именно он находится в центре мироздания, а из центра всегда лучше видно, как следует поступать на периферии. Значит, ему, философу, волей — неволей приходится подавать пример всему человечеству: «Делай, как я!».

Не надо думать, что такая философия создается мыслителем в первую очередь для навязывания окружающим. Нет. Она создается, в первую очередь, для собственного потребления. (Вспомните свои выдумки о мире в детском саду: в те времена вас интересовали только вы сами, и вы, не скрываясь, выдумывали мир, подходящий вам).

Философия, созданная философом, это, в первую очередь, его карта, обрисовывающая его театр боевых действий, а любая такая карта рисуется с точки зрения победителя. Философия, созданная философом, — его оправдание, его способ возвысить себя. Это тонкое искусство состоит в том, что философ описывает правила устройства космоса, истории им культуры так, что по этим правилам выигравшим оказывается именно он. Все остальные только думают, что они выиграли — и ошибаются.

Такая — собственная — философия дает колоссальную уверенность в себе. Почему ею не пользуются сегодня? Потому что *преподаватели* философии преподавали не свою философию, а чужую, ничейную, и слушатели не поняли, зачем эта ничейная стратегия (карта мира, панорама Вселенной) им преподается. Там, где философия преподается не пролетарскими мыслителями (или интеллектуальными пролетариями), право собственности на философию никто не оспаривает.

Каждый мыслитель излагает *свою* философию, а не чью-то общую, стандартизированную министерством единомыслия.

А все прочие, прочитав ее в книгах или выслушав на лекциях,

прикидывают, пойдет ли им это готовое интеллектуальное платье. Будут ли они выглядеть в нем столь же достойными и заслуживающими уважения, как его создатель — философ? Вот, к примеру, тебе надо объясниться в любви, но писать стихи любимой недосуг. К тому же у тебя презрение ко всему непрофессиональному. И тогда ты читаешь своей пассии стихи А. С. Пушкина, то есть используешь прекрасно найденные им слова для приукрашивания себя в состоянии влюбленности. Так отчего же не поступить так же и с хорошим философским учением? Отчего же не объяснить свои деяния в мире прекрасно найденными словами Канта, Гегеля или Витгенштейна?

Если ты хорошо выглядишь в интеллектуальном платье, скроенном тем или иным философом, ты начинаешь носить его. Оно входит в моду и, в итоге, превращается в массовую идеологию. Учение Маркса, превращенное в идеологию, становится рассказом пролетариата о самом себе — достойном, симпатичном и перспективном. А уж что говорить о руководителях этого прекрасного пролетариата — гегемона!

Так возникают идеологии. Но возникают они из личных философий, созданных философами для себя.

Философ — это человек, дерзнувший придать миру свой, личный смысл.

Но прежде, чем сделать это, философ должен вырастить этот смысл в самом себе. Потому что заранее ему смысл жизни определять не должен никто.

В этом — самая суть экзистенциализма.

Вернемся, однако, к молодым годам Карла Ясперса. Как формировалось в нем представление о персональном смысле его жизни? То самое, которое позднее будет спроецировано на весь мир культуры, на всю человеческую историю? Была ли его философия рассказом о нем самом? О его собственном жизненном плане? Если да, то когда такой рассказ начал складываться?

В детстве?

В молодости, в период работы психиатром?

Или в зрелые годы, когда он перешел работать на философский факультет?

Жизнь молодого Ясперса: тотальная абсурдность или полная осмысленность?

До сих пор в этой книге жизнь Карла Ясперса представала перед нами просто как череда событий. И даже в таком виде она представляет интерес— для человека любопытного. Однако

Гераклит из Эфеса заметил, что многознание мудрости не научает: мудрый должен уметь постигать стоящий за фактами *смысл.*

Можно ли постичь смысл, который стоит за фактами жизни Ясперса?

Это — задача непростая.

Смысл в свою жизнь вносит сам человек. Его жизнь не «складывается» сама. Человек сам «складывает» ее, определяя ее смысл выбором своих поступков.

Но, к сожалению, не только он один задает смысл своей жизни.

Этим же заняты и все другие люди, с которыми он взаимодействует. Они — родители, наставники, начальники, авторитетные товарищи — тоже всячески пытаются задать смысл его жизни. Даже если и не ставят перед собой такую задачу.

Ведь всякий, с кем я общаюсь, видит меня и смысл моей жизни по — своему. Я для него — всего лишь эпизод в его собственной жизни. Но этот эпизод всегда имеет в ней некоторый смысл. Каждый человек, с которым я общаюсь, наделяет меня своим смыслом. Иногда он не считает нужным сообщить, какой смысл он видит во мне. Иногда, наоборот, всячески пытается донести до меня этот мой смысл с помощью своих слов и поступков или радикальнее — с помощью бумажных директив и инструкций.

Настоящий бюрократ — реформатор настолько нагл в своем крайнем простодушии, что свято верит — именно он сможет легко определить надлежащий смысл жизни для всех других людей без исключения; просто у него пока не хватает времени на всех. Глупее такого бюрократа только философ — просветитель, который с порога объявляет предрассудками мысли всех прочих людей и начинает эти предрассудки искоренять, исправляя все человечество сразу.

Люди непрерывно навязывают друг другу свои смыслы жизни. Все время идет борьба разнонаправленных воль. Один хочет одного, другой — другого, а в результате, по правилу «сложения сил», получается то, чего не хотел никто конкретно. Сложение множества разнонаправленных смыслов жизни и воплощение их в социальной материи дает в итоге бессмыслицу. Получается тот бытовой абсурд, с которым все мы сталкиваемся ежедневно. Политик привык воспринимать такой повседневный абсурд как нормальное, привычное состояние и каждый день прилагать сизифов труд, чтобы обуздать хаос и энтропию. Политику некогда выяснять, откуда этот бытовой повседневный абсурд взялся, ему надо производить очередные преобразования

хаоса, реализуя политику как искусство возможного.

Но у историка философии — иная задача.

Он должен распутать итоговый клубок наличного хаоса, разделить и проследить нити, ведущие к исходным смыслам. Он начинает с того, что получилось, и движется вспять, проясняя изначальную диспозицию желаний и устремлений. Историк философии должен выявить, от пересечения каких индивидуальных смыслов жизни возник тот общий абсурд, со смыслового обуздания которого начинается каждый наш день.

Что представляет собой жизнь каждого человека — и, в частности, жизнь К. Ясперса, о которой написана эта книга?

Это череда актов, посредством которых человек, сознательно или бессознательно, пытается утвердить себя в общении с другими, доказать словом и делом собственную правоту, настоять на своем и отстоять свою точку зрения. Все прочие делают то же самое, в результате чего возникают *жизненные ситуации как столкновения опредмеченных смыслов.*

И каждой из таких жизненных ситуаций человек придает свой собственный смысл, вписывая ее в свою собственную, индивидуальную картину мира.

Каждый человек исходит из того, что он прав.

Каждый человек исходит из того, что он способен видеть мир как целое.

Каждый человек исходит из того, что он понимает, куда движется общество, в котором он живет.

И на этом общем фоне каждый постоянно делает такой выбор, который должен характеризовать его как достойного, заслуживающего уважения человека.

Даже преступники, рассказывая о своих преступлениях, изображают себя как достойных людей, павших жертвами злодеев и обстоятельств. Великие бездельники и лентяи, а также трусы, желая выглядеть достойными людьми, изображают себя великими мудрецами. Только они постигли общий смысл вселенной, ибо невероятно умны. Но вот папа и мама учили в детстве, что при любом столкновении интересов должен уступить тот, кто умнее. Потому они ничего и не стали делать в жизни, уступая всем — ведь они были умнее всех.

Каждый человек предлагает окружающему миру свое видение космоса, общества и себя самого. Теперь он обречен стоять на своем — доказывать правильность своего мировоззрения. Отстаивать свой взгляд на мир человеку придется постоянно, всю жизнь. Эпизодические демонстрации своего видения космоса и человечества в нем здесь не помогут. Потому что доказывать свою правоту придется не только периодическими публикациями, но и

ежедневными поступками.

Сегодня всякий знает: чтобы доказать что-то, надо повторить это сотню раз с тупым однообразием (это называется «слоган»), Только однообразная словесная формула, бьющая, словно таран, в одно и то же место, сможет пробить стену — или толстую черепную коробку утратившего письменность современника. Сегодня победила революция двоечников, потому что люди сложные — неубедительны. Ведь чем сложнее человек, тем переменчивее его представление о себе, обществе и космосе. Он знает чересчур много, а потому сомневается, колеблется, избегает однозначных суждений. А в результате теряет в убедительности, проигрывая в ежедневном доказывании своей правоты людям, более примитивным.

Задача философии экзистенциализма как раз и состоит в том, чтобы помочь людям сложным и переменчивым отстаивать свои смыслы жизни — в борьбе с простаками, которые навязывают миру свои однообразные мнения. Простаки, как уже было сказано, более убедительны, более успешны в изнурительной борьбе мнений. Натуры примитивные не разбрасываются, потому что у них предельно мало мыслей — и, значит, мало вариантов выбора. Именно потому они нудны и методичны, а стандартность собственного мышления хотят сделать всеобщим идеалом — даже в образовании.

Тонкий психолог А. И. Герцен писал о примитивной жене, которая стягивает вниз, к себе, интеллектуального и развитого мужа:

«Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталь; он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокаивается, запутанный нитками и тесемками <…> Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. В эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков»[81].

Когда А. И. Герцен писал это, университетского образования женщины еще не получали. Потому мужчина с университетским красноречием имел равные шансы в противоборстве с методичной женщиной без высшего образования. Затем ситуация изменилась — противостояние полов было перенесено из семьи в

университет. Свою методичность и настойчивость женщина вполне научилась выражать на университетском языке (по крайней мере, имеющим вид университетской латыни). В свою очередь, многие мужчины естественнонаучной и технической ориентации отбросили на протяжении XX века гуманитарные составляющие своей культуры и стали такими же примитивно — нудными в этой сфере, как герценовские домохозяйки; их стали называть хорошими методистами, хотя любой прием, использованный дважды, превращается в метод. Так что все перемешалось, и пол нынче во внимание принимать не стоит. Есть люди тонкие, и есть люди примитивные, настойчивые и пробивные в своем единообразии. Они—то и имеют преимущественные шансы на победу в установлении господствующих в обществе жизненных смыслов.

Учитывая это, *экзистенциализм* как философия *желает помочь людям* более *развитым* и *тоньше чувствующим,* научив их стоять на своем. Вначале он заставляет человека четко отличать свое от чужого, подлинное от неподлинного, собственное от навязанного. А потом учит твердо отстаивать это свое, собственное, подлинное в *борьбе* с другими, нудными и примитивными людьми, тупо навязывающими миру свои *тягостные и одуряющие смыслы.* К тому же, экзистенциализм не только учит хорошо понимать себя самого. Он учит еще и понимать других — во всем их разнообразии. Существо примитивное может быть только собой. (Сегодня множество попсовых певиц призывают не стесняться этого — «Оставайся сама собой!»; но иного выхода у тех, кому адресован этот призыв, и нет — быть Другими они и не смогут, даже если захотят; они как плохие актрисы, которые умеют играть только самих себя).

Экзистенциализм учит понимать других — как примитивных, так и сложных. Примитивные, стандартные постигаются как неподлинное. Сложные, уникальные — как подлинное. Экзистенциалисту внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений, и бесхитростный англо — саксонский эмпиризм. Экзистенциализм учит не просто отличать себя от тупостандартного, как современное российское образование, человека, но еще и позволяет постичь, *почему* именно он туп, ведь эта его тупость тоже основана на определенном понимании смысла мира. Понять тупого и повлиять на него — значит постичь, какой смысл жизни важен для него и какую картину мира он пытается утверждать своими поступками.

Стало быть, *понимающая история философии* — это наука вовсе не праздная, созданная из досужего любопытства и

склонности записывать за другими. Она актуальна и необходима для современника, который хочет разбираться в жизни — даже тогда, когда она повествует о жизни философов далекого прошлого. *Понимающая история философии* поможет каждому разобраться в том, какие смыслы он готов утверждать своей жизнью, а также в том, какие смыслы жизни утверждают в мире его враги и возможные союзники.

Понимающая история философии — это основа практической философии жизни и база для практической психологии.

Если согласиться с этим, то мы должны понять, какой смысл хотел утвердить своей жизнью молодой Карл Ясперс. Мы уже видели, что отец навязывал ему один смысл. Мать — другой. Директор гимназии — третий. Склонные к академическим шуткам ученые, валяющие дурака на отдыхе, — четвертый.

Сложение этих смыслов — векторов дало неожиданный результат, смысл, которого не хотел навязать Ясперсу никто. Он, конечно, послушал всех — и добавил к их смыслам свой. Что же вышло в результате?

* * *

Все, что можно было узнать до сих пор из этой книги про жизнь юного Карла Ясперса, кажется, ставит в тупик. Да был ли в этой жизни вообще какой-то определенный смысл? Или он, как всякий молодой человек, метался по жизни, бросался из крайности в крайность, а то и вовсе плыл порой, что называется, без руля и без ветрил?

Вспомним: школьник Карл Ясперс обещал отцу пойти в юристы или бизнесмены. Пообещал торжественно, но… оказался в студентах медицинского факультета.

Хорошо. Можно объяснять такой поворот угрожающим состоянием здоровья: что же удивительного, если больной юноша захотел изучать медицину и узнать о способах лечения людей?

Но ведь у Карла Ясперса больными были *легкие.* Здравый смысл подсказывает: чтобы помогать себе наилучшим образом, ему надо было бы сосредоточиться на изучении легочных заболеваний. Став врачом — пульмонологом, он лечил бы себя — и других тоже. Но юноша не пожелал специализироваться на изучении легочных заболеваний. Он вообще не стал изучать заболевания тела.

Он избрал психиатрию, то есть врачевание души.

Есть ли тут вообще какой-то смысл? Или мы имеем дело с полным абсурдом? Юноша с больными легкими решает

отказаться от изучения экономики и права, избирая медицину. Но в рамках медицины он изучает не легочные заболевания, а психиатрию.

Странно. Но это еще не все!

Избрав психиатрию, студент медицинского факультета вдруг принимается изучать состояния девочек — подростков, которые, работая нянями, убивали подопечных детей.

Для чего это ему? Какой в этом смысл?

Девочки — убийцы совершали свои злодеяния потому, что ими овладевала тоска по родному дому.

И это тоже, казалось бы, абсолютный абсурд. Разве мы не привыкли считать, что тоска по родине, которую испытывает человек, оказавшийся на чужбине, — это чувство, характеризующее его с самой лучшей стороны? Если бы это было не так, разве воспевали бы свою ностальгию поэты в столь прекрасных стихах? и разве пели бы песни о своей далекой, прекрасной родине все, кто оказался в разлуке с нею?

А тут *тоска по родине* рассматривается как *причина преступлений.*

Кажется, абсурд достигает своего апогея.

Он становится полным, тотальным.

Ничто не связывается ни с чем никакой смысловой связью.

Зачем легочному больному психиатрия, а в психиатрии — изучение переживаний зловещих тинейджеров — убийц? Что это вообще за тема для диссертации? к области какой науки эта тема принадлежит?

Юриспруденция — не юриспруденция, медицина — не медицина, психиатрия — не психиатрия, поэзия — не поэзия, а вообще *не — разбери — пойми-что.*

Не доказывает ли подобный выбор темы, что ученые вообще берут темы «с потолка»? Не свидетельствует ли он, что человеческая жизнь вообще неразумна?

Ведь мы помним, что К. Ясперс желал потратить оставшееся недолгое время жизни с максимальным эффектом. И что же?

Разве не выбрал он в результате *самую неважную для себя из всех самых неважных тем*? Тему, абсолютно никак не связанную с его собственной жизненной ситуацией? Неужели исследование взаимосвязи ностальгии и преступлений помогло ему самому хоть немного — в борьбе с его легочным заболеванием? Или, быть может, примитивные сельские девочки, которые убивали грудных детей, представляли какой-то интерес чисто по — человечески?

А может, такой выбор темы свидетельствует о том, что ученый совершенно не принадлежит себе? Что он движется в своей науке, словно лунатик? Что некая непостижимая сила,

именуемая научным интересом, властно диктует ему выбор темы, совершенно не сообразуясь с его личными потребностями и особенностями биографии? И эта сила берет его без остатка и влечет неведомо куда? А исследователь потом только сам удивляется выбору своей темы?

* * *

Представляется, что на все перечисленные вопросы можно дать отрицательные ответы.

Нет, жизнь молодого Ясперса вовсе не была бессмысленной. Нет, он вовсе не взял тему для диссертации произвольно.

Все, что он делал, служило решению его собственных жизненных проблем.

Выбор К. Ясперсом темы для диссертации может показаться абсурдным, нелогичным, немотивированным только поверхностному наблюдателю, который не способен вникать в «понятные связи» (В. Дильтей). Но «логика» этого выбора — а во всем есть своя логика, даже в безумии! — вовсе не лежит на поверхности и не открывается первому же взгляду.

Попытаемся же показать, как решается эта загадка — как связана бронхоэктатическая болезнь К. Ясперса с изучением преступлений, совершенных девочками на почве ностальгии?

Но начнем разбираться издалека, опять-таки памятуя о том, что аналогии дают ключ к пониманию многого.

Cogito ergo sum: попытка медицинской интерпретации тезиса

Мыслю, следовательно, существую.

Этот тезис французского мыслителя XVII века Рене Декарта известен всякому образованному человеку.

Его знали и использовали даже советские юмористы, писавшие в «Литературную газету». Они придумали фразу: *мыслю,* следовательно, *существую; не мыслю,* следовательно, *живу.* Эта шутка прекрасно раскрывает нам суть расхожей, общепринятой интерпретации тезиса Р. Декарта.

Она такова.

Декарт, как и все *рационалисты — интеллектуалы,* утверждает, что по — человечески существует только мыслящий человек. Тот, кто не мыслит, звания человека не заслуживает. Он

подобен овощу или животному. Значит, общество должно признать выдающееся значение непрерывно мыслящей интеллигенции, отметив это признание надлежащей заработной платой. Но — ухмыляется с горечью юморист — на деле ничего подобного не происходит. Существование мыслителя с его мизерной зарплатой жалкое. А настоящая жизнь — у того, кто не мыслит, именно по этой причине имея куда более высокие доходы.

Как бы то ни было, а у интеллектуалов всего мира принято полагать, что интонация, с которой надо произносить *Cogito ergo sum,* должна быть гордой и назидательной, приблизительно такой интонацией, которая свойственна «Оде к радости» на слова Ф. Шиллера — я мыслю, и этим горжусь, *ведь только мысля, я выступаю как человек разумный.* Так, кстати, именуется мой биологический вид. Больше в природе не мыслит никто. Так что — как это ни парадоксально — *вся моя биология заключается в мышлении.*

Но вдумаемся: так ли это хорошо, когда вся твоя биология сводится только к мышлению? Не есть ли это признак весьма болезненного состояния?

Не будут же здоровые люди говорить: «Жизни в нас осталось — на раз помыслить…».

Думается, что слова Декарта «Мыслю, следовательно, существую», превращенные в гимн разума, были вырваны из контекста, в котором они были произнесены.

Изначально они вовсе не были гимном разуму.

Они были криком больного человека, полным ужаса и отчаяния.

Еще во времена работы в психиатрической клинике Карл Ясперс требовал от больных припоминать и максимально точно выражать в словах все, пережитое ими в состоянии психоза. Со слов одного из больных он описал переживание психоза так:

«Существуют меланхолические состояния с ярко выраженным, искусственно сдерживаемым извне стремлением к самоубийству, состояния, в которых человек пребывает поистине в безнадежном отчаянии. Ничего больше не существует, все — сплошная иллюзия, все просто подстроено искусственно, чтобы обмануть. Все люди мертвы. Мира больше нет. Что касается врачей и близких, то это просто фигуры — призраки. Больной вынужден существовать в одиночестве. Он — “Вечный Жид”. Но и он тоже в действительности не существует, и он тоже — всего лишь кажущееся существование. Ничто не обладает никакой ценностью. Больной, по его словам, не может испытывать никаких ощущений, и при этом у него — безмерный аффект отчаяния. Он

— не тот человек, что прежде. Он — всего лишь точка. В чувствах и бредовых представлениях это переживание выражается более детально развернуто: тело прогнило, оно полое внутри, проглоченная еда летит сквозь пустое пространство. Солнце погасло и т. п. В этом состоянии существует только интенсивность аффекта, отчаяние как таковое»[82].

Забудем на миг, что все это рассказал о своем состоянии Карлу Ясперсу психически больной человек. Предположим, что это — слова некоего философа, который излагает свою мировоззренческую доктрину. Лишь слегка перефразируя его текст, мы получим вполне *картезианскую* философскую концепцию.

Вот она.

Я подверг все тотальному сомнению и понял, что окружающий мир реально не существует. Даже Солнце погасло. Люди вокруг — врачи и близкие — это призраки, наваждения. Все вокруг обманывает меня. Даже существование у меня тела — иллюзия. Тела нет. Когда я глотаю пищу (тоже, впрочем, иллюзорную), она проваливается в пустоту, которая существует внутри меня. Нет никакого пищеварительного тракта — только пустота, и всех остальных частей тела тоже нет. Только пустота.

Именно это и пытается сказать больной, описывая себя как «точку». В Новое время мысль противопоставляли материи, считая отличительным ее свойством протяженность, то есть способность иметь размеры. Говоря проще, все материальное имеет длину, ширину, высоту, толщину, глубину и т. п. А вот нематериальная мысль размеров, которые можно измерить линейкой, не имеет. Как не имеет размеров и точка в геометрии. Больной представляется себе именно точкой, у которой нет размеров. Он, стало быть, нематериален. Он — чистая мысль. Он существует только в том смысле, что *мыслится, т. е. мыслит себя.* Объявляя себя точкой, больной, тем самым, хотел сказать, что у него нет тела; он — лишь не имеющая размеров мыслящая точка. Он мыслит — и только в этом состоит его существование.

У меня нет никаких ощущений — они иллюзорны. Ведь я ощущаю благодаря глазам, носу, ушам, языку, коже. Как же я буду что-то ощущать, если тела у меня нет? Единственное, что у меня остается несомненного — я *мыслю, то есть сомневаюсь.*

Больной, припоминавший по просьбе К. Ясперса свое восприятие себя и мира во время психоза, описывал именно декартовское состояние *«cogito ergo sum».* Но был ли он рад этому состоянию? Ликовал ли он, превратившись в один только сомневающийся разум? Считал ли он свои откровения гимном разуму?

Отнюдь нет.

Молодой врач Карл Ясперс не оставляет на этот счет никаких сомнений. Нет, больной таким состоянием своим отнюдь не гордился, а испытывал сильнейшие страдание и страх. Такое состояние, в котором для человека нет ни мира, ни собственного тела, ни ощущений, в котором все иллюзорно и сомнительно — такое состояние вызывает у человека *отчаяние в чистом виде, которое толкает его на самоубийство.* Причем удержать больного от самоубийства необычайно трудно.

Что-то непохоже все это на гимн разуму. На торжествующую песнь рационализма.

У пациента К. Ясперса такое описание психотического состояния вовсе не было гимном разуму. Но было ли гимном разуму подобное же описание состояния *cogito ergo sum* у самого Декарта? Если вдуматься, то с чего бы это Рене Декарту запевать такой гимн? Ведь жизнь его отнюдь не располагала к подобным торжественным песням…

Десятилетнему мальчику Рене Декарту отвели в иезуитском интернате Ля Флешь отдельную спальню. Этот потрясающий факт едва ли произведет надлежащее впечатление на сегодняшнего читателя — ведь он не знает нравов и обычаев иезуитов. Но можно предложить ему для лучшего понимания такую аналогию: одному из курсантов школы КГБ вдруг предоставили отдельное спальное помещение — и, вдобавок, разрешили оставаться в постели до обеда.

Согласимся, что здесь есть чему удивиться. Многих историков — пуристов, которые не признают никаких аналогий, приведет в замешательство наше сравнение интерната иезуитов Ля Флешь и школы КГБ. Но, если вдуматься, значительное сходство между этими образовательными учреждениями существует. КГБ во время своего существования позиционировал себя как «вооруженный отряд партии». Его задачей была, следовательно, борьба за чистоту коммунистической идеи, а также против разложения в партийных рядах. КГБ отличался суровой, воинской дисциплиной, требовал от своих сотрудников аскетического образа жизни. Даже А. Д. Сахаров, которому пришлось постоянно общаться с представителями этой организации, отмечал ее некоррумпированность.

Орден иезуитов — монашеский орден «Общество Иисуса» (“Societas Jesu”) — тоже был основан для борьбы за чистоту христианской веры, против разложения священников, а также для ведения контрпропаганды и противостояния идейным противникам. Создание такой организации было, конечно, мерой *чрезвычайной.* (Как и создание ЧК, предшественницы КГБ). Устав

Ордена Иезуитов был утвержден Римским папой в 1540 году, а клятва создавших его единомышленников состоялась в 1534 году. Острая потребность «служить вере и содействовать справедливости» возникла у основателей Ордена в ответ на невероятное разложение верхушки католической церкви, которое произошло в период правления папы Льва X (1513–1521 гг.). Этот период даже католические историки Ватикана назовут жесточайшим испытанием, которому Бог подверг свою церковь.

Папа Лев X принадлежал к аристократическому роду Медичи и был вторым сыном герцога Флоренции. Но высшие католические священники по традиции набирались не из монастырей, а из семей светской аристократии. Будущего папу с детства определили на церковную службу, а уже в 13 лет сделали кардиналом.

В 37 лет он вступил на папский престол — и при этом заявил: «Насладимся папством, потому что Бог дал нам его». Он стал жить в немыслимой роскоши, не подобающей христианам. Больше того: он не оставил светских привычек, возглавив церковь. Он держал великолепную конюшню, давал роскошные банкеты, выезжал на охоту с огромной свитой (иногда она насчитывала две тысячи всадников). Он был большим поклонником театра, даже сам пел арии под оркестр (правда, перед небольшой избранной аудиторией).

Именно он и придумал то, что сегодня называется Возрождением: объявил себя «младшим мастером» при Боге и продолжателем Его творческих дел. Именно эту идеологию воплощали в своем творчестве приглашенные им в Рим художники и мыслители: за восемь лет и восемь месяцев своего понтификата он собрал в Риме Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Корреджо, Тициана, Ариосто, Гвиччардини и Макиавелли, не считая многих звезд второй величины, со всего мира.

По подсчетам Б. Рассела, в так называемой эпохе Возрождения участвовало всего около 200 человек: это художники и мыслители, которых собрал вокруг себя Папа и вдохновлял их. Возрождение дало человечеству великолепное искусство, философию и литературу, но для церкви обернулось колоссальными расходами, да еще и на такие дела, которые, с точки зрения рядового верующего, были небогоугодными, порочными, подрывающими основы веры.

«Сам Папа жил на неслыханно широкую ногу, расходуя по сто тысяч дукатов в год. Помимо того что он содержал личный штат прислуги в количестве 683 человек (сюда входили музыканты его оркестра и актеры его театра), он еще выплачивал щедрые

субсидии целому легиону ученых — гуманистов, художников и композиторов».

Кроме финансирования «эпохи Возрождения», Папа щедро тратил ватиканскую казну на археологические раскопки, карнавалы, войны и азартные игры. Расходы папской казны значительно превышали доходы. Вскоре Папе — гуманисту пришлось даже организовать продажу ценной церковной утвари и священных сосудов.

Под влиянием роскошествующего Папы развратились и его подчиненные. Они тоже почувствовали себя вельможами, призванными жить в роскоши. Такая жизнь даже получила теоретическое оправдание и обоснование, которое ныне принято называть гуманизмом эпохи Возрождения. Этот гуманизм требовал возродить античное видение мира и жизни, воссоздать чувственное искусство, т. е. *языческое* любование телесной красотой. Изможденная постами, укрытая от всех взглядов одеждой средневековая фигура должна смениться в искусстве пышным, прекрасным телом, без стыда демонстрируемым окружающим. Человек эпохи Возрождения не должен испытывать смирения перед Богом и считать себя рабом Всевышнего. Нет, человек должен сознавать себя соработником Бога, «младшим мастером», который даже способен и поспорить со «старшим мастером» Отцом Небесным — бросить ему какие-то обвинения.

Одной формой реакции на такое «гуманистическое разложение» верхушки католической церкви стала Реформация, представители которой объявили роскошествующего Папу дьяволом. Суровые протестанты потребовали аскетизма, строгой морали, упорного труда и твердости в вере. Другой формой реакции стало основание Ордена Иезуитов — с его помощью церковь стала сама бороться с разложением в своих рядах.

Орден возглавил Игнатий Лойола — человек военный, участвовавший в боях. Он сразу же ввел в Ордене суровые армейские порядки: сам стал генералом Ордена, остальные его члены получили звания офицеров и рядовых. Приказы исполнялись неукоснительно. Вертикаль власти и централизация были доведены до совершенства.

Свои кадры иезуиты готовили в коллегиях — закрытых средних учебных заведениях. Одной из таких коллегий и была Ля Флешь, куда был отдан десятилетний Р. Декарт. Любая церковь всегда умела организовывать отповедь инакомыслящим. Но у иезуитов технология контрпропаганды была доведена до такой виртуозности, что она впечатляет по сей день. Уже в XVII веке любая книга, вышедшая в Европе, в течение года (!) попадала в библиотеку коллегии Ля Флешь. Здесь специальные наставники

учили молодых католических пропагандистов профессионально критиковать ее: разбирать по косточкам, *подвергая сомнению* вредоносные мысли автора.

Воспитанники интерната Ля Флешь спали в общих спальнях. Подъем у них происходил чуть свет, затем они отправлялись «строем на молитву, на завтрак, на учебу, на обед, на прогулки — воспитание единомыслия будущих сержантов духа начиналось со строевой подготовки».

И вот вдруг в этом суровом иезуитском интернате десятилетний Рене Декарт получил в свое распоряжение отдельную спальню! Дело немыслимое! На это наверняка имелась веская причина…

Она имелась.

Рене Декарт умирал. Умирал от болезни легких. Он сильно кашлял по ночам и будил курсантов иезуитской пропагандистской школы. А им и без того предстоял изнурительный день.

Рене Декарта в коллегию Ля Флешь отдал отец — после того, как мать годовалого мальчика умерла от скоротечного легочного заболевания. Логика решения была такой. Врачи все равно отводили десятилетнему мальчику не больше нескольких месяцев жизни. Этот неутешительный прогноз они повторяли с завидным упорством, как только истекал срок предыдущего — и такая гипердиагностика продолжалась целых десять лет, пока Р. Декарту не исполнилось двадцать! Отец Р. Декарта — член совета парламента Бретани и крупный землевладелец — был слишком занят делами и не мог обеспечить обреченному мальчику надлежащий уход. Оставалось только поместить его в такое место, где бы он был поближе к Богу. Устроить Декарта в иезуитский интернат оказалось нетрудно: ректор интерната — патер Шарле — был родственником мальчика по материнской линии.

Отцы — иезуиты пожалели обреченного мальчика: определили ему вольный режим жизни и посещения занятий. Привычка оставаться в постели почти до полудня осталась у Декарта на всю жизнь. Именно лежа в постели и размышляя, он сделал свои философские и математические открытия.

Скорбный легкими Карл Ясперс также имел на протяжении всей жизни привычку *работать лежа* — на специальном *рабочем диване.* За что и был порицаем своим другом М. Хайдеггером.

Но не только это роднило К. Ясперса и Р. Декарта.

Еще их объединяла *философия* — единственно возможная для легочного больного, который решил не смиряться с приговором врачей. Исходный постулат этой философии — *подвергнуть*

сомнению всё, кроме своей способности сомневаться.

Представим себе, как посреди иезуитской интеллектуальной казармы лежит до полудня в постели тщедушный юноша с нездоровым, лихорадочным блеском глаз. Он вовсе не собирается умирать. Он готов отчаянно бороться за свою жизнь. Но для того, чтобы *набраться духа* для отчаянной борьбы за жизнь, надо *подвергнуть сомнению* диагнозы врачей.

Это — нелегко.

Ведь врачи, ставя неутешительные диагнозы, опираются на наблюдения, на анамнез, на объективные симптомы, которые позволяют им судить о происходящем в твоем теле.

Значит, надо усомниться абсолютно во всем.

Надо усомниться в медицинской науке — и поверить, что она может ошибаться. Надо усомниться во всех науках, на которые опирается медицина — и поверить, что они могут ошибаться. Надо усомниться в опыте врача, в результатах его наблюдений — и поверить, что они могут быть ошибочны. Надо усомниться в собственных болезненных ощущениях — и поверить, что они могут быть ошибочными.

Иного выхода нет.

Ведь если ты поверишь в то, что у тебя в теле идут какие-то объективные процессы, на которые ты не можешь повлиять посредством своего мышления и напряжения своей воли — ты падешь духом и умрешь.

Врачи в твоем присутствии приводят научные доказательства твоей обреченности — значит, единственным твоим спасением может быть тотальное сомнение в науке и в объективной реальности как таковой.

Единственное, что поддержит тебя в этой борьбе — твоя способность сомневаться, то есть мышление.

Мыслю, следовательно, существую.

Сомневаюсь во всем, следовательно, продолжаю держаться за жизнь.

Если вдуматься, то Р. Декарт создал не одну, а две философии, которые плохо согласуются друг с другом.

Согласно одной, которую принято называть дуализмом, в человеке — а значит, и в самом Р. Декарте тоже — существуют два автономных начала. Это — тело и душа. Тело живет само по себе, душа— сама по себе. Главное свойство тела— протяженность, то есть способность иметь физические размеры: каждый орган тела измерим, занимает определенное место в пространстве, реален и объективен. Главное свойство души — мышление: мысль не имеет физических размеров, не занимает места в пространстве, не является реальной.

Соматические, телесные процессы не оказывают и не могут оказать влияние на мышление. Мои мысли не зависят от того, что я ем, что я пью, как протекают в моем организме физиологические процессы, какой из моих органов поразило заболевание и т. п. Но и тело мое живет независимо от мыслей. Как бы я ни напрягал свой ум, я не смогу таким образом улучшить свое пищеварение или кровообращение или повлиять на какой-либо другой из соматических процессов.

Тело делает то, что ему угодно. Душа — то, что угодно ей. Этакий принцип мирного сосуществования и взаимного невмешательства во внутренние дела.

Можно представить себе душу и тело как две равноправных стороны, заключившие пакт о ненападении: тело не вредит душе, душа — телу. Совсем разойтись, разделиться тело и душа, конечно, не могут, поскольку отделение души от тела в христианских представлениях есть смерть. Но и сосуществование их — чисто внешнее; единственная точка, где они соприкасаются — это, по мнению Р. Декарта, шишковидная железа, то есть эпифиз головного мозга.

Но почему же наряду с этой жизненной и житейской философией, чрезвычайно распространенной среди интеллектуалов по сей день, вдруг возникает другая, выраженная принципом *cogito ergo sum*? В этой, другой философии уже нет дуализма, нет сосуществования двух независимых начал. В этой, другой философии душа уже может усомниться в том, что существует тело. То есть она, душа, становится не просто главной, а *единственной* инстанцией, началом и концом всего — инстанцией, которая способна объявить тело иллюзией.

Почему душа вдруг начинает сомневаться в существовании тела? Подвергать сомнению существование всего телесного и связанного с телом?

Проведем аналогию, чтобы убедиться в абсурдности сосуществования этих двух философий — *философии дуализма* и *философии абсолютного сомнения.* Представим, что существуют два государства, которые заключают между собой пакт о ненападении. Они, тем самым, косвенно признают реальность и силу друг друга. И вдруг правительство одной из этих стран заявляет, что сомневается в реальном существовании другой. Не фальшивы ли все сведения о ней? Не морочит ли кто-то нам голову, говоря, что эта, другая, страна существует реально?

Согласимся, что это — уже совсем другая ситуация.

Так как же сочетаются между собой эти два знаменитых тезиса Декарта: дуализм души и тела и «мыслю, следовательно, существую»?

Никак не сочетаются, если судить с точки зрения логики.

Но они и не должны сочетаться, если только предположить, что две эти философии выражают *два различных состояния больного* по имени Рене Декарт (или любого другого больного).

Вот состояние первое — стабильное. Больной остается больным, но вполне может заниматься своими обычными делами (для интеллектуала таковым является мышление). В этом состоянии жизнь больного прекрасно описывается философией дуализма. Тело живет само по себе, в нем идут какие-то процессы — вяло протекает заболевание, действуют медикаменты, происходят физиологические процессы и т. п. Но все это ничуть не мешает душе мыслить, причем мыслить на *отвлеченные* темы, никак не связанные со здоровьем.

Вот состояние второе — обострение заболевания, угрожающее жизни. Все отвлеченные мысли немедленно отступают на задний план. Душа может думать только о здоровье, точнее — о жизни и смерти. Она приходит к мысли, что тело нарушило условия дуалистического пакта о ненападении и взаимном невмешательстве во внутренние дела суверенных начал. Тело приходит в упадок и властно заставляет думать только о себе. Оно подчиняет себе все мысли. Собственно говоря, их очень немного в таком состоянии, этих мыслей, и вряд ли они заслуживают того, чтобы называться настоящими мыслями — научными, логичными, текущими неспешно.

Это, скорее, не мысли, а паника, смятение души.

Врачебная наука ставит страшный диагноз; она утверждает, что в моем теле закономерно развиваются неотвратимые соматические процессы; это подтверждают химические анализы и врачебные наблюдения — симптомы у меня такие же, как у тысяч других больных, стало быть, участь у меня будет такой же. Выходит, я обречен? И надо, опустив руки и повесив голову, ждать конца? Или же надо не смиряться под ударами судьбы и стойко противоборствовать недугу? Тогда надо усомниться во врачебном вердикте, во всей и всяческой науке, даже в собственных ощущениях. Надо поставить под сомнение все. Вдруг все эти боли, вся эта хандра лишь насланы на меня кем-то, кто меня морочит… Но если меня можно так морочить, то существую ли я? Да, существую, потому что у меня есть способность мыслить — способность моей души. Именно она и останется моей единственной опорой. Именно она и даст мне силу жить.

Нет, это вовсе не холодные, логические рассуждения Р. Декарта, те, в которых он выразил свою теорию тотального сомнения. Возможно, они и стали такими — холодными, выверенными и логическими, — но лишь *впоследствии,* когда он

уже освоился в аду этих мыслей, когда они стали привычными для него, и он научился внятно выражать в словах свое близкое к психозу состояние отчаяния, которое испытывал всякий раз, выслушивая смертный приговор врачей.

Заметим, что проговаривание вслух или на бумаге такого отчаянного внутреннего состояния позволяет совладать с ним!

Вот рассуждение Р. Декарта, которое, как может показаться, выражено более спокойно:

> «Итак, я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение; я буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением…»[83].

Рассуждение кажется неспешным, даже отрешенным, как и полагается рассуждению философскому: рассуждающий отнюдь не пребывает в панике, не путается в мыслях, не испытывает смятения души; напротив, слог его тяжеловесен, как и подобает лишенному всяких эмоций метафизическому трактату. Вроде бы, здесь все логично и, следовательно, спокойно, поскольку логика с ее строгим порядком — это альтернатива сумбуру и панике. Но вдумайтесь, о чем идет речь: «я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением». Верите ли вы, что человек может спокойно размышлять о том, что у него нет тела? Что у него нет глаз? Что у него нет рук? Что ему только кажется, будто он существует реально?

Нет, мы больше склонны доверять молодому врачу К. Ясперсу — описываемое состояние есть состояние, неотличимое от психоза, состояние отчаяния. И у самого Р. Декарта такое отчаяние и смятение души прорывается в других, куда менее спокойных пассажах, на соседних страницах той же книге.

Вот он, момент истины — ужас, которому нет конца и нет дна:

> «Итак, я допускаю, что все видимое мною ложно; я

предполагаю никогда не существовавшим все, что являет мне обманчивая память; я полностью лишен чувств; мои тело, очертания (figura), протяженность, движения и место — химеры. Но что же тогда остается истинным? Быть может, одно лишь то, что не существует ничего достоверного. Однако откуда мне известно, будто, помимо перечисленных, не существует других вещей, относительно которых не может быть ни малейшего сомнения? Ведь, возможно, есть некий Бог — или как бы мы это ни именовали, — внушивший мне эти самые мысли? И прав ли я в данном случае — ведь я и сам могу быть их виновником? Так не являюсь ли, по крайней мере, и я чем- то сущим? Но ведь только что я отверг в себе всякие чувства и всякое тело. Тем не менее я колеблюсь; что же из этого следует? Так ли я тесно сопряжен с телом и чувствами, что без них немыслимо мое бытие? Но ведь я убедил себя в том, что на свете ничего нет — ни неба, ни земли, ни мыслей, ни тел; итак, меня самого также не существует? Однако, коль скоро я себя в чем-то убедил, значит, я все же существовал? Но существует также некий неведомый мне обманщик, чрезвычайно могущественный и хитрый, который всегда намеренно вводит меня в заблуждение. А раз он меня обманывает, значит, я существую; ну и пусть обманывает меня, сколько сумеет, он все равно никогда не отнимет у меня бытие, пока я буду считать, что я — нечто. Таким образом, после более чем тщательного взвешивания всех «за» и «против» я должен в конце концов выдвинуть следующую посылку: всякий раз, как я произношу слова Я есмь, я существую или воспринимаю это изречение умом, оно по необходимости будет истинным»[84].

Заслуга великого психотерапевта Р. Декарта в том, что он сумел выразить этот невыразимый ужас в словах, и, более того, выражал его в словах с каждым разом все лучше и лучше, все более и более внятно. И теперь миллионы людей могут найти для выражения своих состояний эти слова у Декарта уже в готовом виде — точно так же, как все влюбленные могут найти слова для выражения своего душевного состояния у не менее великого психотерапевта А. С. Пушкина.

Но первым, кого вылечил великий психотерапевт Р. Декарт, был, конечно, он сам. Он выразил свой внутренний хаос в словах — и совладал с ним. Он превратил универсальное сомнение,

которое Ясперс истолковал как психоз, в нечто позитивное для себя, совсем по формуле Ф. Ницше: то, что не убивает нас, делает нас сильнее.

И в самом деле, при первом появлении декартовское универсальное сомнение вызывает ужас: оно неотличимо от психоза, оно вызывает неудержимое стремление убить себя. Именно первое появление его и описал К. Ясперс. Но стоит совладать с ним раз, как оно с каждым следующим появлением становится все более привычным. Ужас ослабевает, приходит желание наблюдать за собой. В человеке берет верх ученый — исследователь, который обретает способность следить за собой «со стороны»: он изучает, как появляется у него самого универсальное сомнение во всем, он раскладывает это сомнение на стадии, он описывает его в деталях, а потом говорит себе — а не сделать ли мне такое тотальное сомнение началом нового образа жизни? Стоит ли дожидаться приступа болезни, чтобы впасть в универсальное декартовское сомнение? Не осуществить ли мне его в относительно здоровом состоянии, с холодной головой? Не сказать ли мне себе, что вся прежняя моя жизнь была губительной — неподлинной? Не подвергнуть ли сомнению ее? Все свои прежние знания и привычки? Все привычные представления о самом себе? Не сделать ли мне самого себя заново, не построить ли себя с нуля на расчищенной универсальным сомнением почве? И, быть может, разрушить до основанья весь окрестный мир насилья, чтобы затем построить новый мир?

* * *

Рене Декарт прошел весь этот путь. Он не поверил врачам, которые раз в несколько месяцев приговаривали его к смерти, начиная с десяти лет, с регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Он, Декарт, подверг фундаментальному сомнению и медицинскую науку, и свои собственные телесные ощущения, и соматические процессы, наблюдаемые медиками, — и благодаря всему этому сумел не только выжить, но и поступил на военную службу, что требовало телесного здоровья. Ради такого здоровья Р. Декарт всячески закалялся и занимался фехтованием. Он закалял не только тело физическими упражнениями, но и душу — философией, приучая ее без трепета допускать возможность собственного несуществования. (Многие ли читатели способны представить себя несуществующими?)

Результаты произведенной закалки впечатляют. Хотя

легочная болезнь и свела Р. Декарта в могилу, но произошло это вовсе не в *десять лет,* как сулили врачи, а в *пятьдесят четыре* года. Так что *сорок четыре года жизни* Декарт для себя отвоевал упорным трудом души и тела.

А вот студенту медицины Карлу Ясперсу еще предстояло пройти весь этот путь, с самого начала. Ему надо было совладать с тем собственным бедственным состоянием, которое периодически накатывало на него — во время каждого резкого ухудшения здоровья и самочувствия. Ему еще только предстояло научиться побеждать и использовать то отчаяние по имени *cogito ergo sum,* которое впервые охватило его еще в школьные годы, в лесу во время охоты.

Ясперс был скрытным, он редко высказывал вслух свои действительные мысли (мы уже успели убедиться в этом и еще убедимся не раз). Он обманул своего врача, который хотел поберечь его от малейших нагрузок и опасностей, чтобы он *протянул* подольше. Он, конечно, ответил героически: нет, такой неполноценной, ущербной жизни мне не надо, пусть я проживу всего десять лет, о чем мне следует сказать честно, но это будут десять лет яркой, полноценной жизни.

Так отвечает в романтической сказке орел ворону: пусть я проживу тридцать лет, а не триста, как ты, но зато не буду питаться падалью, а вкушу свежей крови!

На самом деле Карл Ясперс думал не так. Гордыня его была еще более великой.

Но высказать врачу свои настоящие мысли он просто не мог. Потому что он думал, что проживет долго, вовсе не десять лет, которые отводила ему медицина. Он проживет долго, потому что подвергнет радикальному декартовскому сомнению всю медицину. У него не остается иного выхода: чтобы жить долго, надо не оставить от здания медицины камня на камне. Вернее, впрочем, следует сказать — с практичностью предков — так: возьмем от медицины все, что она сможет дать, и отбросим ее там, где она ничего нам дать не может. Там, где медицина сможет помочь в борьбе с недугом, это будет использовано по максимуму. Но за пределами ее возможностей — там, где она уже бессильна перед болезнью — она будет подвергнута тотальному картезианскому сомнению, с отбрасыванием всех и всяческих иллюзий.

Все достижения и методы медицины, все ее технологии Карл Ясперс собрался изучить с основательностью немецкого крестьянина, каковыми были его предки по материнской линии — для этого и была заведена домашняя лаборатория. Но если эти методы и технологии окажутся иллюзорными, а теоретические

представления — неудовлетворительными, то под сомнение подпадут и все медицинские диагнозы. И смертный приговор Карлу Ясперсу, вынесенный Р. фон Вирховым, будет отменен.

Так оно и вышло в итоге.

Карл Ясперс взял из медицины все, что она только могла дать ему для лечения собственного недуга. Но победить этот недуг она, как выяснилось, не могла. Поэтому Карлу Ясперсу всю оставшуюся жизнь пришлось доказывать ограниченность чисто медицинского подхода к человеку. Он подверг сомнению диагноз медиков, осуждавший его на смерть на третьем десятке лет, и прожил со своим «букетом» тяжелейших заболеваний до восьмидесяти шести (!) лет. Он прожил не двадцать пять лет, как ему сулил Вирхов, а восемьдесят шесть!

Для этого Карлу Ясперсу пришлось мобилизовать в себе те силы, о существовании которых многие медики даже не подозревали. Попытаемся понять, как это было сделано.

Глава V. Диссертация «Тоска по родине и преступления»: с Декартом против медицинского материализма

О важности хитроумия при выборе диссертационной темы

Первым шагом к такой мобилизации всех своих жизненных сил Карлом Ясперсом и стала его диссертация «Тоска по родине и преступления». Она, как мы вскоре увидим, была попыткой подвергнуть декартовскому сомнению всю современную медицину — ту самую, которая приговорила К. Ясперса к смерти на третьем десятке лет.

Ясперс, конечно, считал себя человеком великим (иначе он просто не посвящал бы столь много внимания размышлениям о величии в своих работах). Как человек великий, он ставил перед собой незаурядные цели, такие, каких никогда не наметил и не достиг бы человек.

Да, мы беремся утверждать, что К. Ясперс поставил себе целью подвергнуть сомнению всю медицинскую науку, в частности, ее основополагающее убеждение в невозможности души исцеляющим образом воздействовать на тело. Врачи сказали Ясперсу: никакие его психические усилия не помогут ему справиться с бронхоэктазами; соматические процессы объективны, от воли и сознания человека они не зависят. Если принять на веру эти доводы ученых, придется умирать в двадцать пять лет.

Если же ты хочешь жить дольше, элементарное требование инстинкта самосохранения — подвергнуть декартовскому сомнению всю медицину. Если бы Ясперс был человеком слабым, он смирился бы с медицинским вердиктом и опустил руки. Или, возможно, побежал бы спасаться от одного — враждебного — авторитета к какому-нибудь другому, дружественному: отправился бы за помощью к какой-нибудь «нетрадиционной медицине» или к церкви, стал бы молить Господа о здоровье.

Но Ясперс был человеком сильным. Поэтому он решил справиться со всеми жизненными трудностями в одиночку. Больше того — он хотел стать человеком великим. А потому он замыслил триумф.

Он не просто подвергнет декартовскому сомнению медицину. Он сделает это публично, в окружении медицинских

университетских авторитетов.

И они публично признают его правоту.

Да, это будет истинный триумф — победа юного диссертанта над всей медицинской наукой. Но обеспечить такой триумф заурядный ум был бы неспособен. Он устроил бы глупую демонстрацию, пошел бы напролом — и его не пустили бы даже в прихожую ученого совета.

В сущности, докторская диссертация, которую намеревался защищать Ясперс, представляла собой квалификационную работу. Она являла собой нечто среднее между дипломной работой и кандидатской диссертацией в современной России. Тот, кто защищал такую работу на ученом совете, становился полноправным медиком, достойным работать в университетской научной клинике.

Только сознавая это, и можно в полной мере оценить честолюбивый замысел К. Ясперса: во время такой защиты, когда заурядные люди смиренно добиваются принятия в университетское медицинское сообщество, он собрался опровергнуть основные принципы медицины! Да притом так, что его защиту признают успешной ученые, медики.

Они, стало быть, поверят его доказательству.

И только тогда *он сам* поверит ему — поверит тому, что его душа сможет восторжествовать над телом и исцелить его.

Главная проблема здесь — чтобы тебя допустили с такой темой к защите и не прерывали, не уходили, хлопнув дверью, а выслушали до конца.

Надо быть редким хитрецом, чтобы сформулировать тему надлежащим образом — так, чтобы диссертацию приняли к защите. Тут надо хорошенько прикрыть свои намерения и подлинные мысли, но не скрывать совсем — чтобы люди *разумные* заметили и все поняли из сказанного немногословно. Чтобы им открылся не только текст, но и подтекст.

Карл Ясперс выносил и реализовал замысел, который сделал бы честь хитроумному Одиссею.

Итак, повторим: ему, Карлу Ясперсу, надо было доказать себе (и заодно — другим), что душа человека может воздействовать на соматические процессы. Если доказать это, появится шанс жить долго. Врачи говорят, что телесные процессы делают неотвратимой мою смерть на третьем десятке лет, а я докажу, что силы, которые кроются в душе, способны повлиять на соматические процессы, замедлять развитие заболевания и, значит, существенно продлить мою жизнь.

Ясно, что доказать это себе (а заодно — другим) нужно *научно*. Священники уже давно говорят о том, что возможны

чудесные исцеления, что можно вымолить себе здоровье у Бога. Но К. Ясперс — по примеру своего отца — в Бога не верил. Он верил в науку. Значит, возможность влияния души на тело следовало продемонстрировать средствами *науки, и только науки,* к примеру, так: успешно защитить посвященную этому влиянию работу перед авторитетной комиссией — перед ученым советом, состоящим из светил медицины. Но такой ученый совет даже не примет к защите работу, в которой все называется своими именами. Он даже не будет слушать человека, который предлагает исследование на тему «О влиянии души на исцеление тела». Члены совета, услышав такую формулировку темы, просто встали бы дружно и удалились в знак возмущения. Такие темы на медицинском факультете были запретными, так как считались проявлением абсолютного шарлатанства и невежества.

Что думали врачи во времена студенчества К. Ясперса о возможности *влияния души на тело*? Мы намеренно выбираем столь традиционную, откровенно «метафизическую» формулировку, поскольку не считаем, что последующее словесное творчество, поиск «более научных» и «более строгих» терминов позволил хоть немного продвинуться в решении проблемы.

Врачи различных специальностей думали о влиянии души на тело по — разному. Скажем, инфекционисты вообще не имели никаких мыслей на эту тему: им даже и в голову не приходило допускать возможность лечения расстройства желудка усилием души пациента. На аналогичных позициях стояли хирурги, которые всегда тяготели к механистическому материализму: человек представлялся им машиной, в которой надо починить или заменить какую-то деталь, а у машины души нет. И терапевты тоже предпочитали не полагаться в своей работе на целительные силы души, ограничиваясь вполне материальными воздействиями на соматические процессы.

Пожалуй, о влиянии души на тело из всех врачей размышляли только психиатры, ставя вопрос специфически, в соответствии с профессией: влияет ли на психические заболевания («заболевания души») тело или же они возникают по причине «внутренних» разладов в самой душе?

Карл Ясперс завершил свое образование на медицинском факультете стажировкой в университетской психиатрической клинике города Гейдельберга, в учреждении весьма уважаемом. Эта клиника открылась всего за пять лет до рождения Карла Ясперса, в 1878 году. Вначале ею заведовал выдающийся теоретик психиатрии того времени Эмиль Крепелин. После его отъезда из Гейдельберга в Мюнхен в 1904 году клинику возглавил Франц Ниссль (1860–1919). Он был выдающимся врачом. Врачу славу

обычно приносят или знаменитые пациенты, или открытые им новые методы лечения, или достижения в науке. Ниссль отметился во всех трех областях. Он лечил безумного баварского короля Отто I. Он первым произвел пункцию спинного мозга. Он открыл изменения в клетках головного мозга, сопряженные с некоторыми психическими заболеваниями. Словом, врачи в клинике были авторитетными, и мнения их соответствовали уровню медицинской науки того времени. Какими же были эти мнения?

В «Философской автобиографии» Карл Ясперс написал, что все врачи клиники делились на два лагеря. Одни из них придерживались принципа Гризингера — «психические заболевания суть болезни головного мозга», то есть были ярко выраженными материалистами. Такой позиции, естественно, придерживался и руководитель клиники, который в своих работах доказывал происхождение психических заболеваний от изменения в тканях мозга. Другие придерживались принципа Шюле — «психические болезни суть болезни личности». Разумеется, и эта группа врачей связывала психические заболевания с соматическими процессами, однако, их позиция была более гибкой: они полагали, что индивидуальная, неповторимая жизнь человека накладывает свой отпечаток на то, как у него развивается и протекает психическое заболевание, имеющее соматическую основу.

Сторонники первой точки зрения полагали, что психические болезни надо лечить, воздействуя на головной мозг. Лучше всего это можно было делать с помощью лекарственных средств. Следовательно, личность больного при лечении можно было не принимать во внимание: таблетки и инъекции действуют независимо от особенностей личности, непосредственно на организм. Вторая точка зрения была равносильна признанию того, что психические болезни протекают всякий раз с индивидуальными особенностями, а потому лечить следует не больного, а человека: надо принимать во внимание уникальность, неповторимость его личности. Тем не менее, даже сторонники второй позиции никогда не доходили до столь крамольной мысли, что соматические заболевания могут быть вызваны психическим состоянием личности. Вспоминая это время, Ясперс писал в «Философской автобиографии»:

«Было принято различать биографические процессы как процессы развития личности, которая претерпевает постоянные изменения, переходя от одной жизненной фазы к другой, и процессы, в результате которых происходит насильственный перелом, ведущий к радикальному перерождению человека, —

перелом, вызванный причинами, которые неизвестны, но которые предполагаются органическими. Тогда, около 1910 года, в психиатрии еще безраздельно господствовала соматическая медицина. Влияние Фрейда ограничивалось весьма узкими кругами. Попытки давать объяснения психологического свойства считались субъективистскими, пустыми и от науки далекими»[С. 219–220].

Иными словами, споры шли между крайними материалистами вульгарного толка и материалистами умеренными. Идеализм среди врачей однозначно рассматривался как шарлатанство — вроде лечения болезни заговором. Но, как мы помним, Карл Ясперс с детства ничуть не уступал в хитроумии Одиссею. Он весьма напоминал тех монахов, которые попросили у Римского папы позволения курить во время всенощной молитвы, поскольку невозможно выдержать без курения всю ночь, а когда получили отказ, то попросили папу разрешения молиться во время курения — и такое разрешение получили.

Карл Ясперс вовсе не собирался называть свою диссертацию «О возможности влияния психики на соматику», или «О психических факторах, вызывающих заболевания тела». Он, как уже было сказано, никогда не шел на рожон, не лез напролом, как это свойственно людям, которые были в детстве сильными и здоровыми. Нет, он придумывал затейливые обходные пути, чтобы прийти к нужным ему, заранее определенным выводам, но когда эти выводы совершенно шокировали ученое сообщество, он делал вид, что никак не ожидал такого результата и тоже обескуражен им. Именно с таким расчетом и была выбрана тема для диссертации выпускника медицинского факультета Карла Ясперса — «Тоска по родине и преступления». Ее актуальность и социальная значимость не вызывали ни малейших сомнений. Незадолго до того, как К. Ясперс приступил к работе, не только Германию, но и всю Европу потрясли громкие уголовные дела. Они были однотипными — как будто бы строились по одному шаблону.

Родители из бедных крестьянских семей не могли прокормить свое многочисленное потомство. По этой причине они отправляли девочек — подростков в услужение к родственникам, где те нянчили маленьких детей — часто без всякой оплаты, просто за еду. Девочки — подростки испытывали острую ностальгию по родительскому дому. Они убегали домой, но родители приводили их обратно, со следами побоев. Они говорили дочерям, что дома их нечем кормить, и возвращали к богатым родственникам. Девочки начинали болеть. Они

тосковали, теряли аппетит, жаловались на недомогания. Картины жизни в родительском доме постоянно стояли у них перед глазами, родные и близкие ласково звали их. Желание вернуться домой оказывалось настолько острым, настолько непреодолимым, что девочки приходили к безумной мысли: единственное, что их держит на чужбине — ребенок, за которым они ухаживают; если его не будет, им разрешат вернуться домой. В состоянии такого умопомрачения девочки убивали подопечных детей — и представали перед судом.

Юристы при рассмотрении этих дел сталкивались с новым для себя казусом: с *ностальгией как психическим заболеванием,* которое проходит бесследно. Они, естественно, должны были ответить на вопрос: вменяемы ли девочки — убийцы? Если ностальгия это не заболевание, то девочки психически здоровы, а, значит, должны ответить за свои преступления. Но ведь ностальгию до сих пор никто не рассматривал как психическое заболевание. Она рассматривалась как тоска по родине, то есть как чувство, свойственное всякому человеку, оказавшемуся на чужбине. Это чувство присуще каждому — и заслуживает позитивной оценки. Ведь тот, кто тоскует по родным краям — патриот. А поэтов тоска по родине заставляла писать прекрасные стихи. Положенные на музыку, эти стихи становились народными песнями, исполнение которых хором всячески сплачивало земляков. Что же это за болезнь такая, спрашивается, — ностальгия? Это попросту прекрасное и похвальное чувство. Можно ли за такое чувство судить?

Но даже если мы допустим, что это чувство было непреодолимо сильным, настолько сильным, что оно сводило с ума и заставляло совершать убийство, можно ли в этом случае рассматривать девочек как психически невменяемых?

Обычно суд выясняет, может ли подсудимый нести ответственность за свои действия. Если оказывается, что подсудимый здоров, он считается вменяемым — и присуждается к определенному наказанию. Если же выясняется, что подсудимый психически болен, его отправляют на лечение. Но как-то подразумевается само собой, что психическое заболевание подсудимого — дело затяжное, оно требует долгого лечения, в специализированной клинике, пациенты которой изолированы от общества. Так что получается нечто вроде заключения в тюрьме: убийца долго не навредит людям.

В случае с девушками все было иначе.

Да, они совершили убийства в состоянии крайнего душевного смятения — в приступе ностальгии. Но сразу же после убийства это их душевное смятение проходило — от одной только мысли,

что теперь их ничто не держит на чужбине и, значит, они будут отправлены домой, к родителям. Подумав так, они сразу же успокаивались и переставали чем-либо отличаться от психически нормальных людей.

Стало быть, речь шла о чем-то, доныне неизвестном в судебной практике — о *временном* безумии, *временной* невменяемости. Юристы Германии обратились к университетским психиатрам Гейдельберга с запросом, возможно ли такое. Психиатры ответили, что в случае с ностальгией дело обстоит именно так: психическое расстройство, вызываемое ею, настолько остро и сильно, что человек не может считаться вменяемым во время этого расстройства. Однако это расстройство может быстро и бесследно пройти, и человек снова превратится в практически здорового. (Одну из девочек — убийц, которую суд признал невменяемой в момент совершения преступления, оставили работать санитаркой в психиатрической клинике Гейдельберга).

Все это, естественно, не могло не иметь самого широкого общественного резонанса. Вот живет на свободе убийца, который лишил жизни беспомощного ребенка. Никакого наказания этот убийца не понес, потому что, видите ли, сильно тосковал по родительскому дому. В момент убийства он был невменяем. Но — *моментально* выздоровел. Так что теперь этот убийца вполне нормален. Но вот надолго ли? Вдруг он затоскует по дому опять, нынче же вечером? И что же, он опять безнаказанно кого-то убьет?

Как ни посмотри, а тема для диссертации Карлом Ясперсом была выбрана безошибочно. Ее социальная важность не вызывала ни малейшего сомнения. Диссертант начал именно с того, что подчеркнул общественный резонанс, вызванный преступлениями на почве ностальгии:

> «Уже долгое время интерес вызывают совершенные с невероятной жестокостью и безудержной беспощадностью преступления (убийства и поджоги), которые осуществлялись нежными созданиями, юными и добросердечными — девочками, еще совсем детьми. Несообразность деяния и того, кто это деяние совершил, отсутствие мотивов или недостаточная мотивированностъ, и, как следствие, загадочность и непостижимость событий возбуждали сочувствие либо вызывали отвращение. Уже давно некоторых из этих индивидов было принято единодушно признавать слабоумными либо идиотами в моральном отношении. Вызванные незначительными поводами аффекты или

> слепые импульсы толкали их на преступление. Более ста лет назад, наряду с этим, начали рассматривать — как собственно причину произошедшего — ностальгию. Работа Вильманнса “Ностальгия и импульсивное сумасшествие” снова поставила вопрос о значении этого состояния для совершения преступлений и о его толковании в психиатрии — вопрос, который на протяжении долгого времени оставался без внимания. Поскольку существуют различные точки зрения, притом, что случаи подобного типа вообще не проанализированы в целом, представляется целесообразным собрать воедино и обработать концептуально тот скудный эмпирический материал, который существует в этой области, что, вероятно, позволит внести некоторую ясность в этот вопрос, но, разумеется, не позволит дать его окончательное решение»[85].

Расчет Карла Ясперса при выборе темы был сложен и выверен ювелирно. Настоящий ученый не любит, когда общественная значимость темы чересчур бросается в глаза. То, что привлекает живейший интерес публики, то есть профанов, как правило, не стоит серьезного научного исследования. Пусть они, профаны, судачат о конце света, об инопланетянах, о биополях и прочем. Настоящий ученый предпочтет проблемы более серьезные. Так что Карл Ясперс, начав с актуальности работы, тут же делает поворот на 180 градусов и говорит, что одного интереса публики недостаточно, чтобы выбрать тему для диссертационного исследования. Но ностальгия — вовсе не предмет интереса только профанов. Вот, смотрите, на протяжении веков (!) исследованием этой темы занимались самые серьезные ученые — медики. Так что диссертант отнюдь не выдумал ничего нового и вовсе не гонится за сенсациями. И здесь К. Ясперс демонстрирует просто наивысшее научное смирение и послушание: он заимствует формулировку своей темы у Фердинанда Маака, дословно копируя название его книги «Тоска по родине и преступления»[86].

Вот, смотрите, даже формулировку темы придумал не я! Я всего лишь продолжаю исследование, начатое десятилетия назад!

Второй аргумент, призванный доказать научность темы — ссылка на статью научного руководителя К. Ясперса, доктора Вильманнса, которая называлась «Ностальгия или импульсивное сумасшествие» и была опубликована в журнале «Ежемесячник по криминальной психологии и реформе уголовного права». Диссертант набирает еще одно очко за научное смирение — его

диссертация представляет собой скромное продолжение исследований уважаемого научного руководителя, главного врача клиники. Правда, больше научную значимость темы доказывать нечем: немецких публикаций о ностальгии как психическом заболевании просто нет. Любой современный ученый легко заметит это по списку литературы, который приводит К. Ясперс в диссертации. Для придания солидности библиографическому списку диссертант включает в него даже… учебники для студентов, а также названия всех работ, которые имеют хотя бы отдаленное отношение к его теме — например, ученые рассуждения о типах женщин — заключенных (зачем они, ведь в диссертации не говорится ни о женщинах, ни о заключенных!?) и статьи о детской преступности вообще. В результате таких манипуляций список использованной литературы получился солидным, в нем 86 названий научных трудов. Но он показывает — на немецком языке про ностальгию написано убийственно мало!

Зато *на французском языке* существуют десятки работ, посвященные ностальгии! Есть даже специализированные исследования: две работы посвящены описанию тоски по родине у солдат во время войны.

И это — третья хитрость Ясперса.

Со времен франко — прусской войны французы воспринимались немцами как соперники во всем. Если что-то сделано французами, это должны были сделать и немцы, превзойдя французов!

Ностальгия должна быть изучена немцами, потому что этого требует не только актуальность и научная значимость темы — этого требует национальный престиж, национальная гордость Германии! Все это вполне явствует из обзора литературы по ностальгии в диссертации. Почему французы написали о ностальгии в несколько раз больше, чем немцы? Означает ли это, что они испытывают более острую тоску по родине? Нет, разумеется.

Все французские работы написаны после длительных походов наполеоновской армии, во время которых врачи и собрали немалый материал о тоске по родине и ее пагубном влиянии на здоровье. Публиковались эти работы в 30–50–е годы XIX века, то есть со времени их выхода в свет прошло уже более пятидесяти лет. Так неужели же немцы будут и дальше терпеть отставание от французов в этой области? Нет! Проблему ностальгии надо срочно исследовать!

* * *

Итак, выбор темы обоснован.

Теперь надо продуманно выстроить диссертацию.

Человек бесхитростный поступил бы так: он начал бы с описания нескольких случаев — казусов, зафиксированных в историях болезней и в научных публикациях. У самого К. Ясперса было несколько историй болезней, которые сводились к одной формуле: девочки — подростки, отданные работать «в людях» вдали от родного дома, испытывали ностальгию, у них пропадал аппетит, появлялись телесные недомогания и недуги; заканчивалось дело тем, что тоска по родине становилась невыносимой — и они совершали преступления, надеясь, что их отпустят домой.

Итак, простодушный человек на месте К. Ясперса наверняка начал бы с такого конкретного рассмотрения отдельных случаев-казусов, с описания конкретных историй болезни — и попытался бы показать, что ностальгия привела к совершению преступлений. Болезнь — тоска по родине — вызвала соматические изменения, значит, психические состояния могут влиять на соматические, душа способна влиять на тело. Этим философским выводом простодушный человек и закончил бы — и *в результате с треском провалился бы на защите.*

Почему?

Да потому, что врачи с большим или меньшим интересом выслушали бы описания конкретных историй болезни, но тут же усомнились бы в праве исследователя на широкие обобщения. Положим, из истории болезни следует, что девочка — подросток, отданная «в люди», затосковала по дому и перестала есть. Она похудела, у нее стал болеть желудок. Следует ли из этого общий вывод, что душа может влиять на тело? Где тут причина, а где следствие? Может быть, все наоборот? Девочке не понравилась пища, которой ее кормят «в людях», у нее от этой непривычной пищи начинает болеть желудок, и она начинает тосковать по дому — по той пище, которую готовила мама? Тогда получится, что состояния тела влияют на состояния души, а не наоборот…

Вывод, который сделали бы предвзято настроенные медики-материалисты, был бы однозначным: материалов наблюдений мало, собирались они не только и даже не столько врачами, сколько следователями, так что однозначных выводов делать на основании этого материала нельзя. Конечно, мы должны пристально наблюдать и полагаться на свои наблюдения в каждом конкретном случае. Но вот что касается широких обобщений, то здесь свою фантазию диссертант должен попридержать. Если мы допустим, что душа может влиять на тело, на протекающие в нем физиологические процессы, то нам,

чего доброго, придется признать, что болезни тела можно лечить заговорами, молитвами, шаманским камланием. Вот, к примеру, началась у человека ностальгия — и разладилась, как доказывает диссертант, работа желудка. Так, может, излечить его выступлением юмориста, который отвлечет от тоски, или веселой музыкой? От хорошего юмориста, глядишь, и желудок сразу пройдет. Всем, кто несет подобную чушь о возможности влияния души на тело, надо предложить провести элементарный эксперимент: пусть попытаются усилием мысли хотя бы ускорить собственный пульс! Они быстро убедятся в том, что душа на тело влиять не может…

К подобным шуткам и насмешкам вся защита и свелась бы. А наиболее принципиальные медики встали бы и с негодованием удалились бы в знак протеста, не дожидаясь конца защиты.

Все это хитроумный Карл Ясперс, конечно же, сознавал: защитить работу, которая начнется с описания опытных данных и завершится широкими теоретическими обобщениями, не удастся. Не любят медики широкие теоретические обобщения.

Поэтому он решил построить работу иначе.

Он начал с обширного исторического экскурса. Но, проводя такой экскурс, он не просто перечислил работы и точки зрения. Он — *исподтишка, втихомолку, не называя кошку кошкой* — выделил несколько общих подходов к пониманию ностальгии.

В сущности, все эти подходы сводились к двум основным.

Первый — *вульгарно — материалистический* — заключался в признании того, что тоска по родине вызывалась какими-то вполне определенными телесными недомоганиями и недугами, а эти последние возникли, в свою очередь, под действием вполне материальных факторов. В грубом виде такой ход мысли выражает формула, используемая ныне эстрадными юмористами: «Что ты грустный такой? Наверное, съел что-нибудь». Человек начинает тосковать по родине, когда его желудок расстраивается от непривычной пищи или воды иного химического состава. Ностальгию может вызвать перемена воздуха. И так далее.

Второй подход, который выделяет Карл Ясперс, изучив литературу о ностальгии за несколько прошлых веков, является откровенно *идеалистическим.* Он сводится к тому, что именно тяжелые психические переживания, связанные с тоской по родине, вызывают у человека телесные заболевания. Стоит снять психическое напряжение, как телесные заболевания стремительно проходят. Причем проходят быстро, и проходят в том же климате, с той же водой и с пищей того же химического состава.

Хитроумный, как Улисс, Карл Ясперс постоянно делает вид, что он сам всего лишь регистрирует мнения медиков прошлого,

сохраняя полную объективность: он не отдает предпочтения ни первому, ни второму подходу, будучи одинаково беспристрастным при их описании. Но подбирает диссертант такие примеры из медицинской литературы, что никаких сомнений не остается: первый, вульгарно — материалистический подход, несостоятелен и смехотворен, а второй подход — признание приоритета психического над соматическим в некоторых экстремальных жизненных ситуациях — единственно верен.

Таким образом, диссертант незаметно превращает исторический раздел (изложение мнений медиков прошлого) в теоретический: он окольными путями подводит к теоретическому, обобщающему выводу, не формулируя его и не выставляя его на открытое обсуждение. Этот теоретический вывод, который буквально *напрашивается* уже в самом начале диссертации, состоит именно в том, что и требуется доказать: состояние души может повлиять на состояние тела. Но возможные критики даже не успевают толком понять, что именно доказывает диссертант, ведь хитроумный Ясперс, демонстрируя мягкость психиатра, уже отступил, избегая всякого нажима и насилия. Он не развивает и не закрепляет успех. Он знает, что восстановить против себя человека легче всего, одержав над ним верх в теоретическом споре. Поэтому он не настаивает на доказанном тезисе. Разумному достаточно, а неразумный все равно не поймет.

Чтобы успокоить сообщество ползучих эмпириков и вульгарных материалистов, Карл Ясперс засыпает их бездной конкретного материала — подробнейшими историями болезней и судебными протоколами. Готовый возмутиться против теоретических выводов, медик потихоньку успокаивается, слушая монотонное изложение фактов во всей их подробности. Ему начинает казаться, что не было никакой теории в первой части — так, имел место всего лишь исторический экскурс с забавными выводами, но ведь все прошлое точных наук забавно. Только настоящее их серьезно, а будущее прекрасно. Зато прошлое — один сплошной анекдот: всякие там эфиры, теплороды, учения о самозарождении паразитов из грязного белья и тому подобное. В общем, можно не принимать всерьез теорию о том, что состояние души может влиять на состояние тела. В прошлом ученые выдумывали и еще более смешные вещи. Жаль, конечно, что диссертант потратил столько времени на рассмотрение исторической чуши и ерунды. Но потом он исправился и стал рассматривать реальные факты. Он заслуживает присвоения искомой степени.

Чтобы убедиться в том, что хитроумный план диссертанта

Ясперса, описанный нами, действительно существовал, достаточно сопоставить первую и вторую части диссертации. Первая часть посвящена истории психиатрии и, в частности, истории рассмотрения ностальгии в медицинской литературе. В принципе, ее одной было бы вполне достаточно — во всяком случае, в зрелые годы К. Ясперс писал свои работы именно так: история мысли плюс теоретическое осмысление достигнутых результатов. Что нужно еще? Зачем добавлять к этому вторую часть — приводить во всех подробностях душераздирающие «истории болезней», больше напоминающие примитивные и скудоумные протоколы судебных заседаний? Так ли они ценны, эти *эмпирические факты*? Пусть читатель решит сам, добавляют ли сенсационные истории болезней девочек — убийц что-либо существенное к тому, что Карл Ясперс уже изложил в первой части диссертации, где осуществлен экскурс в историю психиатрической мысли и осмыслению его результатов? Или же этот сенсационный, но малоценный материал призван всего лишь смягчать впечатление от первой части диссертации, где столь убедительно опровергается медицинский вульгарный материализм и ползучий эмпиризм?

Девочки — убийцы с хорошими задатками: о ценности эмпирического материала в психиатрии

Надо признать, что человек двадцать первого века, который видит на телеэкране сотни (!) убийств в месяц, конечно, в значительной степени утратил остроту их восприятия. Но даже его способны покоробить описания того, как одни дети убивают других детей. А представим, как были восприняты подобные сообщения читателями девятнадцатого века, в котором убийства еще не были *массовыми* — ни в жизни, ни на экранах!

Тот, кто представил себе это, легко согласится, что материалы из второй части диссертации Карла Ясперса способны отвлечь кого угодно от чего угодно. Они не просто потрясают — они заставляют содрогаться, негодовать, испытывать ярость и сострадание одновременно. И при этом они написаны строго научным, бесстрастно — протокольным стилем. Надо быть гениальным писателем, чтобы написать трагедию в протоколах. Но некоторым врачам, которые становятся писателями, это блестяще удается. Многие рассказы А. П. Чехова напоминают истории болезни. У него, кстати, тоже есть страшный рассказ «Спать хочется» — про изнемогающую от усталости девочку — няньку, которая убивает своего подопечного младенца, чтобы вздремнуть хотя бы ненадолго. Но там причиной всему — не

ностальгия, а дикая усталость, вызванная беспощадной эксплуатацией.

Почитаем же истории болезни, которые Ясперс приводит во второй части диссертации, не переставая задавать себе при этом такие вопросы: «В какой мере это психиатрия?» и «В какой мере эти истории ценны для психиатрии?» Естественно, нам придется при этом привести эти истории болезни во всей полноте, без купюр, чтобы не было подозрений в том, что было опущено что-то ценное.

Несколько позднее, в работе о бреде ревности, К. Ясперс счел нужным оправдаться за чересчур подробные истории болезней, которые он приводит. Он сказал, что в психиатрии без таких подробных историй болезней нельзя: один врач просто не сможет помочь другого. Почему — скажем позже. Не будем забегать вперед. Просто попросим читателя набраться терпения.

Вот история болезни той девочки — подростка, экспертизу вменяемости которой проводил учитель К. Ясперса, доктор Вильманнс.

«Аполлония С., третий ребенок в семье каменотеса, родилась в 1892 г. У нее восемь братьев и сестер в возрасте от полутора до восемнадцати лет. Родители живут в большой бедности, зарабатывая поденной работой. Отец, по собранным о нем сведениям, иногда выпивает, мать однажды совершила кражу, но больше ничего порочащего о них не рассказывают. Жена давно не совершает правонарушений, муж не является законченным пьяницей и выполняет свои обязанности по дому. И, тем не менее, воспитание детей характеризуется как неудовлетворительное.

Аполлония закончила обучение в школе, пройдя все классы. Сведения, которые сообщают о ней учителя и священники, несколько различаются. Одни считают, что она была достаточно хорошей ученицей со средними способностями, другие — что ее способности были выше средних, третьи (например, викарий) — причисляют к худшим ученицам. Но все в один голос неоднократно жалуются на недостаточное ее прилежание, даже лень. Однако учитель, который учил ее семь лет, говорит: “Девочка всегда была прилежной, и я имел все основания быть довольным ею”.

Она всегда была стеснительной и сдержанной в поведении; если ее наказывали, проявляла обидчивость и строптивость, была очень чувствительна к порицаниям и дольше, чем другие дети, оставалась замкнутой и надутой. Однако не было оснований говорить о своенравии и упрямстве.

Будучи старшеклассницей, она присматривала за младшими

братьями и сестрами, которые были к ней очень привязаны. В конце концов, ей пришлось, по существу, в одиночку вести домашнее хозяйство, поскольку ее родители все чаще уходили на заработки.

Родные и близкие в один голос называют ее тихой и скромной, старательной и послушной; за ней никогда не замечали склонности ко лжи, нечестности, проявлений жестокости или стремления мучить братьев и сестер»[87].

Сделаем паузу и поразмыслим над сказанным. Кто мог бы написать этот текст? Исключительно психиатр в своей научной диссертации? Конечно, нет. Его мог написать участковый, мог написать завуч, мог написать сотрудник органов надзора и опеки. Ничего специфически медицинского в этом описании нет. Едва ли оно дает что-то особо ценное для психиатрической науки в понимании коллег Ясперса по Гейдельбергской клинике, а уж тем более не дает ничего для понимающей, экзистенциалистской психиатрии, которая углубляется во внутренние переживания пациентов.

Описываются только внешние обстоятельства. К тому же суждения различных людей о больной в детстве различаются, иногда даже исключают друг друга. Единственное, на что мог бы обратить внимание психиатр, это отсутствие дурной наследственности и жестокости к детям, которая проявлялась бы ранее. Родители не были преступными типами (о которых так любили рассуждать в девятнадцатом веке). Маленьких детей девушка не обижала — наоборот, заботилась о младших в семье, хотя ей приходилось тяжко: она училась в школе, а родители подолгу отсутствовали. В общем, напрашивается вывод: только внезапные сильные переживания — тоска по родине — заставили девочку совершить ужасное преступление. Дальнейшее описание жизни девушки призвано укрепить этот вывод.

«Когда в 14–летнем возрасте Аполлония закончила школу, нищета в родительском доме заставила ее сразу же пойти в услужение к чужим людям. Она пошла охотно и обрадовалась, что нашлось такое место работы. Семья супругов Антон была состоятельной, там ее приняли хорошо. Питание и условия проживания были значительно лучше, чем те, к которым она привыкла. Трое детей были настроены к ней дружелюбно, она пользовалась их доверием. Обязанностей у нее было не больше, чем в родительском доме.

Несмотря на все это, с первых дней работы служанкой девушку охватила сильная тоска по родному дому, она тосковала по своим родителям и даже по жизни в бедности. Когда ушла мать, которая ее привела, она разрыдалась, и все последующие

дни ее видели плачущей.

Скоро она стала настойчиво просить, чтобы ее отпустили домой. Супруги, на которых она произвела хорошее впечатление, делали все, чтобы скрасить ей жизнь. С ней обращались хорошо, жена пыталась порадовать ее пирогами, муж обещал купить ей пару новых ботинок, если она будет вести себя хорошо. Но в ответ на каждое обращение к ней она начинала плакать или не отвечала, никак не реагируя.

Вскоре она стала работать спустя рукава. Она пренебрегала работой, не заботилась о детях, сделалась угрюмой, неприветливой, все вызывало у нее отвращение. Правда, она делала то, что ей было поручено, но иногда — только после неоднократных требований; она никогда не выполняла работы с радостью и должным прилежанием. К детям она не проявляла особого интереса, не играла с ними, никто не видел, чтобы она смеялась и шутила с ними. Оставшись без надзора, она бездельничала.

У нее был плохой аппетит; иногда, когда семья садилась за стол, она плакала в сторонке и отказывалась съесть что-нибудь. Приходилось заставлять ее садиться за стол и есть. Иногда она совсем отказывалась кушать и ела лишь тогда, когда мать семейства позднее давала ей что-нибудь со стола с собой.

Работу служанкой она совмещала с учебой в средней профессиональной школе. Учителя не замечали, чтобы у нее был печальный и несчастный вид. Одной из одноклассниц она казалась грустной. По окончании школьных занятий она не искала общества соучеников. Другая одноклассница считает Ап. заносчивой, поскольку она чересчур много смеялась над ее грамматическими ошибками и дразнила ее.

22 апреля, в первое воскресенье после начала работы служанкой, которое пришлось на 17 апреля, она отправилась домой к родителям. Когда хозяйка разрешила ей это, она очень обрадовалась и засмеялась, чего позднее не случалось. Придя домой, она была чрезвычайно рада, целовала и прижимала к сердцу младшего братика, потом принялась плакать, а когда выплакалась, сказала, что никак не может освоиться в чужом доме и умоляла мать не отправлять ее обратно. Мать наотрез отказала ей в этом, отец отказал тоже; Ап., подчинилась неотвратимому, вспомнив, как ее брата Евгения неоднократно пороли за то, что он, тоскуя по дому, убегал с места, где служил. Она прекратила плакать и ушла, не прощаясь. Мать догнала и немного проводила ее.

Вечером она услышала от матери семейства Антон, что лекарство для младшего мальчика содержит яд. Аптекарь велел

поэтому давать ему не более одной ложки; две ложки могут содержать смертельную дозу. В следующую среду (25 апреля) семья отправилась на полевые работы. Она осталась дома одна с ребенком. Ее снова охватила сильнейшая тоска по дому. Тогда ей в голову пришла мысль: “Если я сейчас дам А. больше двух ложек лекарства, он умрет, и меня снова отпустят домой”. Чтобы не оставить пятен на одежде ребенка, она положила ему под подбородок тряпки, а затем дала ему несколько столовых ложек лекарства. Тряпки, испачканные пролившейся жидкостью, а также бутылку она тщательно спрятала. Но ее намерение убить ребенка не осуществилось. Лекарство явно не повредило.

Хозяйка уже заметила, что Ап. после первого посещения родительского дома стала намного печальнее, а потому сказала ей, что она может возвращаться к родителям, если не может прижиться. Это предложение она повторила спустя несколько дней. Оба раза она не получила никакого ответа.

В следующее воскресенье (29 апреля) Ап. окликнула мужчину, который направлялся в ее родные места, и попросила его передать родителям просьбу, чтобы кто-нибудь из них навещал ее каждое воскресенье. В тот же день пришла ее сестра Текла (санитарка), которая увещевала ее и утешала, говоря, что ей тоже рано пришлось покинуть дом, что каждый должен привыкнуть к своей работе. После этого Ап., несомненно, приободрилась, но продолжалось это недолго. В следующее воскресенье (6 мая) на просьбу отпустить ее домой она получила отказ. Она была заметно огорчена, но промолчала и не высказала сожаления. Настроение у нее было по- прежнему плохим. Однажды она попросила взять ее с собой на полевые работы, потому что дома, оставаясь одна, она слишком сильно тоскует по дому. В следующие недели, судя по внешнему виду, ее состояние, скорее, улучшилось; когда тоска по дому стала безнадежной, внезапно снова появилась мысль избавиться от младшего ребенка — чтобы нужды в ней больше не было и ее отправили домой. Будучи убеждена в том, что и в следующее воскресенье ее не отпустят домой, она в субботу вечером решила, что ночью бросит ребенка в реку, чтобы в воскресенье ничто не мешало ей отправиться в родительский дом. С этой мыслью она решила отправиться спать в половине девятого и быстро заснула. Пробудилась она, когда уже светало. Она тотчас же поднялась, намереваясь исполнить задуманное, надела нижнюю юбку, рабочую блузку, верхнюю юбку и чулки, осторожно, беззвучно спустилась по лестнице и через кухню и кладовую прокралась в спальню хозяев. Не разбудив их, она взяла мальчика из детской коляски и вышла на улицу через гостиную, умывальную комнату,

хлев и склад кормов. Все двери она оставила открытыми; по ее словам, ребенок не спал, глаза его были открыты, но он не закричал. Она быстро побежала с ним по мосту через реку, с крутого на пологий берег, и там бросила в воду. Не оборачиваясь, она поспешила тем же путем обратно, разделась и легла в постель.

Спустя четверть часа хозяин дома взбежал по лестнице, крича, что ребенок пропал. Она снова оделась и приняла участие в поисках ребенка, была спокойна и ничем не выдала себя. Немедленно после этого, без четверти четыре утра отец ребенка явился к полицейскому и сообщил, что ночью был похищен его младший сын. Поскольку в ходе дальнейшего расследования подозреваемых не было выявлено, предположили, что от ребенка избавился один из родителей. На следующий день они были взяты под стражу. При их задержании Ап., которая должна была остаться с детьми, расплакалась. Убийство ребенка вызвало в деревне очень большой резонанс, священник совершил молебен о разоблачении преступника.

Но лишь три дня спустя Ап. созналась на повторном допросе в содеянном, рассказав то, что было изложено выше. Она добавила: “Я знаю, что совершила очень плохое дело и что из-за моей лжи хозяева оказались в тюрьме. Я призналась бы в преступлении сразу, в понедельник, но боялась, что меня арестуют. Я вполне сознавала, что ребенок в реке погибнет, но я любой ценой хотела попасть домой. Мне известно, что людей убивать нельзя, я знаю десять заповедей. Я не знала, что меня приговорят за это к смерти — знала только, что посадят в тюрьму”. Поначалу она отрицала, что совершила попытку отравления, и придумала, будто проткнула пузырек штопальной иглой, и лекарство вытекло, так что пришлось вытирать его тряпкой. Позднее она созналась и в этом поступке.

Супругов Антон немедленно освободили, Ап. была арестована. Тем временем, в реке был найден труп мальчика.

Тоска по дому, которую оттеснили на задний план ужас от содеянного, переживание несчастья, которое она вызвала, страх разоблачения, и, наконец, арест, постепенно окрепла снова, но не достигла предельной остроты. Находясь в тюрьме, она первое время была очень подавлена и много плакала. Когда ее спрашивали о причине слез, она говорила: “Я хочу домой”, к этому она ничего не добавляла. Вскоре ей полегчало. Обязанности, возложенные на нее, она выполняла послушно и прилежно.

Непостижимость данного казуса, противоречие между добродушным характером девушки — подростка, ее детским

складом ума и жестокостью преступления привели к тому, что юристы обратились с запросом к окружному врачу, чтобы он вынес заключение по данному делу. Тот переадресовал запрос в Психиатрическую клинику Гейдельберга»[88].

В сущности, ни о какой психиатрии речь пока не идет. Это материал, предоставленный юристами различного рода, от следователей до тюремных надзирателей. Но идет ли речь о психиатрии в истории болезни, составленной врачами? Продолжим чтение.

Наблюдения клиники

Физическое обследование:

«…Четырнадцатилетняя девочка — подросток невысокого роста, хрупкой телесной конституции, средней упитанности. Формы тела еще детские, грудь мало развита, волосы на лобке редкие, под мышками едва пробиваются. Менструации еще не начались. Ап. проявила себя как чрезвычайно застенчивый и робкий ребенок. Первые дни, когда ей еще был предписан постельный режим, она вообще не заговаривала ни с кем по собственной инициативе. Настроение ее было заметно подавленным, она испытывала страх и много плакала. От нее нельзя было добиться ответа даже на самый простой вопрос. Она не искала ни с кем контактов и противилась любой попытке наладить с ней отношения. При этом она, однако, не проявляла недружелюбия и не была замкнута в себе — наоборот, выполняла любое требование, которое ей предъявляли, и выполняла возложенные на нее небольшие обязанности не только удовлетворительно, но и проявляя необычные для своего возраста старание, терпение и выдержку. При попытках обследовать ее она, наконец, после упорных расспросов, всхлипывая, вымолвила тихим голосом несколько слов. Стоило задать вопрос резким тоном, как она разражалась слезами, и от нее ничего нельзя было добиться. При этом никогда не возникало впечатления, что она ведет себя так от злости, из упрямства или от ожесточения — скорее, от чрезмерной детской за — стенчивости, от стеснения и робости. Это предположение подтверждает признание, сделанное воспитательнице, к которой обвиняемая постепенно проникалась все большим доверием и до некоторой степени преодолела робость по отношению к ней. Та упрекнула Ап. за недостаточную открытость по отношению к врачам, на что Ап. ответила: “Когда врачи задают мне вопросы, у меня ком подкатывает к горлу, так что я и слова не могу сказать”. За шесть недель Ап. частично преодолела свою робость и, наконец, стала давать более

подробные и связные ответы. На вопросы о преступлении она, громко всхлипывая, давала те же показания, что и прежде. На вопрос о мотиве она снова сказала, что испытывала настолько страшную тоску по дому, что она уже не знала, что ей и делать; если бы она убежала домой, отец только избил бы ее и отправил назад, как он это делал с Евгением, неоднократно убегавшим от тоски по родине домой с того места, где он служил. Наконец, ей пришло в голову, что можно будет отправиться домой, если один из детей умрет, потому она и подняла руку на ребенка. Она надеялась, что никто ни о чем не догадается и все обойдется, но когда ее хозяева оказались в тюрьме, она во всем призналась. От нее потребовали письменных показаний. Она написала хорошим почерком без орфографических ошибок следующее: “Мать сказала мне, что я должна пойти в услужение к супругам Антон. Я с охотой согласилась. Мать уложила мои вещи и проводила меня в Н. Дети не сразу меня приняли. На второй день я почувствовала тоску по дому. В следующее воскресенье после пасхи я пошла домой к родителям. Когда пришла, мать моя была в церкви. В полдень мы с матерью отправились в Г. По дороге я сказала ей, мне хорошо у Антонов, но я сильно тоскую по дому и хотела бы вернуться. Мать ответила, что дома я ей не нужна. В четыре часа я одна вернулась в Н., но тоска по дому меня не оставляла. На следующее воскресенье меня навестила моя сестра. Я сказала ей, что тоскую по дому. Она сказала, что тоже была вынуждена идти в люди. Она посоветовала мне усердно молиться, быть старательной и послушной, тогда тоска по дому пройдет. Когда ей было пора уходить, я проводила ее до Ф. Стоило нам расстаться, как меня снова охватила тоска по дому. Восемь дней спустя я сказала Антонам, что они должны отпустить меня домой, они ответили, что я не могу оставлять на них детей каждый божий день, что уже поздно, и я должна остаться. На следующее воскресенье мне пришла мысль убить младшего ребенка. Я подумала, что если его не станет, мне можно будет идти домой. В три часа утра в воскресенье я взяла ребенка и бросила его в реку, а потом вернулась в дом. Только три дня спустя я сообщила, что убила ребенка. Я сказала это не сразу потому, что думала — меня посадят. Сразу после этого полицейский отвел меня в тюрьму. После этого я очень раскаивалась в содеянном. Спустя 10 недель полицейский привел меня сюда”»[89].

Врачи попросили девочку рассказать, что она думала и чувствовала перед убийством, во время убийства и после убийства. Есть ли в таких расспросах что-то специфически психиатрическое? Едва ли… Такие вопросы ей мог бы задать и школьный учитель. На эту мысль наводит и то, что дальше

психиатр принимается проверять уровень знаний у преступницы и даже… заставляет ее писать сочинение.

«Знания девочки, в общем, вполне соответствуют ее возрасту и полученному образованию. Способность к счету и знания в этой области — значительно выше средних. Знания ее в прочих областях скудны. Она ничего не знает о войне 1870–1871–х годов. Из стран Европы может назвать, кроме Германии, только Италию и Францию, после долгой заминки — Силезию. О родных местах знания лучше. Она способна назвать притоки Некара, знает Катценбукель, называет число жителей деревни, а также много соседних деревень и городов. Знает части света, единицы мер и весов, календарь, религиозные праздники и обряды, знает сельскохозяйственные культуры. В ответ на требование написать сочинение о пасхе она предоставила такой текст: “На пасху я была с сестрой в Т. Там было очень хорошо. Погода тоже была очень хорошей. Мы также видели множество прекрасных вещей. Там были и многие другие люди из нашей деревни. Мы были также в церкви. Господин пастор проповедовал очень хорошо. Природа была очень красивой. Деревья и цветы цвели. Нам очень понравилось. Мы были очень усталыми, когда вернулись домой. Гейдельберг, 31 августа 1906 г. Ап. С.” Обычные понятия о нравственности также не чужды обвиняемой. Она знает, что нужно любить своих врагов, что нельзя лгать и красть и т. д. Вопросы, которые заставляют ее вспомнить о ее нынешнем положении — например, о родных местах, родителях, братьях и сестрах, а также те, которые каким-то образом связаны с совершенным ею преступлением, — всякий раз вызывают новые потоки слез. Однако аффект раскаяния у нее, хотя в каждый отдельный момент и очень силен, непродолжителен и неглубок»[90].

Вильманнс не был бы Вильманнсом, если бы он не отметил — походя — в истории болезни примитивность душевной организации Аполлонии. Будучи рафинированным интеллектуалом, он испытывал презрение к неучам и вообще к натурам неразвитым, и однажды выразил это презрение в потрясшем молодого Ясперса определении: «Нормальность — это легкая форма слабоумия». Вильманнс не желал мириться с так называемой «массовой культурой», которая уже вполне сложилась на рубеже XIX и XX веков. Он не желал считать «нормой» человека- недоучку, неразвитого в интеллектуальном, моральном и эстетическом плане. Он вполне по — просветительски считал нормальным только высокоученого и одаренного человека. Ясперс воспринял от своего научного руководителя этот взгляд на людей, постоянно требующий от них большего, и специально

занялся позднее вопросом о том, что представляет собой человеческое величие. А в описываемый период — тогда, когда замышлялась и писалась диссертация «Тоска по родине и преступление» — у К. Ясперса произошла такая беседа с наставником:

«В одной из бесед Вильманнс следующим образом выразил парадоксальную природу понятия “болезнь”: “Так называемая нормальность — не что иное, как легкая форма слабоумия”. Логически это означает следующее: объявив нормой умственную одаренность, мы должны будем признать, что большинство людей слегка слабоумны. Но мера здоровья это нечто статистически среднее, то есть свойственное большинству; соответственно, легкая степень слабоумия это и есть здоровье. Тем не менее, говоря о легкой степени слабоумия, мы всякий раз подразумеваем нечто болезненное. Следовательно, нечто болезненное есть норма. Таким образом, “здоровое” — синоним “больного”. Такой логический ход мысли завершается очевидным распадом обоих понятий, независимо от того, основываем мы их на оценочных или среднестатистических суждениях»[91].

Деревенская девочка — преступница, конечно же, была *нормальна* — то есть страдала, по мнению Вильманнса, легкой формой слабоумия. Что и подтверждают следующие пассажи из ее истории болезни.

«О настоящем, глубоком раскаянии, основывающемся на полном представлении о последствиях и значении поступка, не может быть и речи. Признаки, указывающие на ужасные свойства характера, в клинике ни разу не проявлялись. Даже когда она преодолела свою робость, она осталась послушной и скромной. Она никогда не пыталась вызвать интерес к себе рассказами о преступлении, а скрывала содеянное от других больных, опасаясь рассказывать им. Когда одна из санитарок по указанию врача завела речь об этом, девушка сразу разрыдалась. С больными у нее сложились хорошие отношения, она была мягка и уступчива. Несмотря на то что возникало много поводов для ссор, она никогда в них не участвовала; только однажды она пожаловалась — с полным на то основанием — на враждебное поведение одной девушки, очень низко стоящей в нравственном отношении. Вообще, она верно оценивала окружающих, присоединялась к тем больным, которые добросовестно работали, и помогала им без всякого принуждения.

Настроение ее, которое поначалу было столь подавленным, постепенно несколько улучшилось. Приступы горя стали значительно реже, они возникали, как правило, по вечерам — и тогда она тоже часто отказывалась от пищи, ложилась спать

натощак и часами плакала в одиночестве. Тогда она регулярно жаловалась, что тоскует по дому. Постепенно это полностью прошло. Хотя у нее сразу же текли слезы, стоило только упомянуть про ее родину, но, не участвуя в таких разговорах, а тем более, общаясь с санитарками и больными, она была весела и бодра. Порой она была способна даже к непринужденной болтовне.

Она размышляла и о своем будущем. Врач объяснил ей, что даже в том случае, если судья ее оправдает, она не сможет после произошедшего оставаться на свободе. Мать не сможет принять ее из- за бедности, а идти в услужение судья ей вряд ли разрешит. Спустя несколько дней она заявила воспитательнице, что раз уж ей нельзя вернуться домой, то она предпочла бы остаться здесь и помогать на кухне.

За исключением упомянутых случаев, аппетит и сон ее не были нарушенными, она прибавила в весе с 76 до 80 фунтов, но потом вес снизился до 79 фунтов. Каких-либо признаков, позволяющих говорить об эпилепсии или истерии, не наблюдалось.

Экспертиза констатировала наличие ностальгической меланхолии, которую нужно рассматривать как болезненное нарушение психической деятельности, подпадающее под § 51 Уголовного кодекса»[92].

Согласимся, что из истории болезни отнюдь не вытекает вывод, сделанный экспертом — нет в этой истории никакого описания признаков «ностальгической меланхолии». Не считать же такими признаками сочинение туповатой девушки Аполлонии или степень обволосения ее подмышечной области? Так зачем же был приведен в диссертации весь этот материал? Может быть, К. Ясперса заинтересовала незаурядная личность больной?

Увы. Нетрудно заметить, что девушка Аполлония С. не вызывает у К. Ясперса особого интереса как личность. Она ему по-человечески неинтересна и являет собой только один из клинических случаев — казусов. Кроме того, ни в описываемой истории болезни, ни в экспертном заключении мы едва ли найдем что-то, относящееся исключительно к психиатрии. Приведены данные общего медицинского осмотра, результаты взвешиваний. Добавлено, что эпилепсии и истерии, равно как и иных расстройств психики, не наблюдалось.

Так что же такого психиатрического было в рассмотрении истории несчастной девочки — преступницы? Что могло привлечь Ясперса к исследованию этой темы? Едва ли это был выход в область судебно — медицинской экспертизы. О реакции на заключение психиатра в суде и повторной экспертизе сказано

весьма кратко, без разбора приведенных аргументов.

«В том, что касается восприятия нашего случая, интерес представляют возражения прокурора на экспертное заключение. Он заявил, что для характера преступницы показательно, что она сделала признание отнюдь не чистосердечно, не сразу, а лишь после долгих угрызений совести, говорившей ей, что она творит большую несправедливость, поскольку из-за ее лжи хозяева дома оказались в тюрьме. — Давая показания в суде, Ап. отнюдь не выказала себя тихой и робкой, но давала внятные и точные ответы. Она отрицала несправедливые обвинения быстро и решительно, и лишь тогда, когда признавала свою вину, стала говорить более медленно и сдержанно. — Не был принят во внимание тот факт, что тоска по дому у Ап. была настолько сильной, что отказали психологические тормоза, обычно сдерживающие психически здорового человека, и вследствие этого она была обречена совершить преступление. Разумеется, жестокость преступления не имела никакого отношения к мотиву. Последний объяснялся ограниченностью кругозора юной преступницы.

Вследствие высказанных возражений суд предложил, чтобы экспертизу провел другой авторитетный специалист. Ап. была переведена в следственный изолятор. Здесь она непрерывно плакала, часто отказывалась от пищи, не говорила ни слова. Из нее можно было вытянуть только “да”, “нет” и “не знаю”.

Новый эксперт полностью присоединился к заключению своего предшественника. Он предположил наличие очень сильно выраженной тоски по дому, которая представила собой психически ненормальное состояние типа меланхолической депрессии столь большой интенсивности, что принятие решений по собственной воле полностью исключалось, а именно об этом и говорится в § 51 Уголовного кодекса.

На основе этого нового заключения дело было прекращено, а Ап. по рекомендации Вильманнса была определена с 6.11.06 в психиатрическую клинику Гейдельберга на хозяйственные работы, где она и находится в настоящее время. Работу свою она почти всегда выполняла аккуратно, отличалась прилежанием и готовностью исполнять распоряжения начальства. Поначалу она была очень застенчива и нередко жаловалась на тоску по родному дому, но вскоре набралась смелости и порой даже похвалялась: “Я не дам себя в обиду санитаркам!” Временами она становилась угрюмой, прекращала работать со всем рвением, бездельничала и жаловалась на тоску по дому. Однажды она осталась в постели, жалуясь на отсутствие аппетита и боли в груди. Объективных признаков заболевания не проявлялось, температура была

нормальной. На следующий день она встала с постели без разрешения врача, сказав, что чувствует себя хорошо и уже может работать.

Иногда ее заставали плачущей: она полдня проливала слезы, не объясняя причин; однажды она сказала, что ее сильно растрогала проповедь пастора о винограднике. Одна особо старательная санитарка, с которой у нее сложились более близкие отношения и которой она никогда не перечила (в отличие от остальных), сказала, что Ап. иногда намекала ей, из-за чего она так плачет. Она думает о своем преступлении, которое не может забыть. Она также говорила неоднократно, что если когда-нибудь выйдет из клиники, то что-нибудь с собой сделает. Другим людям Ап. никогда не делала подобных признаний и намеков. По прошествии некоторого времени Ап. сочла, что ей не хочется больше оставаться прислугой, а хочется учиться шить. Она с успехом начала учиться шить у одной из нянечек.

В апреле 1907 г. в первый раз произошла менструация. Девушка была изнурена, но в целом все протекало нормально. В июне она часто демонстрировала признаки сильного раздражения, громко хлопала дверями, часто препиралась с персоналом, отвечала санитаркам “вызывающе”, когда они требовали от нее выполнить ка- кую-то работу или спрашивали о чем-то. Один день она почти ничего не ела, заявив, что в пищу было что-то подмешано, и она от этого почти ослепла. Позднее она сказала об этом, что подумала, будто ей подмешали снотворное — специально чтобы позлить (она часто видела, как пациентам дают лекарства вместе с едой).

О своих расстройствах, которые порой повторялись еженедельно, она рассказывала, что они продолжаются полдня или целый день — тогда она плачет, ни о чем не думая; она испытывает только печаль, страх при этом отсутствует. В дни накануне недомогания она чаще всего была раздражительной. “Тогда я ничего не желаю слушать”. Она чувствовала тогда, что начинается менструация. В первый день менструации она была в подавленном настроении, но менее раздражительной, во второй день — вполне здоровой.

Не считая упомянутого, она всегда вела себя удовлетворительно. Санитарки высказывались о ней очень положительно, все считали, что у нее хороший характер, и только в некоторых случаях она проявляет некоторое раздражение и упрямство. В отношениях с врачами она все еще сохраняет застенчивость — правда, она разговаривает с ними, но при этом постоянно чувствуется скованность. С другими девушками из прислуги она проявляет себя бойкой. Недавно Аполлония

написала своей сестре несколько писем, в которых раздражение перемежалось с сентиментальными чувствами. Высказывания такого рода, периодическое дурное настроение, ее “вызывающие” ответы, идея, что ее отравили и т. п. напоминают о том, что принято называть истеричным характером, поскольку подобные отклонения от нормы часто встречаются у истеричек. Конечно, мы далеки от того, чтобы на этих основаниях ставить диагноз “истерия”. Речь идет об особенностях общепсихопатического плана, часто встречающихся и за пределами того ограниченного крута, который называется истерией»[93].

Вот, собственно, и все. Мы намеренно привели историю болезни Аполлонии практически целиком, чтобы читатель получил полное представление обо всех психиатрических изысканиях, связанных с этой девушкой — преступницей. Отметим также, что это самая подробная история болезни из всех, которые рассмотрены в диссертации К. Ясперса. Это, более того, история болезни, к которой приложил руку его научный руководитель. Он, собственно, и написал ее первую часть — до помещения девочки в клинику. На основе этой истории болезни производилась экспертиза для суда. Если Вильманнс что-то упустил, Ясперс имел возможность провести дополнительные исследования — ведь девочка — убийца была оставлена работать в психиатрической клинике.

И что же?

Потрясает ли нас произведенный психиатрический анализ своей глубиной? Что в приведенной истории болезни относится к собственно психиатрии? Упоминание про истерию, которая может и не быть истерией? Переживания ностальгии у девочки были крайне скудны — как у натуры неразвитой и душевно нищей — и описаны они были всего в двух — трех предложениях.

Право, мы не можем предполагать, что у Ясперса это достаточно заурядное, если не сказать примитивное, существо вызывало какой-то особый человеческий интерес. Ничуть не менее примитивны и заурядны другие девочки — преступницы, истории болезни которых рассматриваются в диссертации К. Ясперса. Читатель может сам убедиться в этом.

«Аналогичный, но не столь ясный случай опубликовал Вильманнс. Поскольку его легко можно найти в оригинале, здесь он излагается в нескольких тезисах.

Ева Б. 13–ти с половиной лет. Сообщения о характере и учебе только положительные. Родители, учителя, начальник тюрьмы в один голос хвалят ее. Репутация семьи безупречна. Получила хорошее воспитание. На Пасху она в первый раз пошла работать в люди вдали от родных мест. На Троицу она со слезами умоляла

мать разрешить ей остаться дома. 14 дней спустя — первая попытка убить доверенного ей ребенка. Спустя четыре недели — вторая попытка, которая сорвалась из-за того, что другой ребенок рано проснулся. Деяния свои совершала в соответствии с заранее продуманным планом. Ранее высказывала жалобы на боли в груди и колотье в спине — возможно, симулировала. После совершения преступления производила впечатление отчаянно беспомощной. Позднее показала себя девушкой застенчивой, но при этом спокойной и веселой, по — детски беззаботной. Недостаток продолжительного раскаяния. Во время допросов часто противоречит сама себе, но остается неизменным одно — всегда говорит о намерении оставить свою работу при любых обстоятельствах. Запирается недолго, быстро признается в содеянном.

Заключение, данное Вильманнсом, гласило, что Ева Б. под влиянием тоски по дому не обладала свободой воли. Прокурор не был убежден таким обоснованием.

Было затребовано другое экспертное заключение и, наконец, третейское мнение, которое должно было иметь главное значение. Два следующих эксперта сочли, что девушка вменяема. Однако было констатировано стойкое нежелание работать прислугой. Отмечалось, что взрослые совершают клятвопреступления и убийства из-за ничтожных мотивов, из-за пары кружек пива, так что вполне можно допустить, что и Ева Б. действовала, руководствуясь преступными намерениями. В особенности подчеркивалось, что патологическая тоска по родине должна была проявлять себя в симптомах — таких, как потеря аппетита, нарушение сна и т. д.

В приговоре суда, помимо прочего, было указано, что экспертные заключения, в которых девушка признается вменяемой, не дают этому достаточного психологического обоснования. “Принято полагать, что достаточные обоснования человеческих поступков должны указывать на столь веские причины, которые способны перевесить у нравственного и нормального в умственном отношении человека сомнения, противостоящие его выбору”. Для того чтобы объяснить вопиющее противоречие между мотивом и тяжестью поступка, недостаточно сослаться на еще незрелое нравственное и умственное развитие преступницы. Случаи, когда преступления совершаются по ничтожным поводам, характерны для по-настоящему преступных натур. Случай Евы Б. не таков, насколько можно судить по многочисленным свидетельским показаниям. Суд принял мнение Вильманнса: преступление вызвано выплеском тоски по родине, настолько сильным, что он вызвал

полное бессилие воли. Суд вынес оправдательный приговор на основании положения в ***dubio pro reo,*** которое действительно и применительно к § 51 УК. С этим случаем, подробно исследованным Вильманнсом, познакомился также Ашаффенбург (Gaups CBL. 1908. P. 354). Он не смог прийти к убеждению, что девочка не слабоумна. Но он обследовал ее всего полчаса, и этого времени недостаточно, чтобы дать компетентную оценку ребенка, отличающегося замкнутостью и застенчивостью.

Ева Б., после того, как она некоторое время провела в родительском доме, снова работает прислугой. Ничего отрицательного о ней не говорят, трудится она добросовестно»[94].

Две эти истории болезней имеют для К. Ясперса особое значение — ведь к ним приложил руку его научный руководитель и наставник в психиатрии Вильманнс. Но диссертант, понятное дело, не ограничивается ими — негоже проявлять такую несамостоятельность и прятаться за спину научного руководителя. Поэтому в диссертации приводится еще пять историй болезней, которые К. Ясперсу удалось отыскать в научных публикациях прошлых лет.

Добавляют ли они что-то принципиально новое к первым двум? Сам Ясперс не скрывает, что «случаи» он подбирал по сходству с уже описанными, но при этом добавляет, что хочет получить «возможность различать в этих ностальгических состояниях между типичным и индивидуальным». Слово «типичное» его еще не смущает — научные психиатрические обобщения кажутся ему вполне допустимыми. И в самом деле: «случаи» похожи, словно капли воды, даже несмотря на то, что в некоторых историях болезней речь идет об убийстве ребенка, а в некоторых — о поджоге хозяйского дома.

Окинем взглядом и эти истории болезней, чтобы оценить, насколько крупный вклад в психиатрию вносит их пересказ диссертантом, и, в частности, влияют ли они на постижение ностальгии как болезни.

Вот случай, описание которого К. Ясперс почерпнул из книги полувековой давности:

«Шпитта: Практические труды по судебно — медицинской психологии. Росток и Шверин, 1855. С. 25. Тоска по родине. Меланхолия. Убийство.

Р., дочь пастуха, на Пасху 1850 г., в возрасте 13 лет, по воле родителей начала работать нянькой в семье другого пастуха. Четырнадцать дней спустя она навестила родителей. Вечером того же дня она вернулась в дом, где работала. Пастух, у которого она трудилась, утверждает, что всегда был доволен ее работой. У

нее всегда был хороший аппетит и крепкий, здоровый сон. Он не замечал, чтобы она грустила и плакала. Однако уже на следующий день после возвращения из дома она потребовала снова отпустить ее к родителям, ссылаясь на то, что у нее болит живот. Идти к родителям ей разрешено не было. Поэтому она ушла тайком, без спроса, надев лучшую одежду, но оставив вещи.

На следующий день она вернулась в семью, где работала, в сопровождении тети, но заявила, что ни за что тут не останется. Поскольку хозяин уже не возражал, работа ее на этом была закончена.

Уже 17 апреля она начала работать в С. служанкой у жены поденщика Г. Поначалу ей это понравилось, и она, казалось, отправлялась туда с большой охотой. 22 апреля она пришла в родительский дом за чистым бельем, пробыла там лишь недолго и говорила, что довольна жизнью. 25 мая она передала отцу, что хотела бы поговорить с ним, и просила о встрече. Мать, ничего не сказав об этом мужу, предположила, что дочь вернется домой, и заранее приготовила палку для ее наказания. Действительно, дочь явилась уже вечером. Когда мать с порога спросила ее о намерениях, она замялась, а в ответ на предположение, что она снова хочет бросить работу, расплакалась. Тогда мать сильно побила ее палкой и снова отправила в С. Обвиняемая показала, что она уже тогда надеялась вернуться домой, хотела сказать отцу, что не может выносить жизнь в чужом доме, и просить, чтобы он опять забрал ее домой. Г. она солгала, сказав, что отец попросил ненадолго выйти к нему вечером, чтобы поговорить, когда он пойдет за дровами. Ее активное стремление в родительский дом было замечено хозяевами. Часто вечерами, а также на протяжении всего дня она вскакивала, выбегала из дому и принималась ходить туда — сюда около торфяного сарая, поглядывая в сторону родной деревни. Как она сказала однажды, там все же лучше. Когда ее стали расспрашивать подробнее, почему именно лучше, она сказала только, что там красивее дома. Супруги, реагируя на такие сравнения, часто спрашивали, нравится ли ей у них; она всегда отвечала утвердительно и добавляла, что еда и питье даже лучше, чем дома. Когда ее спрашивали о том, почему же она иногда внезапно убегает, она отвечала, что у нее бывает расстройство желудка. По показаниям мужа, Р. не страдала отсутствием аппетита и расстройством сна, не проявляла печали и не плакала. Она всегда вела себя хорошо, была аккуратной, послушной и работящей. Жене, однако, показалось, что она, вроде бы, плакала как-то раз, а именно вечером 27 апреля. Но обвиняемая отрицала это, говорила, что у нее просто слезились глаза от дыма, и заявила, что довольна

своим положением. Сама Р. свидетельствует, что вечерами не могла заснуть, иногда ее мучили кошмары, но под утро она спала хорошо. В следующее воскресенье, 28 апреля она опять ходила домой к родителям, и ей даже разрешили остаться на ночь. Она снова заявила, что больше не может выдержать своей работы в чужом доме, и попросила, чтобы ей снова поручили пасти гусей дома. Но мать была против. По воле матери, но с явной неохотой, она снова отправилась в С. Мать следовала за ней на расстоянии, потому что испытывала безотчетный страх, что дочь может что-то с собой сделать.

Когда она в понедельник, 29 апреля, утром снова была у своих хозяев, ей велели присматривать за детьми, но работа уже перестала вызывать у нее всякий интерес: однажды двухлетний мальчик упал, а она не позаботилась его поднять, оставила лежать — и была за это наказана. Некоторое время спустя она пришла в сад и сказала, что ребеночек лежит в колыбели и стонет, она совсем не знает, что у него болит, она ему ничего не сделала. Вскоре ребенок умер. Потрясенная горем мать велела ей отправляться восвояси — теперь она больше не нужна.

Ребенка похоронили, но подозрение несчастной матери в том, что в его смерти повинна нянька, все усиливалось. Было начато расследование, и преступница после долгих запирательств созналась.

22 мая она еще утверждала, что чисто случайно опрокинула колыбель — и подробно описывала, как произошла эта случайность. 30 мая, рыдая, она стала уверять, что теперь скажет правду: она думала, что ее отпустят, если она будет плохо обращаться с ребенком, и несколько раз бросила его на землю.

Наконец, она дала такие показания, которые, в основном, оставались в дальнейшем без изменений. В то утро у нее внезапно возникло острое желание уйти; она около десяти раз ударила ребенка кулаком по голове, в лицо, в область носа и рта, после чего вынула его из колыбели и дважды ударила затылком о землю. Поскольку ребенок обделался, она обмыла его и переодела в чистую рубашонку. Вскоре она еще раз ударила ребенка в лицо, стала зажимать ему рот, а потом сдавливала ему ребра, тряся его в колыбели. Она неоднократно заявляла, что намеревалась убить ребенка, так как это казалось ей самым надежным способом избавиться от работы в людях.

Пребывая в тюрьме, она высказывала все больше жалоб на своих хозяев, на их дурное обращение с ней, что противоречило ее прежним собственным показаниям, а также показаниям самих хозяев. Она снова и снова выражала тоску по родительскому дому. Когда конвоир отводил ее в тюрьму, она предприняла

неудачную попытку сбежать от него. Она попросила дать ей книгу псалмов и декламировала стихи оттуда судьям, чтобы они отпустили ее на свободу. Свое преступление она видела в том, что била ребенка. Она рыдала, но явно больше от неприятностей, причиняемых пре — быванием под арестом, чем от раскаяния. Когда ей поставили в вину великое злодеяние, она, плача, заявила, что признает свою вину и поклялась никогда больше не сходить с праведного пути, умоляя простить ей грех.

Юристам, которые вели следствие, она показалась еще совсем ребенком — девочкой с неплохими душевными задатками. Она давала быстрые и точные ответы на вопросы, продемонстрировала хороший и быстрый ум. Как только речь заходила о ее злодеянии, она принималась плакать, но до настоящего раскаяния, кажется, дело так и не дошло.

О ее характере отец сказал, что она порой проявляла строптивость, но никогда не лгала, всегда жила в мире со своей младшей сестрой, а в свободное время, оставаясь наедине с собой, была вполне жизнерадостной. Мать называет ее добродушной и правдивой, считая, что она была старательна и послушна. То же подтвердили другие.

Ее учитель показал, что она проявила мало прилежания, внимания и сообразительности, причиной чему является ее неважный слух. Она всегда была тихой, необщительной, ладила со своими одноклассницами, но во время молитвы была невнимательна. Неправды она никогда не говорила. Отличаясь хрупким здоровьем, она с детских лет часто имела проблемы с желудком. Пять лет назад у нее было гнойное воспаление уха, которое и стало причиной тугоухости; следствием его являются продолжающиеся выделения из уха. Проведенная экспертиза исключила врожденное слабоумие. Обвиняемую признали невменяемой на момент преступления вследствие сильной тоски по дому на фоне соматической болезни и детской стадии развития, о приговоре, который вынес суд, не сообщается»[95].

Как видим, ничего нового нет. Все те же жуткие девочки с «хорошими душевными задатками». Ностальгия — без внешних проявлений. Описание телесных недугов — без всякой связи с чем-либо: они не могут быть причиной убийства либо причиной ностальгии. Никакой психиатрии.

Таковы же и истории болезней *поджигательниц,* почерпнутые диссертантом К. Ясперсом из литературы. Достаточно одной, чтобы получить представление обо всех.

«Рихтер, 1884. О юных поджигателях. Юлиане Вильгельмине Кребс было 14 лет. Из семи братьев и сестер в ее семье одна сестра была хромой, один брат глухонемым и полностью

парализованным. Перед тем, как родить ее, мать была так сильно напугана собакой, что даже на некоторое время слегла. С раннего детства девочка была маленькой, слабой, страдала золотухой. Лицо вытянутое, бледное, низ живота вздут, язык обложен. До 8 лет ***Enuresis nosturna.*** С детства была склонна к болезням, часто страдала головной болью, в особенности после физических усилий. Шейные железы часто были увеличенными, часто страдала острой болью и шумом в ушах, были выделения из ушей. В школе часто замечали, что она становилась раздражительной, кровь у нее приливала к голове. Часто не могла посещать школу из-за головной боли. На момент совершения преступления ее физическое развитие находилось еще на детской стадии: срамные и подмышечные волосы отсутствовали, грудные железы не развиты, менструаций нет.

Родители ее были порядочными, много трудившимися людьми, заботившимися о ее воспитании. Их бедность не позволяла приглашать к дочери врача и лечить ее. Последние два лета перед тем, как поступить на работу прислугой, она пасла коров.

Она была любимицей родителей, братьев и сестер. Они описывают ее как миролюбивую, кроткую и послушную девочку, ни к кому не питавшую злобы. Школьные учителя и священник хвалят ее в один голос. Умственные способности в норме. Знания, требуемые в школе, у нее есть, но разум ее не особенно развит. В умственном отношении она — большой ребенок.

За четыре дня до совершения преступления она начала работать няней в доме, который находился в часе ходьбы от ее родной деревни. На работу она отправилась в невеселом настроении, но не противясь. Она впервые оказалась вне родительского дома и быстро почувствовала разницу: у чужих людей с ней обращались более сурово и требовательно, все время подгоняли, требуя все “делать поживее”. Хозяйка не приняла ее привычку все обговаривать и делиться впечатлениями, она резко обрывала ее. К тому же вскоре после поступления на работу чужие люди сказали ей, что она нашла себе плохое место. Наконец, она совершенно не привыкла быть одной: раньше ей целый день напролет приходилось проводить время в окружении множества сестер и братьев, а ночью она спала в кровати вместе с одной из сестер. Из-за всего этого она была выбита из колеи, стала испытывать страх и тоску по дому. Она стала опасаться, что ее страх и тоску по дому заметят. Наедине с собой — когда ходила по воду или вечером, ложась спать — она давала волю слезам. Чтобы скрыть это, она промывала глаза холодной водой. У нее пропал аппетит. Накануне пожара она ела так мало, что

хозяйка спросила ее, не боится ли она чего-либо. Она дала примечательный ответ: “Нет, мне не страшно, на воскресенье мне хотелось бы пойти домой”. Позднее она показала, что, конечно, испытывала сильный страх, но стыдилась признаться в этом. Сразу после этого ей пришлось выйти и выплакаться. Свидетели, которые показали себя способными зафиксировать симптомы подавленного настроения, на прямой вопрос о том, существовала ли тоска по дому у девушки, утверждали, что ничего подобного не замечали.

В день преступления — на четвертый день после начала работы — девочка ждала свою мать, которая должна была принести ей сундучок для вещей. Сказав об этом своей хозяйке, она получила резкий ответ, что сундучок ей ни к чему. Продолжая ожидать прихода матери, она отправилась по воду в полдень, и вдруг отчетливо услышала голос матери. Она остановилась и оглянулась, а когда поняла, что обманулась, заплакала навзрыд. Пребывая в таком настроении, она в тот же день пришла к мысли о поджоге. Мысль посетила ее внезапно и полностью завладела ею; ей сразу же стало ясно, как все надо сделать. Ею двигало стремление избавиться от страха, она не знала, как иначе можно помочь себе. Эта мысль никак не оставляла ее, и через три часа она осуществила задуманное. Она бросила тлеющий уголек туда, где, как ей было известно, лежал корм для скота, сухой и горючий. Потом она, по ее словам, подумала: “Загорится или нет, все равно”. О возможных последствиях своего поступка, о его преступном характере, об опасности его для жизни ребенка, который лежал в верхней комнате, она не подумала. Совершив свое деяние, она продолжила заниматься домашней работой. Когда начался пожар и поднялся шум, она помогала спасать имущество. Когда ей устроили допрос, она отрицала, что устроила пожар. После того, как она пришла домой, уволенная сразу же после пожара, она заболела. У нее совсем пропал аппетит, она жаловалась на боли в голове и в суставах, ей пришлось несколько дней пролежать в постели, хотя накануне поступления на работу и во время ее она не чувствовала себя больной. Во время допроса, который ей учинил жандарм, она созналась в преступлении после упорного отрицания. После ее ареста допрос неоднократно откладывался из-за ее плохого самочувствия: она чувствовала сильный шум в ушах, “словно грохочет гроза”. Ее соседка по камере показала, что девочка однажды подскочила и закричала: “Вот они бегают вокруг, сволочи!” В другой раз она закричала:

“Господи, что это был за треск у меня в ушах?” В тюрьме она перестала чувствовать прежний страх и тоску по родине. Она

проявила раскаяние. Уже тогда, когда вспыхнул огонь, она перепугалась и почувствовала угрызения совести. Позже она признала, что с ее стороны это был плохой, очень плохой поступок, и она никогда в жизни больше не совершит такого»[96].

И вот, наконец, титанический труд закончен — в диссертации приведен обширный «материал наблюдений» из историй болезней семи девочек — подростков, совершивших от ностальгии убийства и поджоги.

О ценности этого «материала наблюдений» самого по себе мы уже составили свое представление.

Какие же выводы сделал на его основе К. Ясперс?

Выводы эти крайне осторожны, размыты и противоречивы. Конечно же, диссертант ни на чем не настаивает и ничего не провозглашает. Он заканчивает диссертацию сомнениями, как и подобает любому ученому, который осмысляет интересный, но недостаточный материал.

Сомнения диссертанта должны убедить ученый совет, что он вовсе не отвлеченный теоретик и уж тем более — не философ. Он ученый — медик, который привык работать с наблюдаемыми фактами. А если эти факты осмыслять хорошенько, то во всем приходится сомневаться.

Приведенные истории болезней показывают, что ностальгия вовсе не всегда была единственной или главной причиной душевного расстройства, которое привело к преступлению. Наряду с тоской по родине, такими причинами у девочек — подростков могли выступать инфантилизм, кризис пубертатного периода, соматические заболевания или психопатическая предрасположенность, слабоумие или моральная ущербность, а также недовольство обращением хозяев.

Строго говоря, на этой констатации настоящий экспериментатор мог бы и закончить, расписавшись в своем бессилии: достоверных данных у него недостаточно, получены они нестрогим методом, порой — без участия врача. Таким образом, *мы не можем судить о ностальгии научно*, то есть строго на основании опыта, зафиксированного в историях болезней. Вот какой вывод единственно возможен. Но стоило ли ради него писать диссертацию?

Да, у девочек — подростков могли быть разные причины для возникновения ностальгии, и в результате диссертационного исследования ничего определенного доказать не удалось. Но и на этом Карл Ясперс не останавливается. Он еще больше запутывает вопрос, который собирался обсуждать в диссертации. Тема ее — «Тоска по родине и преступления». И вдруг диссертант Ясперс принимается говорить о… детстве как причине ностальгии.

Теперь ностальгия рассматривается уже как нечто возрастное, и диссертант, наряду с пересказом конкретных историй болезней девочек — подростков, вдруг принимается обсуждать вполне философскую концепцию, объясняющую возникновение ностальгии в детстве. Построена эта концепция вовсе не на конкретном материале, а на метафизических фантазиях:

«Уже Шлегель, Цангерль и Эссен великолепно описали психологическое развитие ностальгии. Ребенок, как дитя природы, полностью един со своей средой. Он слит с нею до неразличимости. Он полон душевных переживаний, которые возникли не из его собственного мышления, не из внутренних его переживаний и их переработки, а из эмоций, порожденных впечатлениями от окружающего. Это окружающее (в первую очередь, семья) еще неотделимо от его личности, еще выступает непременной составляющей его личности; он абсолютно несамостоятелен и лишается опоры, будучи изъятым из этого окружающего. Он тогда “подобен растению, вырванному из почвы, в которой оно было укоренено”. Когда ребенка, находящегося на той стадии развития, на которой индивидуум еще образует единство со средой, внезапно — как это происходило в большинстве случаев — отрывали от родителей и отправляли “в люди”, он, естественно, оставался без какой-либо опоры. Его мир — это его близкие, его родная деревня. Вся его жизнь построена на чувствах, которые вызваны в нем этим окружением. Это — единственное, что есть в нем. В его душе не появилось еще ничего, кроме любви к родителям, братьям и сестрам; другие люди — как и иное окружение — абсолютно лишены ценности для него. Поэтому он, под влиянием соответствующих импульсов, способен легко убить ребенка, который не может вызвать в нем каких-либо чувств, поджечь дом, который для него ничто. Если бы в предшествующем его окружении появилось что-то новое, он вполне был бы способен ассимилировать это новое. Но при избытке нового и при совершенной оторванности от старого он теперь совсем беспомощен, лишен всякой опоры; им утрачено все самосознание, которое имело основой своей связанность с окружающим. Новое не вызывает в юном существе никаких чувств, все ему безразлично. Им овладевает чувство, что все потеряно. Его охватывает безутешное горе — печаль, которую он считает непреодолимой. <…> Это хорошо описывает Ратцель: “Все его существо было залито слезами, мир стал таким однообразным и одноцветным, таким безразличным”. Это — феномены, сопровождающие депрессивные расстройства, притупление чувств. Безразличие к окружающему усиливается, преодолеть его

совершенно невозможно вследствие депрессии. Дома ребенок снова обрел бы свою прежнюю внутреннюю жизнь чувств, здесь же он бесчувствен, не испытывает в душе ничего, кроме тоски и прочего, связанного с его мыслями о родине. Аполлония была равнодушна к детям, не играла с ними. Ева Б. не проявляла настоящего интереса к ним и т. д. Однако о первом из случаев Хеттих сообщает, что девушка очень любила обоих детей, и те ее любили — доказательство того, что представленное схематическое описание применимо отнюдь не ко всем случаям и иногда допускает некоторые отклонения»[97].

Здесь уже фантазия пирует вовсю, не оглядываясь ни на какие истории болезней. Почему диссертант вдруг решил, что ребенок — это «дитя природы», почему он больше, чем взрослый, един со своей средой? Почему только ребенок испытывает тоску по родине, поскольку он «подобен растению, вырванному из почвы, в которой оно было укоренено»?

А как же быть с поговоркой «Старое дерево не пересаживают?». Старик еще больше привязан к тем местам, где прошла вся его жизнь. Ребенок же быстро знакомится с новыми друзьями — они найдутся, стоит его на несколько минут оставить на «чужой» игровой площадке. А найдет ли новых друзей так быстро старик?

В общем, по мере приближения к концу диссертационного исследования К. Ясперса, оказывается, что выводы из него следуют все более и более неопределенные. Если надо доказать, что изучение ностальгии, начинающееся с эмпирического материала, с разбора конкретных историй болезней, ничего не даст в отсутствие теории, то конец диссертации Ясперса дает наилучшее тому доказательство. Более путаных и неоднозначных результатов достичь попросту невозможно. Начать в психиатрии с эмпирии и закончить теорией нельзя. Так стоило ли писать диссертацию ради этого безрадостного вывода

Глава VI. Тоска по родине без преступлений: что с самого начала хотелось сказать врачебному миру

Нужно ли психиатру читать книги?

Несмотря на слабость итоговых выводов, диссертация Карла Ясперса выполнила возложенные на нее задачи; она, помимо прочего, *доказала психиатрам, что им следует читать книги, и* не только книги по психиатрии.

Да, это пришлось доказывать специально, потому что в большинстве своем психиатры времен молодости Карла Ясперса полагали, что читать книги не стоит (и сегодня многие из них держатся того же мнения). Психиатры вообще не очень высоко ставят теоретические обобщения, предпочитая полагаться на свой «живой опыт», обретаемый в индивидуальном общении. Противниками чтения книг были не только рядовые врачи, но и светила, возглавлявшие клиники. Одним из таких светил был руководитель университетской психиатрической клиники, куда пришел работать К. Ясперс — профессор Ф. Ниссль. Ясперс красноречиво пишет об этом в «Философской автобиографии»:

«Он (Ниссль. — ***А. П.)*** настолько был удовлетворен моей диссертацией “Тоска по родине и преступления”, что оценил ее высшим баллом и пошел навстречу моему желанию работать у него в клинике. Первый наш разговор с глазу на глаз, когда я выразил такое желание, был краток. В ответ на мою просьбу он спросил: “Хорошо, а чем именно вы хотели бы заниматься?” Я сказал: “Первые недели я собираюсь провести в библиотеке, чтобы сориентироваться, чем можно заниматься вообще”. Он удивленно посмотрел на меня и сказал, как отрубил: “Ну, если вам угодно заниматься такими глупостями — извольте”. Я был просто потрясен и уничтожен таким ответом. В бешенстве я хотел было отказаться от работы в клинике, но поразмыслил и решил так: “Это — заслуживающий уважения исследователь. Мне следует простить его за то, что он излил свой гнев на молодого человека. Клиника его уникальна. В Германии другой я не найду. Тут на карту ставится вся моя судьба. Надо смирить свою гордыню”. Так началась моя работа. Ниссль предоставил мне полную свободу, слушал мои научные доклады и как-то сказал одному из ассистентов: “Жаль Ясперса! Такой интеллигентный человек, а занимается сплошной ерундой”. Когда я однажды из-за своего болезненного состояния опоздал к обходу, он

приветствовал меня так: “Но, господин Ясперс, как бледно вы выглядите! Вы слишком много занимаетесь философией. Красные кровяные тельца этого не выносят”» [С. 228].

Такие подначки не могли сбить К. Ясперса с избранного пути. Он считал, что психиатрия должна стать наукой, сочетающей практику с теорией. Будучи потомком крестьян, торговцев и банкиров, К. Ясперс рассуждал просто: наука без теории — неэкономная трата сил. Ее знания бесполезны, потому что она может только описывать отдельные случаи, которые именно в таком виде никогда больше не повторятся. А пустой траты сил и времени К. Ясперс не мог себе позволить. Время жизни приходилось экономить…

Ясперс пришел к выводу, что наука без теории неэффективна, наблюдая за своими коллегами — психиатрами со стороны. Его взяли в клинику ассистентом — волонтером и нагружали не в полную силу, поскольку состояние здоровья не позволяло ему нести нагрузку врача[98]. Коллеги были погружены с головой в свои повседневные хлопоты, им некогда было анализировать свою врачебную деятельность; Ясперс, у которого было не в пример больше свободного времени, наблюдал за их работой — и видел бесплодность усилий, вызванную, во многом, недоразвитостью теоретического мышления в психиатрии. Коллеги были умными и квалифицированными специалистами, но вот перейти к серьезным научным размышлениям все никак не могли.

Утро в клинике начиналось, как водится в больницах, с обхода — каждый врач представлял своих больных коллегам. Происходило живое обсуждение наблюдаемого пациента. В ходе такого обсуждения назревали какие-то обобщения, намечались какие-то элементарные теоретические понятия. Их увлеченно продолжали обсуждать за совместным обедом. Но… к утру все эти понятия забывались — и на следующем обходе все начиналось с чистого листа.

К. Ясперс пишет об этом с нескрываемой досадой:

«Когда я присутствовал на регулярных представлениях больных и дискуссиях в кругу врачей, мне порой казалось, что им постоянно приходится начинать с нуля. Каждый конкретный случай подводился под несколько жалких обобщающих понятий. А потом все напрочь забывали сказанное ранее. Всякий раз, как я испытывал удовлетворение от того, что удалось изучить какой-то феномен, оно соединялось с ощущением, что вперед продвинуться не удалось. Возникало чувство, будто я живу в мире, где существует необозримое множество разнообразных точек зрения, которые можно брать и в любой комбинации, и по отдельности, но все они до невероятия просты и бесхитростны.

“Психиатры должны научиться мыслить”, — заявил я как-то в кругу своих коллег — врачей. “Надо будет поколотить этого Ясперса”, — дружески улыбаясь, сказал в ответ Ранке» [С. 221].

Не обнаружив психиатрической теории в собственной клинике, К. Ясперс и решил отправиться в библиотеку, чтобы обратиться к книгам и статьям психиатров. (У его коллег, ежедневно занятых больничной рутиной, времени сидеть в библиотеке не было). Вывод, к которому пришел Ясперс после чтения, был неутешительным:

«Освоенная мною литература по психиатрии, изданная более чем за сто последних лет, была необыкновенно обширна, но, как оказалось, содержала главным образом пустые, ни на чем не основанные рассуждения. В этой куче попадались и жемчужные зерна — когда кто-нибудь из авторов излагал результаты реальных наблюдений достаточно ясно и таким образом, что, столкнувшись с данным феноменом в будущем, его можно было однозначно распознать. Часто об одном и том же говорилось совершенно различными словами, преимущественно неопределенными. Каждая из школ имела свою собственную терминологию. Казалось, что разговор идет на совершенно разных языках, местные же диалекты этих языков существовали в каждой клинике. Создавалось впечатление, что единой, объединяющей всех исследователей, научной психиатрии не существует» [С. 221].

Это впечатление было верным, и последующие годы жизни Ясперс посвятил созданию научной психиатрии. Он создал фундаментальные произведения, сделавшие его признанным классиком психиатрической науки. Но начиналось все именно с диссертации, написанной К. Ясперсом вскоре после окончания медицинского факультета. Понятно, что привычку к чтению книг в библиотеке Карл Ясперс приобрел именно тогда, когда писал ее. Именно тогда он сделал и вывод, что единой психиатрической науки еще нет, что разные школы говорят на разных языках. Значит, такую науку надо создавать, и приступил к созданию такой науки Карл Ясперс уже тогда, когда писал исторический экскурс об исследованиях ностальгии в начале диссертации.

Экскурс он писал специфически: не просто описывал факты и публикации в соответствии с хронологией, а мимоходом выяснял историю понятия «ностальгия», наводя читателя на мысли о том, что это понятие может означать в теоретическом плане. В этом не было ничего удивительного — Карл Ясперс еще в гимназии ставший восторженным поклонником Спинозы, полагал, что понятия, которыми ты пользуешься, надо определять строго. Тогда не будет пустых споров, в ходе которых оппоненты

употребляют одинаковые слова в разных смыслах, а разные слова в одном. Вот почему исторический экскурс к диссертации и стал, по сути, скрытой разработкой теории, столь нелюбимой медиками — попыткой теоретически определить, что такое ностальгия и какие причины ее вызывают.

Ради одного только этого *шага к созданию теоретической психиатрии* стоило писать диссертацию — *и* заслуги перед наукой были бы неоспоримыми. Но не будем забывать, что всякий раз, заботясь о науке, К. Ясперс заботился и о себе. Ведь только теоретическая психиатрия и могла доказать ему, что душа способна влиять на жизнь тела, и, значит, *у него лично* есть шанс прожить *подольше.*

Продолжительные библиотечные штудии во время подготовки диссертации привели Карла Ясперса еще к одному важнейшему выводу: *психиатрия и психология близки к философии и искусству.* Во всяком случае, они не отделены друг от друга великой китайской стеной. Что бы об этом ни думали хирурги и терапевты.

Здесь, конечно, требуются специальные пояснения.

Если сказать, например, хирургу или инфекционисту, что его наука похожа на романтическую поэму или на философский трактат, он даже не поймет, что имеется в виду, и подумает, что ослышался. Если сказать психиатру, что ему было бы полезно поучиться у филологов, у поэтов и писателей, а также у философов, его реакция будет приблизительно такой же, но все же — несколько иной. Ведь психиатр вполне поймет, о чем идет речь, хотя и не согласится с высказанным мнением. Объясним, почему.

В Новое время медицина решила, что она должна стать точной наукой, основанной строго на опыте. Это было время, когда науку не просто уважали, но и превозносили до небес, веря, что именно она спасет человечество. Далее медики рассудили так: чтобы произвести впечатление точной науки, медицина должна походить на физику, которая всегда была лидером и законодательницей мод в области точных наук. А чтобы походить на физику, нужно соответствовать великому физическому мифу, согласно которому всякое исследование начинается с чистого опыта, с экспериментов и наблюдений, и лишь затем производятся научные обобщения; однако эти обобщения ничего не стоят по сравнению с живым опытом; если результаты какого-то нового опыта противоречат существующей теории, но теорию надо немедленно отбросить.

Медицина усвоила эти представления об идеальной науке и постаралась соответствовать им. Но ведь в медицине есть

различные специализации, отличающиеся друг от друга не меньше, чем науки о природе и науки о культуре. Прикинуться физиком всего легче хирургу, который рассматривает человека как подлежащую ремонту живую машину. Терапевт может вполне сойти за химика, поскольку начинает лечение с «анализов» больного, ко торые получены им из больничной лаборатории. В общем, все врачи, занимающиеся лечением соматических заболеваний, могут, не кривя душой, прочесть своим студентам такую же вводную лекцию — проповедь, какую читают физики: будьте учеными, то есть всегда начинайте с наблюдений, основывайтесь на лабораторных анализах, фиксируйте весь эмпирический материал в строгих формулах, ничего не сочиняйте и не фантазируйте. То, чего *не может увидеть всякий другой* исследователь, просто *не существует.* Существует только то, что любой другой может повторить в ходе опыта: я описываю материал, оборудование и ход эксперимента, и всякий другой, взяв те же инструменты и проделав те же операции, получит такой же результат, в чем убедится, увидев его собственными глазами. Все, чего нельзя увидеть на опыте, все, чего не может увидеть другой, повторяющий этот опыт, — для науки выдумка. Вот кредо точных, или, иначе, опытных наук.

Для тех медиков, которые решили сделать медицину точной наукой, подобной физике, есть только человеческое тело, данное в наблюдении. Для них нет никакой души, поскольку душу наблюдать нельзя. Следовательно, душа это выдумка всяких философов и поэтов.

Наиболее последовательно эти взгляды изложил французский военврач — ох уж, эти циничные военврачи! — Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751). Он написал трактат «Человек- машина» (1748), в котором утверждал, что человек есть сложный живой механизм, который когда-нибудь сумеют постичь опытные науки (пока им что-то не удается определить, каково его назначение, но в будущем их успех неизбежен). Человека — машину надо изучать сугубо опытным, экспериментальным путем и ограничиваться в медицинской науке только тем, что дано в наблюдении. Это, в общем, соответствует убеждениям сельского автомеханика, что любую иномарку надо, прежде всего, разобрать на детали и затем тупо наблюдать их.

Душа, которая в наблюдении не дана, это, по мнению Ламетри, всего лишь «лишенный содержания термин». Соответственно, нет и никакого смысла жизни, долга, общечеловеческих ценностей — есть только наслаждения живой машины, среди которых важнейшим является секс. Современники поступили с военврачом Ламетри достаточно сурово (хотя он,

чувствуя, что шкодит, писал свои трактаты анонимно, подобно нынешним пользователям Интернета). Вначале за свои вульгарно — материалистические труды Ламетри был изгнан из гвардии и лишен должности военного врача во Франции. Затем в Голландии книга «Человек- машина» была сожжена рукой палача по постановлению Лейденского магистрата. Это было не большим проявлением мракобесия, чем сегодняшний запрет на порнографию, поскольку учение Ламетри и было *теоретической* порнографией. Право, стоило бы присоединиться к мнению Вольтера, который называл Ламетри полной противоположностью Дон Кихота: он мудрец, когда занимается своим ремеслом, и малость безумен во всем прочем. Но ведь то же самое можно сказать обо всех естествоиспытателях и врачах, когда они пытаются перейти от своих профессиональных представлений к доморощенной философии! Современники наградили Ламетри прозвищем Господин Машина, ему пришлось смириться с этой кличкой и весело воспринимать ее, делая хорошую мину при плохой игре.

Сегодняшние медики, памятуя об участи Ламетри, предпочитают не *озвучивать* свое вульгарно — материалистическое кредо, но втихомолку придерживаются все тех же воззрений. В большинстве своем они тоже думают, что душа — это понятие, неуместное в точной медицинской науке. У хирургов и терапевтов, а также у всех, кто занят лечением соматических заболеваний, нет ни малейшего сомнения на этот счет. Но в несколько иной ситуации находятся психиатры, психоневрологи, психотерапевты и психологи, короче говоря, все те люди, в название профессии которых входит слово «душа» («псюхе»). Если эта душа — всего лишь пустое слово, которое не обозначает ничего, то, выходит, и все науки, начинающиеся со слова «психо», — это науки ни о чем.

Возможна ли психиатрия (психоневрология, психология, психотерапия) как наука?

Вот какой вопрос, в сущности, пришлось решать Карлу Ясперсу уже в своей диссертации. Двигался он при решении этого вопроса неспешно, почти на ощупь, исходя из самоочевидностей, поскольку был одним из первопроходцев в психиатрической науке.

Для начала надо признать: самоочевидно, что настоящая наука не может не иметь теории, к совокупности опытов и наблюдений наука не сводится. Наука не может вечно изобретать один и тот же велосипед. Результаты опытов и наблюдений, произведенных в прошлом, должны обобщаться в теории и приниматься во внимание наукой современной.

Таким образом, даже наука, основанная на опыте, должна иметь *историю и теорию.* Поэтому-то Карл Ясперс счел необходимым начать свою диссертацию с *исторического* экскурса, который на самом деле был *скрыто — теоретическим* экскурсом (по причине аллергии психиатров на теорию).

Самоочевидно, что ностальгию, известную со времен античности, уже изучали на протяжении веков. Самоочевидно и то, что начинали при этом не с нуля и велосипед всякий раз не изобретали заново: хотя бы из научного любопытства всякий исследователь ностальгии интересовался, чего достигли его предшественники. В результате постепенно складывалось и развивалось теоретическое представление о ностальгии. И, рассматривая вклад медиков прошлого в исследование ностальгии, можно не просто описывать исторические представления о ней, но и втихомолку искать научное определение ностальгии.

Известно, однако, что исследователь может найти только то, что он ищет. Если послать человека на перекресток и велеть ему заниматься там наблюдением, он непременно спросит, *что именно* ему следует наблюдать. Если, по совету эмпириков, сказать, чтобы он вначале наблюдал *вообще,* непредвзято, рассматривая себя как чистую дощечку, а потом обобщил свои наблюдения, он только покрутит пальцем у виска. Любые наблюдения предваряются в науке гипотезой: вначале формируется некоторое теоретическое представление о том, *что* будет наблюдаться, а затем уже с помощью наблюдений и экспериментов эта гипотеза либо подтверждается, либо опровергается.

Мы намереваемся наблюдать, что написано в литературе о ностальгии. Нам откроется в наблюдении только то, что мы готовы увидеть. Мы ищем описания ностальгии. Но при этом мы должны представлять себе достаточно отчетливо еще до наблюдений, что это такое — ностальгия.

Так что же мы найдем в библиотеке, штудируя литературу прошлого о ностальгии? Если использовать сегодняшний компьютерный сленг, можно выразиться так: что мы получим, введя в поисковик слово «ностальгия»? Карл Ясперс без особого удивления констатирует, что в результате произведенного поиска мы получим *не только* библиографию трудов психиатров. Эти труды как раз составят меньшинство в списке. А преобладать в нем будут всяческие поэтические произведения, элегические воспоминания о былом, литературные источники, музыкальные творения, включая многочисленные народные песни.

Возникает вопрос: что историку психиатрии следует

исключить из рассмотрения, а что оставить? Говоря иначе: где начинается психиатрия и где она заканчивается? Читая книги и статьи о тоске по родине, Карл Ясперс понял, что такую четкую границу провести нельзя. Искусство, медицинская наука, народная мудрость — все это плавно перетекает друг в друга, когда речь заходит о ностальгии.

Медицина в Европе — это медицина *университетская,* а не узкопрофильная, как в России. Как чванливый сантехник считает пустозвонами всех, кто знает что-то, выходящее за пределы сантехнической мудрости о конкретных тарельчатых унитазах и новейших фановых трубах, так и узкопрофильный медик в России считает своим долгом борьбу со всякой «пустопорожней философией и поэзией». В Европе же эрудиция врачей, привыкших в университете уважать представителей других наук и отраслей культуры, простирается удивительно далеко. Они ничего не отбрасывают сходу, а во всем ищут какое-нибудь «рациональное зерно».

Молодой психиатр Карл Ясперс тоже получил *университетское* медицинское образование. Так что нет ничего удивительного, что он начинает свою историю описаний ностальгии с античных времен. Он щеголяет своей общей эрудицией и указывает, что тоску по родине испытывал Одиссей, долгие годы добираясь до своей Итаки, и Гомер описал эту тоску со всем присущим ему мастерством. Ясперс напоминает, что изгнание из родного полиса было для древних греков наказанием, вполне сопоставимым по тяжести со смертной казнью. Он отмечает, что о своей тоске по Риму (desiderium patriae) пишет Овидий, а древние евреи пели о своей ностальгии в псалме «на реках вавилонских». Однако врачи античности— даже такие великие, как Гиппократ и Гален— еще не упоминают ностальгию в числе *болезней.* Поэтому диссертант Ясперс полагает, что история *медицинской* литературы о ностальгии начинается с 1678 года, когда в Базеле на латинском языке выходит в свет небольшая работа, диссертация Иоганна Хофера. Ее автор с полным основанием считает ностальгию «новой темой», подчеркивая тем самым, что ранее медиками ностальгия не исследовалась. Он именовал «ностальгией» болезнь, которая называлась на швейцарском диалекте *Heimweh,* а во Франции — *mal du pays.* То есть Хоферу не пришлось изобретать слово для того, чтобы назвать болезнь. Это слово уже нашел народ, который зафиксировал в языке само явление — тоску по родине — задолго до медиков.

Чем же отличались медицинские исследования ностальгии от немедицинских, ненаучных ее описаний? Вопрос не праздный,

потому что медицинские описания ностальгии поначалу тесно переплетались с беллетристическими, и нередко сами медики подавались в беллетристы:

«… История учения о тоске по родине в своих истоках тесно связана с общей историей литературы. Наряду с медицинскими работами в XVIII веке, в ответ на сентиментальные настроения, возобладавшие в это время, возникло и множество популярных описаний недуга тоски по родине, которые, со своей стороны, оказали обратное воздействие на первые, так что в дальнейшем поэтическое творчество смешалось с медицинскими наблюдениями и критическими исследованиями, что представляется интересным с исторической точки зрения, но для нашей специальной научной цели оказывается довольно неблагоприятным»[99].

Наука, по мнению диссертанта К. Ясперса, начинается тогда, когда появляется стремление к выяснению *причинно — следственных связей,* знание которых позволит *лечить* человека.

Художники и поэты, мемуаристы и беллетристы могут лишь описывать тоску по родине, но вовсе не ставят задачу лечить ее. Врач лечит, основываясь на науке (этим он отличается от шамана или «народного целителя», ранее именовавшегося знахарем и колдуном). Стало быть, историю медицинской литературы о ностальгии надо начинать именно с работы Хофера.

Ностальгия по версии И. Хофера: смехотворность вульгарного материализма

Швейцарец Иоганн Хофер занялся исследованием ностальгии еще в 1678 году потому, что это заболевание переворачивало все привычные представления медиков. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с двумя описаниями случаев — казусов, которые привел И. Хофер и которые К. Ясперс счел нужным пересказать дословно:

«Один молодой студент из Берна заболел в Базеле: у него была лихорадка, он испытывал страх, к этому добавились тяжелые симптомы. Уже ожидали его смерти, когда аптекарь, пришедший делать ему клизму по предписанию врача, поставил диагноз, определив это состояние как тоску по родине, и заявил, что против него нет никакого иного средства, кроме возвращения в родные места. Юноше полегчало прямо на глазах, по дороге на родину его состояние еще более улучшилось, и в Берн он прибыл здоровым. Второй случай — описание состояния девушки, которую доставили в больницу. В ответ на все вопросы, задававшиеся ей с целью выбора способа лечения, она только

повторяла: “Я хочу домой, я хочу домой”. Дома она выздоровела за несколько дней, без применения лекарственных средств»[100].

Что же в этих случаях — казусах было странного?

Всё!

Во — первых, психическое заболевание вызывало серьезные соматические расстройства: душа влияла на тело!

Во — вторых, медикаментозное и процедурное лечение соматических недугов не давало никакого эффекта.

В — третьих, соматические недуги быстро проходили, как только у больного менялось состояние души — когда больной отправлялся в родные места.

Значит, состояние души двояко влияло на тело — оно могло вызывать телесные недуги, а могло излечивать их!

Это не укладывалось в голове у врача — материалиста Хофера. Это противоречило всем принципам медицины.

Душа самым радикальным образом воздействовала на тело и была способна излечить *его без всякого участия врачей.*

Речь шла, таким образом, не только о психогенных, как их принято называть теперь, факторах, вызывающих соматические заболевания, но и о психогенных факторах, детерминирующих *излечение* от соматических заболеваний!

Материалист Хофер стал лихорадочно искать объяснения ностальгии, причем такие, которые могли бы спасти авторитет медицины, отрицавшей возможность влияния души на тело.

Первая из нескольких, поистине лихорадочных попыток опровергнуть «медицинский идеализм» у Хофера сводится к тому, что он стремится ограничить масштабы «неправильного» явления, и заявляет, что ностальгия проявляется только в молодости. Понимать это надо так: да, душа может оказать влияние на тело, но — только в порядке исключения, редко, в молодые годы. Так швейцарский врач пытается сузить границы этого непонятного и неприятного для медицины феномена и, следовательно, уменьшить его значимость. К. Ясперс комментирует его позицию:

«Хофер отмечает, что ностальгии подвержены, в первую очередь, молодые люди, в особенности те, которые жили дома со своими родными и никогда не бывали “в людях”. Покинув дом, они не могли привыкнуть к чужим обычаям и нравам. Они не могли жить, будучи оторванными от родных корней, тосковали по дому день и ночь, и если их стремление вернуться домой не находило удовлетворения, они заболевали»[101].

Конечно же, никаких статистических данных у швейцарского врача нет, как нет и историй болезней. Он строит свои умозаключения, опираясь только на так называемый здравый смысл. Молодые люди мало ездили по свету и мало видели.

Поэтому первое попадание на чужбину, где все — другое, совершенно выбивает их из колеи. А вот взрослые, которые поездили и повидали виды, знают, что в разных домах разные порядки, а что ни город — то особый норов. Значит, они легче смогут смириться с чужим укладом жизни и приспособиться к нему. А потому не заболеют ностальгией.

Вывод, как видим, основан не на опыте, не на наблюдениях за больными — у Хофера нет статистики заболеваемости ностальгией в молодом, среднем и старшем возрасте; у него вообще мало эмпирического материала, а потому ему приходится фантазировать. Аргументы его легко опровергаются. А если молодой человек много ездил и видал разные культуры, например был мореплавателем, у него не будет ностальгии? А если старец почти никогда не покидал родных мест, у него ностальгия будет? Значит, ностальгия не связана с возрастом! Ведь уехал Одиссей воевать молодым человеком, а ностальгию испытывал до самой зрелости. И как объяснить, что старцы пишут ностальгические мемуары?

Быть может, с возрастом можно связывать только остроту переживания ностальгии? Но и здесь все зависит от степени интеллектуального развития, от образования человека, от его темперамента. Ведь что такое образование, как не прививка от ностальгии? Тот, кто изучает иные культурные миры, как бы получает опыт виртуального пребывания на чужбине и вырабатывает иммунитет к тоске по родине. Он как бы пережил общение с иными культурными мирами в классе еще до того как действительно в них оказался, а потому переживает ностальгию в ослабленном виде: не сходит от нее с ума, не убивает людей, чтобы вернуться домой…

В общем, одним возрастом возникновение ностальгии и ее губительное воздействие на соматические процессы не объяснить.

И. Хофер предпринимает следующие попытки отстоять честь врачебного вульгарного материализма. Он выдвигает гипотезу, в соответствии с которой ностальгия, возможно, возникает у людей, которые ранее, до отправки на чужбину, уже болели какими-то соматическими болезнями. А потом, оказавшись в чужих краях, при первом признаке нового обострения таких болезней сразу же впадали в тоску по родине. Что же, бывает и такое. Всякий знает, как скверно чувствуешь себя, если заболеешь в командировке или проводя отпуск в чужой стране — невероятно хочется вернуться на родину!

Но строить всю теорию ностальгии на том, что человек, возможно, уже болел чем-то соматическим на родине — и болезнь обострилось на чужбине, вызвав ностальгию? Это уже

фантазии, недостойные врача — ученого. И потом: как тогда объяснить быстрое излечение по дороге на родину? Допустим, у человека был гастрит. Он уехал на чужбину, и там из-за непривычной воды и пищи заболевание обострилось. Понятно, что всякий предпочитает болеть в родных местах. Человека потянуло на родину. Он еще даже не уехал с чужбины или только сел в почтовую карету, а болезнь уже начала проходить! И много быстрее, чем проходит обычный гастрит на родине!

Еще одна попытка отчаявшегося материалиста Хофера — стремление связать ностальгию с изменением атмосферы. Допустим, жил человек в горах, где воздух свеж и разрежен, и спустился работать в долину. А там воздух другой. Вот он и стал чувствовать дискомфорт при дыхании, а затем и нарушился привычный обмен веществ. А ностальгия это всего лишь следствие этих материальных процессов…

И здесь все не сходится. Как показывают истории болезней, которые мы цитировали, девочки испытывали тоску по родному дому всего в часе ходьбы от него — то есть по равнине километров семь, а в горах — и того меньше. И что же, так сильно там отличается атмосфера?

Хофер предпринимает новую попытку и стремится объяснить возникновение ностальгии не «жизнью души», а хотя бы внешними факторами, которые можно зафиксировать в наблюдении, пусть даже они не физические, а культурные. К. Ясперс приводит его слова:

«…Изменившийся образ жизни, изменение атмосферы и чужие обычаи способствуют вспышке ностальгии. В качестве признаков, которые создают опасность ее возникновения, он называет неприятие чужого уклада жизни, предрасположенность к меланхолии, повышенную восприимчивость и раздражительность от подначек и шуточек в своей адрес, отстраненность от чужих способов проводить свободное время и развлекаться»[102].

Согласимся, что это весьма слабое подтверждение материализма. Ностальгию вызывает не чужой уклад жизни, а неприятие его, то есть внутреннее состояние души. Восприимчивость и раздражительность, неприятие чужих способов проводить досуг — это тоже внутренние качества души. Выходит, душа все же влияет на тело!

Так и не определившись с факторами, которые вызывают ностальгию, материалист И. Хофер вдруг принимается излагать чисто умозрительную теорию происхождения тоски по родине, которая сразу же заставляет вспомнить о ленинском риторическом вопросе: «Мыслит ли человек при помощи мозга?».

По Хоферу оказывается, что ностальгия имеет совершенно определенную локализацию в веществе мозга:

«Интерес представляют взгляды Хофера на этиологию, патогенез и локализацию тоски по родине. Она, по его мнению, локализована в наиболее глубокой внутренней части мозга, куда выходит бесчисленное количество нервных волокон, по которым осуществляется непрерывный прилив и отлив жизненных сил ***(Spiritus animales)***. Сущность болезни заключается в расстройстве способности воображения; при этом жизненные силы переходят через “полосатый” холм, в котором локализована идея отечества, и, таким образом, пробуждают в душе только эту идею. От этого они (жизненные силы. — ***А. П.),*** в конечном итоге, устают, истощаются, путаются и сбиваются, что и вызывает игру воображения. Происходящая почти постоянно вибрация (***vibratio***) жизненных сил в волокнах белого вещества головного мозга, где запечатлеваются мысли о родине, приводит к тому, что душа оказывается без остатка занятой мыслями о родных местах. Симптомы ностальгии возникают потому, что скованные жизненные силы больше не попадают в другие части мозга и не могут исполнять свои определенные природой функции. Аппетит больше не возбуждается; желудочный сок теряет способность химически преобразовывать пищу; пищевая кашица проникает в кровь в более сыром состоянии; состав крови оказывается более густым, и в нем возникает меньше жизненных сил, чем раньше, а те немногие, что еще остаются, истощаются благодаря продолжительному психическому напряжению мозга. От этого скудеют произвольные и рефлекторные движения, замедляется циркуляция крови; более густая кровь вызывает замедленное сердцебиение, растягивает сосуды и вызывает страх. Таким образом, все заканчивается смертью. Хофер заканчивает этот абзац словами: “А все это может происходить только из- за способности воображения”»[103].

Остается только гадать, откуда Хофер знает, в каком именно отделе мозга локализованы мысли о родине и способность воображения. Но, поскольку причины возникновения ностальгии уверенно предполагаются материальными, следует закономерный вывод: и лечение ее должно проводиться тоже с использованием сугубо материальных средств — к примеру, слабительного.

«Прогноз зависит от того, можно ли вернуть больного на родину или нет. Терапия направлена на улучшение расстроенной способности воображения и на ослабление симптомов. В отношении первой, если она еще не пустила прочных корней, он (Хофер. — ***А. П.)*** рекомендует слабительное, благодаря чему выводится балласт непереваренных веществ из пищеварительного

тракта. Для ослабления симптомов он рекомендует различные микстуры»[104].

Разумеется, эти объяснения вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Главный из возникающих вопросов — почему отправка на родину больного ностальгией действует на него подобно слабительному? Ведь человек, которого отправляют домой, сразу же выздоравливает от ностальгии и телесных недугов. И от слабительного, по мнению Хофера, можно ожидать такого же эффекта? Но разве же отправка на родину действует подобно слабительному?

Шутки шутками, а ведь сегодняшние сторонники чисто медикаментозного лечения психических недугов исходят, сами не сознавая того, из посылок, ничуть не менее удивительных…

Ностальгия по версии Ларрея: приговор медицинскому вульгарному материализму

Продемонстрировав, насколько забавны материалистические объяснения ностальгии, диссертант К. Ясперс еще некоторое время продолжает сохранять вид объективного наблюдателя, а на самом деле коллекционирует наиболее смехотворные из материалистических объяснений, данных в последующие годы. Он отмечает, что после выхода в свет книги Хофера в исследованиях ностальгии надолго наступил застой. Только тридцать лет спустя, в 1710 году, врач Цвингер переиздал работу Хофера, добавив к ней несколько примеров ностальгии, но присовокупив глубоко идеалистическое замечание: он заявил, что ностальгия может вызываться чисто психологическим фактором, а именно слушанием песен альпийских пастухов.

Впоследствии врач Шойхцер развил материалистический тезис Хофера о влиянии атмосферы на тоску по родине. Он полагал, что швейцарцы — у которых наиболее распространена ностальгия[105] — живут в горах, где воздух легок и мягок. Естественно, такой нежный воздух соответствующим образом воздействует на пищу и напитки швейцарцев. Они привыкают от рождения к нежному воздуху и соответствующему утонченному рациону. Но стоит им спуститься с гор на равнину, как иной воздух и иные, более грубые продукты питания оказывают на них губительное действие. Сжимаются тонкие волокна кожи, замедляется циркуляция крови, и в результате возникает тоска по родине. Шойхцер заметил, что ностальгией страдают, прежде всего, люди с тонкой кожей и люди, привыкшие употреблять в пищу молоко (на разной высоте над уровнем моря, при различии химического состава воздуха, которым дышали коровы, оно

отличается, и молоко равнины фатально вызывает тоску по родине).

Можно предполагать, что диссертант К. Ясперс включал в диссертацию все эти материалистические рассуждения с ехидной улыбкой. Ведь было совершенно ясно, что они построены на голых измышлениях — никаких химических анализов и анатомических исследований не проводилось. Утонченность воздуха — это, скорее, поэтическая фантазия. О, сколь тонок разреженный воздух в горах. Нежнейшее молоко дают там нежнейшие коровы. Из него делают нежными руками своими швейцарцы воздушный шоколад… Нечто подобное мы сегодня слышим в рекламе шоколада “Milka”, но едва ли относимся к подобной рекламной поэзии как к науке. Правда, ученые XVIII века тоже фантазировали с удовольствием, но фантазии эти были бедноваты. Их явно не хватало, чтобы представить себе альтернативные эксперименты. Что, к примеру, будет, если поднять в горы жителя долины и оставить жить там, в Альпах, в нежном воздухе и на нежнейших воздушных продуктах? Он, конечно же, ни в коем случае не сможет почувствовать тоску по родине, ведь произошел переход с «толстой» пищи на «тонкую», куда более совершенную…

Понятно, что материалист Шойхцер предлагает и сугубо материальные методы лечения: чтобы побороть ностальгию у горцев, он требует повысить степень присутствия воздуха в их теле. Для этого надо употреблять в пищу все, что содержит сгущенный воздух — к примеру, молодое вино и селитру. В подтверждение своей правоты Шойхцер рассуждает о неизбежной ностальгии у китов, которые, спускаясь в южные широты, тоже испытывают последствия изменения атмосферы. Неизвестно, правда, откуда Шойхцеру известно о ностальгии, переживаемой китами. Ведь записывать и слушать их песни стало модно только в XX веке (их блестяще аранжировал Пол Уинтер в своей «Колыбельной матушки — китихи»), Но едва ли эти песни китов можно однозначно квалифицировать как ностальгические, для этого следовало бы сравнить записи китов в северных и южных широтах путем «вчувствования» в них. Но, согласимся, для точной науки такое «вчувствование» не годится — больно уж велик в нем субъективный момент. Поди, определи, тоскует ли кит по родине — по звукам, которые он издает. К тому же непонятно, родился ли именно этот кит в южных или в северных широтах — где у него родина, а где чужбина? На родине он поет или вдали от нее?

Вопрос о влиянии атмосферы на ностальгию также решался врачами прошлого чисто субъективно. Вот, к примеру, врач Д.

Хардинг был, в отличие от Шойхцера, патриотом города Ростока, а потому он объявил нездоровым и грубым как раз горный швейцарский воздух, утверждая, что он делает швейцарцев глупыми. Именно потому швейцарцы, вынужденные переехать в Росток, где воздух *нормален,* испытывают тоску по родине и чахнут, «подобно тому хмелю, который привыкнув к зловонному навозу, уже не может разрастаться на какой-то иной почве».

Затем, если судить по отреферированным диссертантом Ясперсом книгам, ностальгию перестали приписывать только швейцарцам. Она была признана феноменом общечеловеческим. И. Г. Циммерман в 1774 году с успехом доказал, что ностальгия наблюдается также у солдат из Бургундии и у шотландцев. Но более всего она проявляется у рекрутов, которым насильно забривают лбы в Англии. Едва вернувшись на родину из одной военной экспедиции, они оказываются на другом корабле, отправляются в новый поход и тысячами гибнут от тоски по родине. Опять-таки возвращение на родину творит чудеса — стремительно выздоравливают самые тяжелые больные. Стало быть, тема высокогорного воздуха, влияющего на возникновение тоски по родине, снимается — на уровне моря ностальгия случается тоже.

Итак, первый прием, который К. Ясперс применяет в своей диссертации для ненавязчивого, скрытого отстаивания своей точки зрения («душа способна вызывать и излечивать болезни тела»), состоит в том, чтобы отбирать наиболее смехотворные и нелепые доказательства противоположного. Чем смешнее материализм, тем меньше у него сторонников. Именно потому Карл Ясперс и выбирает из реферируемой литературы наиболее несуразные материалистические объяснения ностальгии.

Второй прием состоит в том, чтобы с фактами в руках продемонстрировать возможность быстрого выздоровления от соматических недугов. Заболевание, конечно, может пройти и в результате того, что организм ведет с ним борьбу, но это не может произойти в одночасье или в течение дня. Быстрое исцеление может происходить только под сильным влиянием психогенных факторов, то есть, говоря по старому, души.

Карл Ясперс, описывая такое влияние, подробно цитирует книгу того же И. Г. Циммермана:

«Одному студенту факультета медицины в Геттингене, родом из Берна, под влиянием тоски по родине стало казаться, будто ему грозит разрыв аорты. По этой причине он совсем не решался выходить из комнаты. Однако в день, когда пришло письмо от отца, который велел ему ехать домой, он от великой радости обежал весь Геттинген, попрощался со всеми знакомыми и через

два дня, будучи весьма бодрым, сел в Касселе в зимний конный экипаж. А ведь за два дня до этого он совершенно падал духом, увидев, что ему предстоит подняться по лестнице в несколько ступенек. Позже, будучи в другом месте, он еще раз заболел ностальгией. Здоровым и жизнерадостным он был только дома»[1].

Речь здесь однозначно идет о выздоровлении тела исключительно под воздействием души, которая обрела позитивный настрой. Нет в этом казусе — случае никакой смены климата, воздуха и воды. Выздоровление происходит в одночасье, даже в один момент — в *том же климате, в том же месте и в то же время* — после приказа от отца немедленно ехать домой. Человек, который находился при смерти, подскакивает с постели и обегает весь город, стремясь поделиться радостной вестью. Конечно, оппоненты могут возразить, что представления о болезни аорты студент породил исключительно при помощи собственной фантазии. Но это был студент, *изучавший медицину*. Он наверняка зафиксировал у себя одышку и ненормальный пульс при нагрузках, равно как и пару — тройку иных объективных симптомов.

Карл Ясперс наверняка хотел бы уподобиться этому геттингенскому студенту — медику: вот позвал бы его домой отец, чтобы как по мановению руки исчезли бы все его телесные недуги…

Но… один подобный случай воздействия души на тело еще ничего не доказывает. Он может быть, в конце концов, просто выдумкой. А Ясперсу надо было — точно, научно, на *обширном* достоверном материале — доказать возможность воздействия души на тело. Доказать и себе, и другим, в особенности врачам, которые в это не верят.

И вот здесь—то диссертант, продолжая делать вид, что занимается невинным обозрением литературы последних лет, выкладывает на стол свой главный козырь. Он рассказывает о самой выдающейся книге, которая была написана о ностальгии. Ее автором был врач Наполеона I Ларрей, а называлась она «О локализации и последствиях тоски по родине». Этот труд был известен в Германии и вызвал здесь большой интерес: его дважды переводили на немецкий язык. Врач Ларрей собрал огромный эмпирический материал во время походов наполеоновской армии — в особенности, во время похода в Россию. Можно сказать, что эксперимент проходил в абсолютной чистоте, если, конечно, рассуждать о наполеоновских походах с цинизмом, присущим врачебной науке, которая оставляет за пределами лечебницы моральные соображения, обращая внимание только на медицинскую суть дела.

В солдаты, как известно, берут только здоровых людей. В чрезвычайных положениях Родину, конечно, может защищать каждый, даже инвалид и больной. Но тут речь идет о завоевательных походах. Им, разумеется, предшествовал медицинский осмотр. Так что воевать на чужбину отправились исключительно здоровые люди.

А вот на чужбине эти здоровые люди в массовом порядке стали болеть от душевных переживаний, от тоски по родине. Никаких иных причин болезни врач Ларрей зафиксировать не смог. Не было ни ранений, ни эпидемий. Только тоска по родным местам. Мудрый Кутузов не спешил с боевыми действиями. Он как будто знал о губительном действии ностальгии на завоевателей…

Поэты приучили нас к мысли, что она — ностальгия — проявляется у каждого на свой лад. Сколько поэтов — столько особых песен о родине, трогательных до слез. Ларрей показал, что ничего индивидуального и уникального во всех случаях солдатской ностальгии не было. Она протекала по одной и той же схеме и заканчивалась смертью у многих сотен людей.

«Ларрей утверждает, что, как и у всех душевнобольных, у больных тоской по родине вначале проявлялись отклонения от нормы психических функций, а затем отклонение от нормы функций органов чувств и отклонение от нормы произвольных движений. На пике психического помешательства больные видят, будучи на чужбине, восхитительнейшие картины родных мест, какими бы суровыми и невзрачными они ни были на самом деле. Как они говорят, перед ними предстают родные и друзья в самых дорогих одеждах, выражения их лиц радостны и приветливы. Болезнь протекает в три стадии. Для первой характерно возбуждение, жар, вызванный приливом крови к голове, учащение пульса, беспорядочные движения, покраснение конъюнктивы, блуждающий взгляд, торопливая и небрежная речь, вздохи, запор, опоясывающие боли. Для второй характерны тяжесть и гнетущие ощущения во всех органах, вялость желудка и диафрагмы, симптомы желудочно — кишечного воспаления, усиление лихорадки. Третья стадия характеризуется слабостью, общим упадком сил, состоянием грусти, стонами и слезами, отвращением к пище и воде, за чем следует постепенное угасание жизни или самоубийство.

Именно таким образом на глазах Ларрея происходила при отступлении французов из Москвы смерть многих его товарищей по походу. Произведя вскрытия, он обнаружил следующее: поверхность мозга и паутинная оболочка мозга воспалены, покрыты гноем, субстанция мозга отечна и тверже обычного.

Артерии наполнены черной жидкой кровью. Вторичные признаки — переполнение легких, расширение сердца, раздутость желудочно — кишечного тракта, вызванная газами, покраснение слизистых. В той же работе он описывает некоторые ранения головы и находит сходство между их последствиями и последствиями ностальгии»[106].

Вот, собственно, то главное, ради которого и написана диссертация Ясперса.

Есть ностальгия, которая поражает самых здоровых людей на свете — солдат. Ностальгия — это чисто психическая болезнь, не вызываемая никакими телесными недугами или эпидемическими заболеваниями (это косвенным образом доказывается тем, что ностальгия поразила далеко не всю армию Наполеона, хотя и заметную ее часть). Итак, совершенно здоровый человек при отсутствии воздействия внешних, материальных патогенных факторов и соматических заболеваний страдает от фактора психического. Это приводит к возникновению целой серии однообразных симптомов, которые зафиксированы у множества больных. Эти типичные для пораженных ностальгией телесные симптомы даже позволяют выделить некоторые закономерности развития заболевания и стадии в его развитии. Заболевание отнюдь не является воображаемым, оно приводит к реальной смерти, причем в массовом порядке.

Надо ли говорить, что мгновенное перенесение солдат армии Наполеона I из-под Москвы на родину дало бы возможность наблюдать поразительный и мгновенный терапевтический эффект? Какие еще нужны доказательства возможности влияния состояния души на состояние тела?

Конечно же, Ясперс не был бы Ясперсом, если бы он не сдержал себя и закончил диссертацию этим триумфом, торжественно забивая гвоздь в крышку гроба наивного врачебного материализма. Ведь он, слабосильный с детства, всегда избегал конфликтов, отлично зная, что, побеждая людей в споре, ты наживаешь врагов.

Поэтому хитроумный Ясперс тут же приводит мнения критиков Ларрея, которые, чего и следовало ожидать, выглядят у него не особенно убедительными. Он как бы выслушивает обе стороны, но одна из них — материалистическая — как нарочно выглядит слабой. В частности, врач Амелунг полагает, что тоску по родине, описанную Ларреем, можно свести без остатка к двум заболеваниям — нервной лихорадке и меланхолии. Кроме того, тоска по родине вполне может быть не самостоятельным заболеванием, а всего лишь симптомом иных воспалительных болезней, ведь всякий, кто имел несчастье хотя бы раз серьезно

заболеть на чужбине, испытывал в этот момент особо острую тоску по родине.

Но дело уже сделано. *Saptenti sat.* Для человека умного вполне достаточно сказанного Ларреем: душа может влиять на тело, причем не только вызывая тяжкие телесные заболевания, но и исцеляя от них.

Единственный эффективный способ исцеления — это возвращение на родину.

Но с возвращением на родину все оказывается не так просто.

Истории болезней девочек — убийц показывают нам, что они возвращались на родину, однако это им не помогало. Они прибегали в родительский дом, а там их жестоко били, иногда заранее приготовив для этого палку, и возвращали обратно, на чужбину.

Была ли это та *родина,* тоску по которой они испытывали?

Явно нет!

Их манила та родина, которая являлась им в видениях. Та родина, которая виделась в российских снегах наполеоновским солдатам — невыразимо прекрасная, живописная, на которой живут приветливые люди, одетые в самые лучшие одежды.

Жизнь в людях — это неподлинное существование. Из нее хочется бежать. Но куда бежать? Реальные родители тебя дома не ждут. Они могут только вернуть тебя в неподлинный мир. Они, в сущности, тоже стали частью этого чуждого мира.

Бежать можно только в страну, созданную фантазией, — туда, где ты почувствуешь себя как дома. Например, к внутреннему морю. Или, как у Вампилова, на внутренние болота, где самая лучшая утиная охота.

Эта виртуальная родина, куда можно бежать от тоски неподлинного существования, отнюдь не создается человеком по желанию, точно так же, как мы не можем по собственному произволу заказать себе хороший сон. Виртуальная родина *открывается ему,* независимо от его воли, в состоянии крайней тоски. Она приходит к человеку — не тогда, когда этого хочет человек, а тогда, когда этого хочет она, подлинная родина. (У русских диссидентов, включая современных правозащитников, она приходит однажды и уже никогда не уходит).

Образы прекрасной родины — во сне или наяву, либо в виде продукции какой-нибудь «фабрики грез», киностудии или телестудии — приходят тогда, когда человек уже совершенно не может жить в реальных предлагаемых обстоятельствах.

Что же это за обстоятельства? Почему они неприемлемы? Задумаемся, отчего возникала невыносимая тоска по воображаемой родине у девочек — нянек?

Ведь в людях они жили ничуть не хуже, чем дома. Они сами признавали, что в людях их лучше кормили, что бытовые условия превосходили те, которые были в родительском доме. Значит, дело было не в материальном окружении.

Дело было в отсутствии чувства *укорененности.* Родина, по которой *смертельно* тоскует человек — это его внутренняя страна, в которой он чувствует себя укорененным.

Есть такое расхожее выражение в отечественной культуре — «Я родом из детства» (под таким названием известен фильм В. Турова, вышедший на экраны в 1966 году, а также альбом В. Высоцкого). Это выражение прекрасно передает суть дела: у человека взрослого детские представления о родине специфичны, они как раз и создаются фантазией из различных наиболее приятных воспоминаний, а потому эта родина детства и предстает нам столь красивой, привлекательной, столь манящей. Это туда мы стремимся вернуться из жестоких коллизий нынешней повседневности. Это за представление о такой невыразимо прекрасной родине мы держимся, чтобы не сорваться в пропасть безумия.

Вовсе не эта картина виртуальной прекрасной родины сводит с ума человека, страдающего от ностальгии, и не от песен альпийских пастухов впадают в смертельную тоску горцы. Наоборот, эти прекрасные образы — последние якоря, за которые можно уцепиться, чтобы не сползти в пропасть безумия.

Да, образ здесь может быть таким: альпинист на крутом горном склоне, покрытом льдом. Он все время находится в опасности — соскользнуть в пропасть, в беспочвенность. А родина — это то надежное место, на котором можно закрепиться, обретя опору.

Запомним это.

А пока поставим перед собой следующий вопрос. Можем ли мы, будучи учеными, с полной достоверностью знать, какой представляется виртуальная родина больным ностальгией? И, соответственно, какой представляется им отвратительная чужбина?

Можно ли описывать внутренний мир человека с такой же точностью, с какой физики описывают мир внешний?

Вот вопрос, который может показаться нашему российскому современнику праздным и странным. Философы, выпущенные рабфаками, научили его, что сознание это зеркало. Значит, во внутреннем мире должно быть только то, что есть во внешнем

мире. Зеркало искажает, если оно отражает что-то свое, в дополнение к окружающей действительности. Это — плохое зеркало. Так же плохо и все субъективное, что есть в сознании. Его надо не рассматривать и не описывать, а искоренять. Лучше всего — таблетками.

Но диссертант Карл Ясперс думал иначе. Как психиатр, он должен был исследовать состояние девочек — преступниц, обезумевших от ностальгии. Можно ли, ссылаясь на точные факты, доказать, что они — невменяемы? Фактом в данном случае может быть то, что было дано в наблюдении девочкам — преступницам, например, их видение прекрасной родины и, наоборот, отвратительной чужбины. Можно ли описать этот внутренний опыт так, чтобы это описание было признано научным?

Молодому врачу — диссертанту этот вопрос представлялся самым главным. По сути, он был равносилен для него вопросу кантовского толка: «Как возможна психиатрическая наука?» Наука, по И. Канту, последователем которого К. Ясперс считал себя всегда, возможна лишь в том случае, если она опирается на опыт и обеспечивается специальной познавательной способностью человека.

Психиатрия (как и психология) возможна как наука лишь тогда, когда она будет опираться на опыт, на факты, данные в наблюдении. Но наблюдения производят больные. Во сне, в дневных грезах, во время галлюцинаций они видят — словно наяву! — нечто такое, что делает их жизнь совершенно невыносимой. Настолько невыносимой, что их рассудок и воля отказывают.

В рассматриваемых нами случаях девочки видят внутренним своим взором прекрасные картины родины и отвратительные картины чужбины (как мы успели заметить, эти картины вовсе не совпадают с реальными картинами родного и чужого дома). Противоположность прекрасной виртуальной родины и отвратительной виртуальной чужбины настолько резка, что у человека начинается острая тоска, нежелание жить, неспособность мыслить, паралич воли.

Что должен сделать на суде идеальный психиатр — эксперт?

Он должен показать суду то же, что видел в своей душе преступник — и суд, содрогнувшись от увиденного, признает, что увидевший подобное не может отвечать за свои поступки, то есть является невменяемым.

Показать суду это невозможно — разве что заставить преступника для выражения своих видений нарисовать картины в манере С. Дали или снять фильм в манере Л. Бунюэля, а потом

продемонстрировать в зале суда.

Таких талантов в мире немного. Однако *больные* вполне могут подробно описать свои видения. Не чувства, не переживания — а именно видения! *То, что они видели.*

Надо просто добиться от них, чтобы они описали виденное ими во сне, в дневных грезах, в галлюцинациях и в фантазиях, описали столь же строго, как описывают свои опыты физики. Тогда психиатрия и станет наукой.

Почему акцент делается именно на наблюдениях?

Потому, что образ «науки вообще» в любую эпоху списывается с науки — лидера. Во времена К. Ясперса таким лидером, конечно же, была физика. Физика — стараниями странных людей вроде Эрнста Маха, которых физики считают философами, а философы физиками, — успешно распространяла о себе миф, что никаких гипотез она не измышляет, теорий не выдумывает, ничего субъективного не привносит, а основывается исключительно на наблюдаемых фактах.

Приведенные нами истории болезней показывают: психиатрическая наука, стараясь выглядеть наукой, подражала физике и делала вид, что она опирается исключительно на опыт, на наблюдения, которые произвел сам врач или сделали опрошенные свидетели. Именно в таком качестве — в качестве ученого, который опирается строго на научные наблюдения, и ничего не выдумывает — психиатра и приглашали в суд экспертом по психическим состояниям.

Но… Много ли могут дать наблюдения, если надо судить о состояниях души? Ведь непосредственно душевные страдания наблюдать нельзя. Наблюдать можно только внешние проявления страданий: грустное выражение лица, отказ от еды, заплаканные глаза и тому подобное. Как мы могли убедиться, свидетельские показания о состоянии девочек были скудны и противоречивы: люди обычно плохо приглядываются друг к другу, предпочитая интересоваться собой. Страдала ли девочка от тоски по родине перед тем, как совершить преступление? Если страдала, то насколько сильно?.. Свидетели противоречат друг другу. Хозяйка дома, где она нянчила ребенка, заметила, что девочка вроде бы как-то плакала. Но девочка сказала сама, что все в порядке, просто ей попал в глаза дым. А учитель в школе никогда не замечал, чтобы девочка была в подавленном настроении. Зато школьная подруга пару раз замечала. Вроде бы. Хозяева дома говорят, что девочка стала меньше есть. У нее пропал аппетит — но вот от тоски по родине или нет, непонятно.

Нет, право, судить о душевном состоянии человека на основе таких наблюдений трудно. А ведь от этого суждения зависит его

судьба!

Народ говорит, что чужая душа потемки, но эксперт-психиатр не вправе повторять эту поговорку. Для него, *назвавшегося «психиатром»,* то есть врачевателем душ, эти души не должны быть потемками, в которых ничего не просматривается и ничего не наблюдается научно. Иначе никакой он не эксперт и не психиатр.

Психиатр — эксперт должен точно определять, что происходило у преступника в душе и насколько он был вменяем. Он должен точно судить о силе страданий, вызываемых ностальгией. Он должен определить силу душевных страданий абсолютно научно, так, чтобы доказать свою правоту судьям, используя строго научные аргументы. Ведь суд не удовлетворится умозрительными рассуждениями о нежности горного воздуха и его присутствии в швейцарском сыре, избавляющем от ностальгии.

Наука только тогда наука, когда она опирается на наблюдаемые факты. Так уж приучили всех считать физики. Но можно ли *наблюдать* внутренние страдания и точно судить об их силе?

Карл Ясперс в диссертации нашел ответ на этот вопрос.

Он предложил считать наблюдателем того, кого раньше научным наблюдателем не считали. А ведь этот наблюдатель лично наблюдал абсолютно все, что интересует психиатра и суд, причем наблюдал во всех деталях, целиком и полностью.

Этот идеальный наблюдатель — сам больной.

Все то, что он видел в своих снах и грезах, можно считать наблюдаемыми фактами, но при одном условии: они должны быть описаны так, как это полагается в науке. Наука это не только наблюдения. Наблюдения становятся научными, если их результаты надлежащим образом запротоколированы. Проблема психиатра, стало быть, заключается в том, чтобы научить больного наблюдать свои внутренние психические состояния строго, полно и точно, а затем пересказывать то, что наблюдалось, врачу для научного протоколирования.

Проблема, перед которой стоит эксперт, призванный решать вопрос о вменяемости ностальгирующих деревенских девиц, решилась бы, в таком случае, сама собой.

Как мы можем *научно* определить силу страданий девушки? — На основе наблюдений.

Девочка должна полно, строго и точно изложить нам все, что она наблюдала в своих снах и грезах. Мы добьемся этой полноты, строгости и точности, соответствующим образом расспрашивая ее, а потом запротоколируем все в истории болезни. Если девочка

невыносимо страдала от ностальгии, то это, безусловно, отразится на том, что она видела своим внутренним взором. Говоря проще, содержание сновидений и дневных грез будет говорить о силе переносимых страданий, и это будет сугубо объективная информация, свободная от субъективного произвола! Ведь мы не заказываем себе сны. Галлюцинации и грезы тоже не вызываются по нашему желанию, усилием воли или ума.

Это нам *показывает себя* болезнь. Надо, стало быть, наблюдать со всей научностью *то, как она* нам *себя показывает.*

Надо подробно протоколировать, что видел в своих снах и грезах больной. Надо заставлять его *припоминать свой внутренний опыт наблюдений* со всей точностью и во всех подробностях. А когда мы представим весь этот запротоколированный опыт суду, он сможет на научной основе решить вопрос о вменяемости подсудимого.

Конечно же, все это — мечта. Или, точнее, идеал, к которому надо стремиться.

Надо, чтобы больной точно вспомнил, что он видел внутренним своим взором накануне и во время преступления. Надо, чтобы ему хватило словарного запаса, чтобы описать это. Надо, чтобы врач запротоколировал его «показания» — как свидетеля картин, являвшихся в его внутреннем мире (точно то же самое, в сущности, делал и старший современник К. Ясперса З. Фрейд, анализируя сновидения как «свидетельские показания» пациента о самом себе).

Ко времени написания диссертации К. Ясперс еще не располагал такими феноменологическими описаниями видений, которые ему дали бы больные. Но у него был образчик, который максимально соответствовал его мечте — описание видений при ностальгии, данное человеком здоровым, и он подробно привел это описание в диссертации, в параграфе с неброским и странным названием «Тоска по родине, не находящая разрядки в преступлении»[107]. Речь в этом параграфе идет об описании своих видений, вызванных ностальгией, неким Ратцелем (даже имя его в диссертации Ясперса не упоминается). Этот Ратцель не был врачом, но не был и писателем- «сочинителем», создававшим какие-то вымышленные литературные образы. Он написал воспоминания о пережитом в юные годы, и в том числе о тоске по родине, которую испытал, когда его отправили учиться аптекарскому делу на чужбину. Как специально отмечает К. Ясперс, Ратцель был ученым, приученным строго документировать результаты опытов, наблюдения, сделанные в их ходе, и свое умение точно и строго описывать внешний мир он использовал для описания видений, являвшихся ему в мире

внутреннем.

К. Ясперс написал в диссертации:

«В противовес (медицинской литературе. — ***А. П.)*** мы располагаем автопортретом, данным Ратцелем[108], — настолько тонким психологически, что представляется оправданным привести его в данной связи подробно — пусть даже в нем и нет медицинских наблюдений в более узком смысле слова. Поскольку Ратцель был столь выдающимся исследователем в других областях, его описание обретает несколько большую ценность, чем описание, которое мог бы дать какой-либо необученный и неумелый человек. Хотелось бы располагать дополнением, которое сделал бы врач и которое охватывало бы конституцию и свойства этого человека в целом. Однако и без того можно считать, что он дал нам изображение нормальной, но интенсивной тоски по родному дому»[109].

Уникальность Ратцеля заключается в том, что он соединяет точность естествоиспытателя и писательское владение языком, да к тому же обладает прекрасной памятью на детали. Он описывает свои собственные, а не вымышленные каким-либо писателем видения — аберрации органов чувств, вызванные непомерными душевными страданиями. Именно так и должна выглядеть, по Ясперсу, психиатрия будущего — она сможет обеспечить такие же описания своего видения мира каждым больным. И тому же судье нетрудно будет решить, можно ли, видя мир так, сохранить способность к мышлению… Но перейдем, наконец, к самим описаниям Ратцеля, чтобы увидеть, что восхитило в них молодого психиатра Ясперса.

Ратцель описывает, как он впервые покинул родительский дом, чтобы стать учеником аптекаря. Родители отвезли его в село, находившееся далеко от дома, и передали будущему наставнику, а тот пригласил всех приезжих к столу. За совместной трапезой со всеми аптекарскими работниками юноша вдруг ощутил неотвратимость разлуки на долгие годы — и у него тут же возникли искажения в восприятиях окружающего мира. Все началось с изменения вкуса пищи: «Куски не шли в рот, они были приторны, почти тошнотворны и, казалось, навсегда вставали поперек горла»[110].

Нетрудно предположить, что в восприятии всех остальных участников застолья пирог с творогом оставался вполне съедобным. А вот на Ратцеля, пораженного первым приступом ностальгии, внезапно накатила та экзистенциальная тошнота, которая впоследствии была столь блестяще описана Ж. — П. Сартром в одноименном романе.

Скромный мемуарист Ратцель, конечно, не обладал столь

пристальным взглядом и умением замечать, которые отличали лауреата Нобелевской премии по литературе Ж. — П. Сартра[111], а философом, способным не только наблюдать, но еще и что-то объяснять, Ратцель не был вообще. Тем не менее, именно он, Ратцель, впервые зафиксировал этот феномен экзистенциальной тошноты, секрет которой впоследствии раскрыл в романе «Тошнота» Сартр[112]. Впрочем, по мнению автора этих строк, не менее удачен украинский перевод названия этого романа — «Нудота». Еще вернее будет сказать, что не вполне удачны оба варианта перевода: «тошнота» передает остроту неприятия, непереносимость, но слишком уж связана только со вкусом — у героя Сартра тошнило…руки), а «нудота» есть нечто тягостное, но переносимое долго — ведь не может быть мгновенной нудоты.

Чтобы оценить открытие Ратцеля, стоит сказать о том окончательном виде, который концепция «нудоты — тошноты» обрела у Сартра. До Ратцеля и Сартра по умолчанию предполагалось, что человек, ведущий чуждое для себя существование, воспринимает мир точно так же, как человек, вполне своим существованием удовлетворенный: у них одинаковые ощущения, а различаются только эмоции. То есть девочка, страдающая ностальгией, точно так же ощущает, например, вкус, цвет и запах супа, как и хозяйка дома на чужбине, которая этот суп приготовила; но при этом хозяйка испытывает удовольствие от жизни, а девочка — служанка печалится от разлуки с родиной.

Ратцель первым показал, что это — вовсе не так. Пища не лезет в рот ностальгирующему человеку не потому, что она приятна на вкус, но этот человек, к сожалению, отвлекается от этой пищи, поскольку вспоминает родину. Нет, ностальгия проявляется непосредственно в изменении вкуса пищи, и не только в изменении вкуса пищи, но и в изменении всех телесных ощущений!

Насколько можно судить по психологическим описаниям из романа Сартра, происходит это изменение следующим образом. Жизнь в привычном нам мире, рутина повседневности «замыливает» наши восприятия, делая их частью определенного образа жизни. Кстати, Ф. Ницше как-то заметил, что едва ли кому-нибудь сразу понравился вкус кофе или чая, но затем этот вкус вошел в привычку — к нему человек притерпелся как к своего рода «нагрузке», непременному приложению к новому образу жизни. При первой встрече с предметом или явлением человек воспринимает его со всей остротой, будь то первая манная каша в жизни, первый секс или первый «Кампари» в качестве аперитива. Затем «социальность» опосредует и

притупляет остроту непосредственных впечатлений. Каша становится обязательным приложением к детскому саду, вполне терпимым в его контексте. Но как только весь образ жизни, связанный с данным явлением и предметом, становится невыносимым и неприемлемым для человека, острота первых впечатлений возвращается и оказывается резко неприятной. Отчего я ем эту противную на вкус пищу? Какой смысл может оправдать мерзость манной каши, которая так не понравилась мне еще в первый раз? Секс для сартровского героя Антуана Рокантена есть тоже принадлежность рутинного, неподлинного образа жизни и с наступлением тошноты — нудоты вызывает остро негативное ощущение именно в данном конкретном виде, как секс с хозяйкой гостиницы; Сартр не признает ничего абстрактного, он жаждет вернуться к конкретным вещам. Можно употребить и такое сравнение: входя в привычку, вещи как бы покрываются оболочкой, не дающей остро воспринимать их вкус, запах, цвет и т. п. Они словно яблоки в витрине магазина, покрытые воском. Но чувство чужбины, которое может нахлынуть и на родине, сдирает эту щадящую оболочку — и возвращает всю остроту неприятных ощущений. «Привычка свыше нам дана, Замена счастию она». Но при страстном желании обрести счастье привычка перестает защищать и оберегать, в том числе и от неприятных ощущений, вызываемых вещами.

Вот что пишет в своем дневнике герой «Тошноты» А. Рокантен:

«…Предметы не должны нас беспокоить: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступить с ними в контакт, как бы они были живыми существами! Теперь я понял — теперь мне точно помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно! И происходило это ощущение от камня, я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно: руки словно бы тошнило»[113].

Так что ностальгия начинается вовсе не с чувств — не стоски — печали, не с грусти. Она начинается с резкого изменения привычных ощущений, причем переживается это как изменение самих предметов.

Вернемся к описаниям Ратцеля. Вот что происходит с комнатой, где он вкушает вдруг ставший несъедобным пирог, — она становится *нежилой*!

«Комната, обклеенная серыми обоями, вдруг лишилась своего потолка, стены ее вдруг поднялись ввысь, а голубые извилистые

полоски на них стали уходить в бесконечность — и там, в высоте, отделялись от стены и торчали в воздухе, словно проволочки. Мне показалось, что я очутился в печной трубе, ничем не прикрытой сверху, и теперь в нее с дальних небесных высот заглядывали звезды; выходит, и вправду, как я читал, их можно видеть через дымовую трубу даже днем. Чем выше делалась комната, тем хуже продвигалось дело с творожным пирогом. Это видение захватило всего меня без остатка и, естественно, перехватило мне горло. Что же удивительного было в том, что по щекам моим вдруг покатились две жгучие слезы — ведь я почувствовал, что тоже вытягиваюсь ввысь и становлюсь все тоньше. Тут я почувствовал, как на грудь и живот мне легла какая-то небывалая тяжесть»[114].

Поначалу ностальгия отравляет человеку восприятия его ближнего мира. Затем она распространяется, захватывая все [v] больше и больше окрестного пространства, и окрашивает его в свои цвета. При этом человеку кажется, что это мир печален. Во всяком случае, этот мир сочувствует ему, откликается на его грусть, возникает своего рода эмоциональная «принципиальная координация» человека и мира. У страдающего ностальгией человека аномальные ощущения причудливым образом «сродняются» с окружающим миром, и этому человеку начинает казаться, что мир сопереживает ему — причем вначале ближний мир, а затем и дальний.

Провожая взглядом повозку с родителями, которые на закате отправились домой, Ратцель вдруг почувствовал, как соответствует его настроению окрестный пейзаж, вся картина окружающей природы, все ее состояние:

> «Я не смог бы сказать, что именно так гармонировало в ней с моим внутренним настроем. Возможно, на горевшие огнем мои глаза и щеки благотворно подействовал неподвижный вечерний воздух, который делался все прохладнее и прохладнее, а то, что ночь наступала так медленно, надвигалась так нерешительно, переживалось мною как попытка продлить этот день, потянуть его подольше — ведь следующий день будет первым днем на чужбине»[115].

Навеянное ностальгией восприятие мира и его переживание распространяется не только на природу, но и на новый дом, в котором теперь придется вести несобственную, чуждую жизнь. Сумерки, в которых этот дом кажется чем-то темным и эфемерным, тоже представляются несчастному юноше полными глубокого смысла: «Первый вечер в чужом доме это одно из самых

таинственных переживаний юной души. Чего только не сокрыто в этих потемках! Если эта юная душа уязвлена и страдает, нет ничего целебнее покрова тьмы, который окутывает с наступлением вечера этот чуждый мир, ведь этот покров отгораживает от него душу, словно стена. Чуждое остается снаружи, оно больше не касается меня, не трогает меня, оно, наконец, оставляет меня в покое — оставляет, наконец, наедине с самим собой. Как это холодит глаза, столь широко открытые и глядящие во тьму, как исчезают расстояния, отделяющие меня от любимых мною людей — когда пропадает из виду все окрестное и ближайшее, разделяющее нас!»

Начавшись с внутренних ощущений — почти чисто телесных — переживание ностальгии распространяется на восприятие окружающего мира, окрашивая его в цвета грусти до самого горизонта, и, наконец, выливается в чистое, отделившееся от предметности чувство, в тоску, о которой можно сказать, уже не указывая ни на какую воплощающую ее предметность. Что и делает Ратцель:

«Тоска по родине! Как сможет тот, кому ты неведома, постичь глубину боли, которую ты приносишь? Он не сможет составить представления о тебе, как не сможет вообразить себе любви не испытавший ее. Сегодня, когда тоска по родному дому давным — давно осталась позади, почти совсем погребенная под столь многим, что довелось пережить в жизни, я радуюсь, что мне пришлось пройти и через это страдание. Правда, в этой радости нет торжества — ведь, если признаться честно, я не одержал победы над тоской по родине. Она просто оставила меня в один прекрасный день, высосав мою душу, словно вампир. Но этот прекрасный день всегда светит в моей жизни, словно непрерывный восход солнца, и радостный свет воспоминания о нем никогда не потускнеет для меня.

Я никогда не был слезливым, но только небесам ведомо, как выходило, что при совершенно сухих глазах меня не оставляло ощущение, будто я все время плачу, и слезы эти уходили внутрь меня, пропитывая все мое существо. Глаза мои смотрели печально; мир, лежавший предо мною, был странно — синеватым, таким единообразным и одноцветным; он был столь безразличен мне; мне казалось, что я погрузился в какое-то подводное царство. Когда мне надо было что-то сказать, горло мое стискивал какой-то железный обруч. Я, правда, мог выполнять какие-то действия, а так как меня понуждала к этому моя новая профессия, я, к счастью, во всякий миг чувствовал, что я — все еще человек из плоти и крови, а не пропитанный слезами призрак. Я устроил отныне свою жизнь так, чтобы она с утра до

вечера протекала в тех же рамках и с теми же интервалами, что и жизнь моих милых родных дома. Насколько это только было возможно, я мысленно сопровождал их во всех удовольствиях и трудах повседневной жизни, вставал вместе с ними по утрам и садился вместе с ними за стол, бродил по их комнатам и гулял по их саду. Я не приступал ни к какому делу, не посвятив их мысленно в свои планы, и не завершал никакой затеи, не посоветовавшись с ними в душе и не порадовавшись их одобрению. Любой звук, который доносил до меня ветер с запада, казался мне приветом от них. Я весь день напролет прислушивался в ту сторону и посылал в вечернее небо одну мысль вослед за другой <…> Паутинная нить чуждости и одиночества была бесконечной. Я тянул ее из себя, я прял ее, строя фантазии без всякого плана и находя в этом мрачное наслаждение, и кокон этой нити все сильнее окутывал меня, прятал меня все глубже, оставляя снаружи всех людей, которые меня окружали — и в то же время эта самая нить, которой я обвил свою голову, протянулась до деревьев и трав, до облаков и звезд, притянув их ко мне. Это произошедшее по моей собственной воле обособление от ближнего и привлечение дальнего, это налаживание общения и дружбы с дальним богатым миром, в основе своей, было лишь приукрашенным обеспечением желанного для меня одиночества»[116].

Как видим, Ратцель, следуя своим навыкам ученого — исследователя, не только точно описывает свои наблюдения, но и наблюдает за наблюдателем, анализируя его внутренние переживания и способ мировосприятия.

«Это была странная двойная жизнь, и я вполне отчетливо чувствовал, что она — как и все, основанное на двоедушии, — определенно не продлится долго, но в каждый данный момент я стремился погрузиться в нее, закутавшись в кокон как можно глубже. Это было в высшей степени дорогостоящее и даже неумное разделение моего внутреннего мира: лучшее — вдали, удручающее прочее — рядом. В этом возрасте чувство долга развито слабо, иначе оно, вероятно, воспротивилось бы такому разделению. Но вышло так, что я приберегал все глубокие чувства, все понимание умом и все сопереживание для той части души, которая была у меня связана с далекой родиной, и оставлял для своего ближайшего окружения всю механически выполняемую работу, все ремесленническое отношение, все, заученное до автоматизма. Вся без исключения любовь оставалась внутри, так что от нее ничего не перепадало повседневности.

Это настроение, выраженное в стихах о «хлебе, орошаемом слезами», охватывает меня немедленно, стоит мне прочитать или

услышать их, охватывает с такой же силой, что и в первый день, и никогда не утратит своей остроты. Но я полагаю, что поэт выразил бы еще более глубокие переживания сердца и заслужил бы еще большее признание, напиши он свои стихи о том тягостном чувстве, которое заставляет нас избегать света дня, не любить утро и благословлять ночь, о чувстве, которое по этой причине порождает в нас боязнь покидать свое обиталище, так, будто нам предстоит оставить теплое и уютное жилище, чтобы отправиться в самую непогоду в лесную чащу, где нам обеспечены всякие неожиданности и опасности. Вон висит одежда — не надевай ее, ведь тебе не нужны встречи с людьми. Вон лежит начатая работа — не трогай этот Сизифов камень, он тут же покатится вниз, под гору, стоит тебе только сдвинуть его с места. Спасенье одно — не вставать с постели, где у судьбы не будет ни одного шанса добраться до тебя; это моменты, когда ты даже не решаешься выпрямиться — так и лежишь, свернувшись калачиком, укрывшись с головой — последнее, что еще дает ощущение безопасности»[117].

Ратцель описывает попытку самоубийства, до которой его довела ностальгия, и диссертант К. Ясперс подробнейшим образом воспроизводит мысли юноши, выстроенные вполне логично:

«Я почувствовал, что могу странствовать по свету душой, и надеялся, что со временем дойду до того, что буду оставлять свою земную оболочку и отправляться душой туда, куда ее так тянет. Работа с ядовитыми веществами в аптеке весьма предрасполагала к размышлениям о том, какие вещества убивают, а какие всего лишь одурманивают и усыпляют. Мне теперь представлялось, что нет ничего более внезапного для человека, чем наступление смерти, ничего, к чему человек был бы так неподготовлен. Умирание — всегда ли это с необходимостью смерть? Что мы вообще знаем о смерти? Нам хорошо известно только, как происходит умирание, а о смерти, которая стоит за ним, мы не знаем ничего. Что, если обретшая свободу душа воспаряет и летит к любимым местам, где и без того неотлучно пребывают мои мысли? Ведь тогда смерть была бы самым прекрасным, что только можно помыслить. Тело мое на долгие четыре года приковано к этому месту, но душе моей открыт весь мир. Не попытаться ли мне как-нибудь улететь? Вот в каменном флаконе стоит лавровишня лекарственная, содержащая синильную кислоту; в остром запахе ее есть нечто утонченное. Череп, изображенный на этикетке над старомодно начертанной надписью “Aqua laurocerasi”, меня не пугает: процентное содержание синильной кислоты не очень велико, вероятно,

лекарство может только усыпить. Сон — и возвращение назад; правда, возможна и смерть. Какая мне, впрочем, разница? Большой глоток, за которым следует еще один; уже во время второго мне кажется, что руки начинают дрожать, но я все же аккуратно возвращаю флакон на положенное ему место и, словно во сне, поднимаюсь по лестнице из погреба. Я просыпаюсь после долгого сна; все тело мое разбито, голова как в тумане, но несомненно одно — я жив»[2].

Все, описанное Ратцелем, — это опыт. Он ничего не выдумал. Он все это наблюдал — как несомненный факт для него. На таких фактах и будет построена психиатрическая наука будущего, если, конечно, психиатры научат своих наблюдателей — больных описывать факты строгим, но богатым языком, способным передать тончайшие нюансы пережитого.

Ясперс решил, что психиатрия должна поучиться у беллетристики. Вспоминая свою врачебную деятельность, он написал о ней в «Философской автобиографии»: «Тем, чем приходилось заниматься нам, занимаются и гуманитарные науки. У них те же самые понятия, только не в пример более тонкие, развитые, ясные. Когда мы однажды протоколировали словесные выражения больных в состоянии помешательства и в состоянии параноидального бреда, я сказал Нисслю: “Нам следует поучиться у филологов”. Я оглядывался по сторонам — а что, к примеру, смогут нам дать философия и психология?»

Карл Ясперс читал книги, и не только медицинские.

Поэтому он без особого труда нашел философское обоснование того, что он намеревался пропагандировать в психиатрии.

«Мои собственные исследования и размышления над тем, что говорилось и делалось в психиатрии, вывели меня на новые для того времени пути. Два важнейших шага меня побудили сделать философы. Феноменологию Гуссерля, которую он поначалу именовал дескриптивной психологией, я воспринял и использовал в качестве метода, при этом, правда, не принимая ее последующего развития и превращения в созерцание сущностей. Описывать внутренние переживания больного как некое явление в сознании оказалось делом вполне возможным и благодарным. Не только иллюзии восприятия, но и переживаемое в бреду, способы осознания собственного “я”, чувства и переживания, изображенные самим больным, — все это можно было зафиксировать с такой четкостью, что оно уверенно распознавалось при следующей встрече с ним. Феноменология стала методом исследования.

Дильтей противопоставлял теоретически объясняющей

психологии другую, “описывающую и разделяющую”. Такую же задачу поставил перед собой и я, назвал это “понимающей психологией” и стал разрабатывать тот метод, который использовался уже давно, который фактически применялся на особый лад Фрейдом, метод, позволявший постигать, в отличие от непосредственно пережитых феноменов, генетические связи в психической сфере, смысловые отношения и мотивы. Я искал для этого методологическое оправдание и предметное разделение. Мне казалось, что теперь можно будет методологически расставить по местам множество из — вестных, но доныне неупорядоченных подходов в психологии, вкупе с описанием фактов» [С. 222–223].

К счастью или к несчастью для себя, психиатры на уговоры Ясперса не поддались и учиться к писателям с философами не пошли. Оставшись в большинстве своем наивными материалистами, они полагали, что протоколирование и последующее изучение всяческих болезненных видений сумасшедших не представляют собой какой-либо ценности. В самом деле: если причина заболевания в материальных процессах, протекающих в теле, то нет нужды изучать личность больного. Ведь лекарства воздействуют прямо на материю мозга, безотносительно к особенностям личности — точно так же, как, к примеру, воздействует безотносительно к личности слабительное или рвотное. И на академика, и на героя, и на мореплавателя, и на плотника.

Так что нам будет достаточно лишь зафиксировать аномальность переживаемого больным, чтобы тут же, не увлекаясь феноменологическим описанием этой аномальности, приступить к техническому лечению психического заболевания через материю его тела. Вовсе не обязательно протоколировать всяческий бред во всех подробностях; достаточно зафиксировать его наличие в паре-тройке предложений — чтобы определить вкус супа, вовсе не обязательно съедать всю кастрюлю. Определили болезненность переживаний — и хватит; надо безотлагательно приступать к медикаментозному и процедурному лечению. Изучать всякие сны и грезы больного так же бесполезно, как бесполезно протоколировать со всей скрупулезностью сны какой-либо словоохотливой бабушки- сновидицы. На это может быть потрачена впустую вся жизнь.

Тут-то и становится очевидно, что вопрос уже выходит далеко за пределы медицины. Стоит ли одна человеческая душа того, чтобы на изучение ее потратить всю жизнь? Хорошо, пусть не всю жизнь, но пять лет жизни или хотя бы год? Для врача-материалиста ответ ясен: нет, не стоит. Он имеет дело не с

людьми, а с болезнями. Надо поставить диагноз, то есть определить болезнь, и тогда всякая индивидуальность больного отходит далеко на задний план. Он — всего лишь один из заболевших данной болезнью. Точно так же, как все электроны или протоны физик считает одинаковыми в любом месте вселенной, психиатр — материалист считает одинаковыми всех людей, заболевших данной болезнью. Им полагается одинаковое, стандартное лечение. И медсестра, которая громогласно кричит в коридоре «Язвенники, на процедуры!», всего лишь наивно выражает кредо своего шефа — врача — в больнице можно и нужно отбросить как излишнюю индивидуализацию больных, чтобы определить единственно существенное: все они — язвенники, а остальное — от лукавого.

Карл Ясперс, как мы выяснили, к числу материалистов не принадлежал: материализм как жизненная философия обрек бы его на быструю смерть, заставив смириться с диагнозом Вирхова. Он не только полагал, что индивидуальность больного «имеет значение», он полагал даже, что сила этой индивидуальности, сила души может победить болезнь. У него не было иного варианта для выбора мировоззрения. Только такой идеализм — признание верховенства души над телом — оставлял ему шансы прожить долгую жизнь.

Но если душа первична, если она — главное в человеке, если только на нее можно возлагать надежды на собственное выздоровление, то Ясперс должен признать: изучать душу надо во всех подробностях.

Гуманность немецкой психиатрии, которой так гордился Ясперс, заключалась в том, что любая человеческая индивидуальность признавалась священной, даже если эта душа уже в значительной степени разрушена болезнью. Карл Ясперс высказывается по этому поводу недвусмысленно:

«Надо было спасти для врача и ученого — исследователя человека — как человека уникального, неповторимого, индивидуального. Ни при каких условиях не может быть позволительным составление с помощью средств науки некой “калькуляции” человека. Каждый больной человек — как и любой человек — неисчерпаем. Компетентность науки никогда не простирается столь далеко, чтобы пропало, по меньшей мере, неясное чувство неисчерпаемости личности, во всей ее таинственности и загадочности — пусть даже эта личность выступает только как возможность, пусть даже от нее остались лишь чудесные, удивительные ответы [С. 226].

Ценна любая душа, даже «слабая», неустойчивая, меняющаяся, как Протей, а не вытесанная из одного куска скалы.

Именно она, эта неустойчивая и потому неуловимая в сети научных понятий индивидуальность и становится впоследствии «экзистенцией» — тем, что лучше всего переводить как «живая душа». Экзистенциализм и будет философией, постигающей эту «живую душу». Но слово «душа» всегда настраивает человека русского на лирический, ненаучный лад. А ученый давно — еще со времен И. П. Павлова — пытается изгнать понятие «душа» из науки, видя в нем нечто средневековое, религиозное, связанное с верой, а не с наукой. Поэтому здесь следует кое-что уточнить.

История любой науки показывает, что все ее понятия спустя пару веков неизбежно кажутся наивными и смехотворными. Сегодняшние физики хохочут над понятием «флогистон», равно как и над представлением об эфире, который обволакивает Землю поверх атмосферы и пропускает через себя радиоволны. Так, специально, чтобы повеселиться над научными представлениями прошлого и, в особенности, над «чудовищным понятием абсолютного пространства», Эрнст Мах написал свою историю механики[118].

Как это ни грустно, а нынешние научные понятия психологии — так же как прежнее понятие «персональный магнетизм» — будут вызывать два — три века спустя только элегическую улыбку на устах умудренного и гордого своей продвинутостью исследователя. Поэтому не стоит смотреть свысока на понятие «душа», просуществовавшее многие сотни лет, чтобы пару веков спустя никто не смотрел свысока на твои сегодняшние понятия. Над понятиями прошлого не надо смеяться, надо пытаться герменевтически постичь, что они выражали.

Мы говорим здесь о «душе», потому что «психиатрия» — это, в буквальном переводе, «врачевание души». Пусть название останется традиционным, приблизительным, и не будет строго определено — ведь мы поймем, о чем идет речь, а дальше, при постижении индивидуальной и уникальной души — экзистенции нам никакие тотально обобщающие понятия уже не понадобятся.

Но мы, конечно же, с самого начала будем отчетливо сознавать, что та душа, которую намеревается лечить психиатрия, отличается от души теологов или души философов — метафизиков. Это не что-то эфемерное, отделяющееся от тела после смерти и воспаряющее к небесам, не поддающееся никакому научному изучению. Нет, душа для психиатрии — это нечто такое, что вполне допускает строго научное исследование. Ведь эта душа, во — первых, объективируется в заболевании — человек заболевает индивидуально, именно потому, что у него такая неповторимая душа; наблюдая за ходом заболевания и его сутью, мы должны прийти к постижению души заболевшего. Во —

вторых, эта душа объективируется во всей жизни человека, связывая его бытие в некую цельность. Это его душа строит вокруг себя его работу и дом, определяет круг его друзей и врагов, выбирает вещи, которыми окружает себя человек, создает ситуации, в которых человек оказывается, то есть лепит весь жизненный мир человека. Эту-то душу и надо постичь, чтобы добиться понимания сути психического заболевания.

Впоследствии К. Ясперс напишет в «Философской автобиографии» об этих надеждах, которые он питал во времена работы психиатром:

«Верилось — правда, всякий раз на новый лад, — что удастся найти методы, которые позволят постичь человека как единое целое (в том, что касается его конституции, характера, типа сложения, единства заболевания). На каждом из путей такого поиска — а каждый из них в каких-то пределах был плодотворен — эта мнимая целостность оказывалась на самом деле лишь моментом той всеохватной целостности человеческого бытия, которая никогда не становилась предметом исследования именно как эта всеохватывающая целостность. Ведь человек как целое выходит за рамки любой мыслимой объективируемости. Как сущность для себя самого и как предмет исследования для ученого он просто принципиально неисчерпаем. Он как бы остается открытым. Человек — всегда больше того, что он знает о себе и что может о себе знать» [С. 224].

Душа человеческая — всегда больше ее объективаций, то есть воплощений в жизни. Душа лепит жизнь человека, но никогда не оказывается воплощенной в этой жизни полностью. Человек перестает довольствоваться достигнутым в жизни потому, что душа его разочаровывается в ранее достигнутом, пресыщается им — и устремляется дальше. Значит, у этой души нет никакой неизменной структуры, которая одновременно выполняла бы функции клетки, куда душа заточена. Душа это то, что всегда ускользает из такой клетки и, значит, никогда не схватывается в понятиях, при помощи которых ее пытаются в эту клетку загнать. Душа подвижна, как ртуть, и каждый следующий момент она уже отличается от себя предшествующей, и эта душа никогда не будет постигнута до конца, ни сторонним наблюдателем, ни самим человеком, которым эта душа движет.

Да, именно эта живая душа и будет названа впоследствии *экзистенцией,* представление о которой и определит суть философии экзистенциализма. Но пока для психиатра Ясперса это — душа больного, которую надо постичь.

Как же ее постичь научно?

Только посредством понимания, вчувствования, а также

посредством феноменологических описаний — вроде тех, которые дал Ратцель. С таким же искусством и с такой же обстоятельностью врач — психиатр должен писать истории болезней, передавая в них во всех тонкостях внутренний опыт больных. В другой своей работе К. Ясперс долго оправдывается за умопомрачительно длинные истории болезней, которые он приводит. Эти оправдания заслуживают внимания, ведь именно такие затяжные истории болезней позднее превратятся у него в «патографии» великих людей — Стриндберга, Ван Гога, Гельдерлина, Сведенборга, Ницше. Но этим великим людям предшествовали девочки — преступницы из диссертации и больные, одержимые бредом ревности.

«Я считаю возможным — особенно учитывая, насколько подробны будут две истории болезней и последующие важнейшие — предпослать им некоторые замечания о публикации историй болезней вообще и о подготовке их мною, чтобы раскрыть цель, с которой это делается. В психиатрии нельзя понять друг друга, если не описывать отдельные казусы — случаи. Они — те краеугольные камни, без которых рухнут наши понятийные структуры. Доказательством тому выступает то, что некоторые прежние работы не возымели никакого действия, а все потому, что казусы — случаи считались общеизвестными, и от описания их — как чересчур педантичного и обременяющего приложения — отказывались. Конечно, можно строить рассуждения на основе тех историй болезней, которые описаны в литературе, но там, где они недостаточны или не вполне ясны автору работы, ему придется привести собственные истории болезней, пусть даже ему грозит опасность сообщать только об “уже известном”. “Известно” то, что опубликовано в литературе, все остальное неизвестно, даже если и распространилось достаточно широко в ходе личного обмена мнениями»[119].

Так что истории болезней надо публиковать. Но они должны превратиться в развернутые биографии, к чему призывал основатель немецкой психиатрии Крепелин. И здесь у Ясперса психиатрия — через патографии — переходит в историко — философские исследования. Он пишет биографии философов, историю философов, а не историю философии. Он пишет, как философия проистекает из жизни философствующего человека, помогает ему строить его жизненный мир и отстаивать его. Но первый шаг к этой методологии был сделан именно в те годы, когда К. Ясперс был еще молодым психиатром:

«В большинстве случаев, к сожалению, наблюдения проводились слишком кратко или о них сообщается недостаточно. Отдельный психиатр видит чаще всего свои случаи

только короткое время; они не остаются под его присмотром, или его жизни не хватает для завершения собственного наблюдения. Здесь нам помогают находящиеся в архивах клиник старые истории болезни и… судебные дела… Использование такого материала дел первый раз было осуществлено Вильманнсом в его книге о бродягах. Добывание целых биографий, как того всегда требовал Крепелин, стало с тех пор основой эмпирически — клинического исследования. По сегодняшнему состоянию наших взглядов нам обязательно нужны биографии… Очевидно, что получение хороших биографий — дело неповседневное; в бесчисленных случаях мы остаемся ограниченными слишком скудными сведениями. Далее, очевидно, если такая биография однажды появляется, она должна превзойти обычную длину истории болезни. <…> Для биографий в нашем смысле мы обычно владеем значительно большим материалом, чем тот, который мы публикуем. Отбор по возможности существенного, обобщения, подходящее расположение и т. д. делают возможным сжатие, и, если после этого все еще остается значительная длина, то нам представляется это именно преимуществом в сравнении с прежними, иногда короткими, публикациями, от которых толку мало. Мы надеемся также, что, даже если изменятся все взгляды, этот материал сохранит свою ценность. В противоположность нередкому пренебрежению более длинными историями болезни мы видим в их разработке не недостаток в овладении материалом или даже определенную примитивность, а добывание основополагающего для всех размышлений материала. Короткие истории болезни представляются в большинстве случаев совсем не имеющими ценность и ненужными»[120].

Едва ли можно лучше оправдать все, что было подробно написано нами о самом раннем Ясперсе и о его исследованиях ностальгии. О том, что случилось с ним дальше, читатель узнает из его «Философской автобиографии» в переводе автора этих строк.

Медицинский период в жизни К. Ясперса закончится и начнется период философско — психологический. Так и возникнет новая философия — немецкий экзистенциализм. К. Ясперс считает себя ее родоначальником (современные историки философии обычно присваивают это звание М. Хайдеггеру за книгу «Бытие и время», вышедшую в 1927 году).

Но К. Ясперс пишет о своей работе «Психология мировоззрений», которая увидела свет на восемь лет раньше:

«В исторической ретроспективе “Психология мировоззрений” является самым ранним произведением, где излагается та современная философия, которая впоследствии стала называться

экзистенциализмом, философией существования. Интерес к человеку, забота мыслящего человека о себе самом, попытка быть предельно честным — вот что задавало тон всему. Здесь были затронуты почти все основные вопросы, которые позднее были осознаны со всей ясностью и были развернуты во всей широте: вопрос о мире, каков он для человека; вопрос о ситуации, в которой находится человек, и о его пограничных ситуациях, которых он не может избегнуть (смерть, страдания, случай, вина, борьба); вопрос о времени и о многомерности чувства времени; вопрос о развитии свободы в создании человеком самого себя; вопросы об экзистенции, о пути мистики, о пути идеи и так далее. Однако все эти вопросы были рассмотрены бегло, не в системе. Настрой и замысел книги были более широки, чем то, что удалось сказать» [С. 233].

Впрочем, это уже совсем другая история — история философии, разумеется. Возможно, когда-нибудь мы расскажем и ее. А пока пожелаем читателю ностальгии умеренной и светлой — как тоски по родным местам, которых нет и не было нигде, кроме нашей души. Без этих внутренних морей и сосновых боров с черникой, без туманов над озерами и великих в своей недвижности гор наша жизнь утратила бы всякую внутреннюю опору, которая у каждого своя и которую никогда не сможет вполне постигнуть никто другой, как бы он ни старался.

«Люблю летать, заснувши наяву, в Коломну, к Покрову…

Приложение. К. Ясперс Философская автобиография [121]

Профессор Шилп выразил желание получить от меня рассказ о том, как я вступил на стезю философствования, чего я искал на ней, как пришел к созданию своих работ. Задача показалась мне интересной и своевременной — по крайней мере, на старости лет. Ведь философия как произведение духа в мотивах своих и побуждениях связана с течением жизни.

Связь эта существует и тогда, когда жизнь — скажем, такая как моя, — простая и уединенная, не изобилующая событиями, способными привлечь всеобщее внимание к ней, все же вызывает интерес, но не больший, чем тот, который может вызвать жизнь какого-либо человека у любого другого.

Хотя в жизненной действительности нет ничего, что не имело бы отношения к философии, я в своем рассказе ограничусь лишь тем, что непосредственно повлияло на мои произведения, и даже среди этого выберу не все. Я упомяну лишь о тех немногих уроках жизни, которые оставили след в моих работах и получили там свое развитие. Я не стану рассказывать и о людях, которые раскрылись мне в дружбе, за что я испытываю огромную благодарность к ним; скажу лишь о тех, чье мышление непосредственно повлияло на мою работу.

Я также не даю никакого резюме, которое подытоживало бы все мысли, изложенные в моих произведениях, а тем паче не говорю, на какие факты я опирался, их создавая. Некоторые из них лишь упоминаются, но не развернуто и без пояснений. Мысли, изложенные в произведениях, толкуются как реакции на жизненные ситуации, но с таким расчетом, чтобы дать почувствовать — смысл их выходит за пределы того или иного конкретного времени.

1. Детство и юность

Я родился 23 февраля в Ольденбурге, неподалеку от побережья Северного моря. Мой отец (1850–1940) происходил из торгового и крестьянского рода, несколько поколений которого жили в Эверланде. Он был юристом, окружным начальником, а позднее — директором банка. Службу свою он исполняя с мудростью, основательностью и сознанием долга. Но любимыми его занятиями были живопись и охота. Он воспитал меня в духе разума, надежности и верности — примером своим и своими суждениями в решительные моменты жизни. Моя мать (1862–1941) происходила из крестьянского рода, ее предки исконно, с незапамятных времен жили в Бутьядингене. Она осветила своей бесконечной любовью все мое детство, детство других младших в семье, всю последующую нашу жизнь. Она вдохновляла нас на достижение наших целей своим неукротимым темпераментом, окрыляла нас своим пониманием жизни, для которого не существовало рамок условностей, и оберегала нас своей мудростью.

В гуманитарной гимназии у меня произошел конфликт с директором. Я взбунтовался, отказавшись слепо исполнять те распоряжения, которые казались мне неразумными. Отец с раннего детства приучил меня к тому, что я получу ответ на любой вопрос, и не заставлял меня делать то, смысл чего я не мог понять, — даже *из* уважения к человеку, который отдает распоряжения, хотя оно само по себе обладает немалой убедительной силой. Воспитанный своим отцом, я держался того принципа, что существует разница между порядком на уроке и армейской дисциплиной, без всяких на то оснований распространенной на школу. «Это — оппозиционный дух!» — в одни прекрасный день торжественно объявил мне директор. Этот дух свойственен всей моей семье, и, будучи директором, он вынужден был дать ему отпор. Конфликт достиг апогея, когда *я* отказался вступить в один на трех ученических союзов, созданных с одобрения директора и в подражание союзам студенческим. Я обосновал свое решение тем, что союзы формировались по социальному происхождению учеников и в зависимости от профессий их родителей, а не по принципу личной дружбы. Соученики мои вначале заявили, что поддерживают меня, но на деле осудили мой поступок. Когда один из друзей отправился со мной на недельный поход в горы, союз, в котором он состоял, под угрозой исключения потребовал от него разорвать отношения со мной. Когда друг спросил меня, как ему быть, я посоветовал

остаться в союзе. Так он и поступил. Директор заявил: учителя не будут спускать с меня глаз. Я оставался в одиночестве. Мой отец попытался возместить мне утраченное и абонировал большую охоту. Я мог, когда хотел, проводить время в самых различных уголках, отличавшихся великолепием природы.

Формальные, внешние черты моей последующей жизни можно описать кратко. После окончания гуманитарной гимназии я на протяжении трех семестров изучал право, затем — медицину. В 1908 году сдал государственный экзамен по медицине, в 1909 году стал доктором медицины. После этого я поступил научным ассистентом — добровольцем в психиатрическую клинику Гейдельберга. В 1913 году выдержал конкурс на замещение вакантной должности и стал приват — доцентом по психологии на философском факультете университета г. Гейдельберга. В 1921 году там же стал ординарным профессором философии, отклонив аналогичные приглашения в Грайфсвальд и в Киль. В 1928 году был приглашен профессором в Бонн, но тоже отказался. В 1937 году государство национал — социалистов лишило меня права преподавать. Кафедру мне вернули в 1945 году, с согласия и одобрения американских оккупационных властей. В 1948 году я принял приглашение в университет г. Базеля, где преподаю по сегодняшний день.

Что же касается внутренней истории моей жизни, то надо сказать хотя бы кратко о происходившем в юности. В 17 лет я читал Спинозу. Это был мой философ. Но я не собирался избирать философию в качестве предмета изучения в университете и делать ее в будущем своей профессией. Значительно большее предпочтение я отдавал юриспруденции и штудировал право, намереваясь позднее заняться адвокатской практикой. Однако, разочаровавшись в абстракциях от жизни общества, которая еще совсем была мне незнакома, я занялся поэзией, искусством, театром, графологией, все время разбрасываясь— к несчастью, но обретая, к счастью, разрозненные знания о величии человеческом, в первую очередь — в искусстве.

Я не был доволен ни собой, ни состоянием общества, ни фикцией общественного мнения. Основное ощущение было таково; что-то неладно и в мире людей, и во мне самом. И все-таки насколько великолепен был другой мир — природа, искусство, поэзия, наука! Все-таки оставалось, всему предшествуя и все предваряя, основополагающее чувство доверия к жизни, внушенное любимыми родителями и сбереженное под их покровительством. Выбор жизненного пути я считал делом

глубоко личным.

Я наслаждался одиночеством в окружении девственной природы в Энгадине и у Северного моря. А какое счастье мне доставляло созерцание красот Италии! Путешествия увлекали меня. Но какое же страдание приносило одиночество в те недолгие минуты, когда я позволял ему завладеть мной! Меня тянуло к людям. И еще один вопрос мучил меня — чем заняться в жизни. Требовалось найти главное, ведь разбросанность и пребывание во власти столь многих пленительных вещей окончилось бы крахом. Требовалось выбрать в жизни определенную дорогу и двинуться по ней, а для начала — решить, ради чего я учусь в университете. Я хотел знать все, что только возможно; как мне казалось, медицина открывала широчайшие горизонты, потому что была связана со всеми естественными науками, а предметом своим имела человека. Став врачом, я надеялся найти признание в обществе.

Этот выбор я сделал в 1902 году в Сильс — Марии. В направленном родителям меморандуме с просьбой принять мое решение о переходе от юриспруденции к медицине я написал тогда — в неуклюжем своем стиле: «Мой план таков: я сдаю после положенного числа семестров государственный экзамен по медицине. Если к тому времени я еще буду верить, как сейчас, что у меня есть способности, я перейду к психиатрии и психологии. В этом случае я для начала стал бы врачом в психиатрической клинике. В будущем я, наверное, был бы склонен выбрать научное, академическое поприще в области психологии, как, например, Крепелин в Гейдельберге, но об этом боюсь и заикаться, так как я не уверен в себе; все будет зависеть от моих способностей. Лучше всего скажу так: я изучаю медицину, чтобы стать курортным врачом или врачом — специалистом, скажем — психиатром. А там — добавляю про себя — поглядим. В конце концов, если я не найду в себе смелости или сочту, что у меня нет способностей, чтобы заниматься наукой, то сильно убиваться не стану».

Выбрав медицину, я решил, что важнее всего для меня — познакомиться с реальной жизнью. Об изучении ее я заботился всячески, используя все доступные мне способы. В университете учился старательно и с величайшей охотой использовал самые разнообразные возможности для познания. Путешествуя, стремился увидеть все, что только возможно: природу, исторические города, произведения искусства.

И все-таки основной вопрос — как следует жить — оставался нерешенным. Учеба в университете представлялась лишь этапом в жизни, делом временным. Она, разумеется, была нужна — как

подготовка к будущей профессии. Но это еще не была сама жизнь. Не читая философов, поскольку время мое было заполнено изучением специальных дисциплин, я все-таки беспрестанно философствовал, хотя и без метода. Лекции по философии в университетах я скоро перестал посещать, поскольку на них говорилось не о том, что мне было важно. У меня возникла антипатия к профессорам философии, потому что они, на мой взгляд, имели чересчур большие личные претензии и были слишком безапелляционными в суждениях. Только Теодор Липпс в Мюнхене произвел на меня впечатление как личность. Однако то, о чем он читал, меня не интересовало — за исключением геометрически- оптических иллюзий, изучению которых он содействовал весьма изобретательно. Но ведь это была всего лишь одна из частных тем в рамках психологии, не более того.

На все решения в моей жизни оказывало свое воздействие и еще одно принципиальное обстоятельство. Я с детства был болен (бронхоэктатическая болезнь и сердечная недостаточность). Порой на охоте я горько плакал где-нибудь в укромном уголке леса, не в силах двинуться дальше от сердечной слабости. Лишь когда мне исполнилось восемнадцать, Альберт Френкель в Баденвайлере поставил мне диагноз. До этого из-за неправильного лечения меня мучили частые приступы лихорадки. Отныне я стал учиться строить жизнь, применяясь к своему недугу. Я прочел статью Р. Вирхова, где детально описывалась моя болезнь и делался прогноз: такие больные обречены умереть от общей интоксикации самое позднее на третьем десятке лет. Я понял, в чем заключается суть лечения. Понемногу я освоил его методы, некоторые из них разработал сам. Регулярно применять их было невозможно, пока я вел обычный образ жизни здорового человека. Если я хотел работать, приходилось идти на риск и делать то, что вредно для здоровья. Если я хотел остаться в живых, нужно было поддерживать строжайший режим и отказываться от всего вредного для здоровья.

Между этими Сциллой и Харибдой проходила моя жизнь. Были неизбежны частые перерывы в работе из-за приступов слабости и интоксикации организма. Приходилось снова и снова выбираться из этого состояния. Заботясь о здоровье, нельзя было позволить болезни стать содержанием жизни. Задача состояла в том, чтобы правильно лечить болезнь, почти не думая о ней, и работать так, будто ее не существует. Надо было мобилизовать для лечения все силы, не уходя при этом в болезнь. Я снова и снова делал ошибки. Необходимости, которые диктовал недуг, вмешивались в мою жизнь ежечасно и нарушали все мои планы. Я опускаю здесь подробности, о которых скажу позже.

Следствием болезни было то, что я не мог принимать участия в забавах и развлечениях молодежи. Вылазки на природу полностью прекратились уже с началом университетской учебы. Верховая езда, плаванье, танцы были исключены. С другой стороны, болезнь не позволила мне исполнить долг гражданина и мужчины — отслужить в армии, а тем самым исключила и опасность погибнуть на войне. «Надо болеть, чтобы дожить до старости» — гласит китайская пословица. Поразительно, какая любовь к здоровью развивается у больного, недуг которого не прогрессирует. Остатки здоровья становятся тогда более осознанными, доставляют счастье. Наверное, тогда чувствуешь себя более здоровым, чем нормальный, ничем не болеющий человек.

Другим следствием болезни стал внутренний настрой, определивший мой способ работать. При постоянных перерывах в работе, вызванных болезнью, приходилось вести меж ними жизнь, насыщенную до предела, коли я вообще желал сохранить смысл этой жизни. Я был обречен учиться, все схватывая на лету, сразу проникать в суть, испытывать внезапные откровения и моментально строить свои планы. Мой шанс состоял в упорном использовании каждого подходящего мгновения, чтобы продолжать работу при любых обстоятельствах.

Еще одним следствием болезни было то, что я мог выступать перед большой аудиторией только при множестве тщательно оговоренных условий и лишь очень недолго. Только в очень важных, исключительных случаях я отправлялся в поездки, чтобы сделать доклад или принять участие впубличной дискуссии, и всегда ценой нарушения нормального для меня состояния здоровья.

Наконец, я был обречен общаться только с теми, кто проявлял дружеское понимание и позволял мне нарушать принятый в обществе этикет, — с теми, кто приходил ко мне домой и довольствовался кратким общением: час, максимум два. Часто меня не понимали и принимали за высокомерие и мизантропию то, что было горькой необходимостью.

Ограничения, которые диктовала болезнь, и состояния, которые она вызывала, не повредили ясности моего мышления. Но страдало от одиночества все мое существо, хотя у меня было много знакомых и был верный друг — Фриц цур Лойе. Нередко накатывала тихая тоска, и тогда я начинал думать: еще немного — и все будет кончено. Но чаще меня окрыляла волшебная надежда, что еще возможно всякое.

Мой рано умерший друг Фриц цур Лойе — земляк, столь похожий на меня, — был очень близок мне в первые годы

университетской учебы. За учебой мы и сошлись. Мы вместе работали у микроскопа и ставили эксперименты. Отношения наши были предельно откровенны и лишены лицемерия. На меня благотворно действовала та открытость, с которой он обращался со мной, больным, не храня сострадательного молчания. Скорее, он принимал болезнь просто как некую данность, с которой приходилось считаться, строя какие-то планы. Он говорил: «Я сегодня иду на танцы в Мариашпринг. Тебе нельзя со мной, это чересчур утомительно…». Или о какой-нибудь вылазке студентов в лес для сбора гербариев: «Это чересчур надолго, ты не выдержишь». Так он обставлял отказы, совершенно неизбежные для меня. Зато потом кратко рассказывал о впечатлениях.

Нас связывала прочная взаимная симпатия. Мы вместе учились в университетах Мюнхена, Берлина и Геттингена, прошли курс графологии у Клагеса, ходили в театр, играли в шахматы. Работоспособность, которой я отличался, несмотря на болезнь, доставляла ему радость. Его дружеская ирония позволяла увидеть вещи в верном свете, такими, какие они есть. В Геттингене мы слушали лекции у одного физика, Рикке, которого достаточно уважали, но не ставили особенно высоко. Он был автором двухтомного учебника. «То, что смог Рикке, сможешь и ты, — сказал однажды мне Фриц. — Ты будешь писать учебники и станешь профессором».

Моя сдержанность в отношениях с людьми свойственна и моим землякам — северянам. Она, кроме прочего, основывалась и на том, что я немногого ожидал от людей, а порой еще и усиливалась из-за разочарования в том или ином человеке. Но эта сдержанность была для меня мучительным препятствием, так как в душе моей жило нечто совсем иное.

Одиночество, тоска, самокопание — все это переменилось вмиг, стоило мне в свои 24 года, в 1907 году, повстречать Гертруд Майер. Незабываемым дня меня стало то мгновение, когда я в сопровождении ее брата впервые переступил порог ее комнаты. Она сидела за большим письменным столом. Поднялась, еще стоя к нам спиной, медленно закрыла книгу и обернулась. Я не мог оторвать взора, следя за каждым ее движением. В них, спокойных и простых, лишенных всякого жеманства, бессознательно выражалось чистейшее существо, все благородство ее души. Будто сам собой разговор вскоре зашел о главном в жизни, словно мы знали друг друга с незапамятных времен. С первого же часа меж нами возникла непостижимая, совершенно немыслимая гармония.

Но и различие между нами тоже было огромным. Душу Гертруд привели в смятение удары судьбы, с которыми она

справилась лишь ценой огромного труда. Единственная сестра ее страдала медленно развивающимся, ужасным психическим заболеванием, вследствие которого она надолго оказалась в клинике. Ее товарищ по занятиям философией, поэт Вальтер Кале, покончил с собой, Гертруд иначе, чем мне, страдавшему только от собственной болезни, раскрылась основа вещей, вплоть до самых неразрешимых вопросов. В душе ее не утаивалось и не пряталось ничего. Тихая, она была способна бесконечно страдать. Я был безоглядным оптимистом и, несмотря ни на что, говорил жизни «да», но тут мне встретилась душа, которая отныне раз и навсегда уберегла меня от преждевременного успокоения. С этого момента философия стала обретать серьезность совершенно по — новому, по — иному. Она соединила нас, но предстоял еще долгий путь к цели. Так оно было, так оно остается по сей день, несмотря на долгую совместно пройденную дорогу.

Тьма сгущалась, и сознание постоянной опасности заставляло нас быть предельно серьезными. Но на этой почве взросло то бесконечное счастье, которое приносил с собой миг сегодняшний. Я познал глубокое счастье любви, сохраненное и поныне.

Гертруд происходит из религиозной еврейской семьи, с XVII века жившей в Бранденбурге. Когда мы встретились в 1907 году, она готовилась сдавать выпускные экзамены за гимназию экстерном, чтобы поступать в университет. Целью ее была философия. Но то, что она пережила, будучи сиделкой в отделении нервных и психических заболеваний, не позволило ей сделать философию профессией. Она ежедневно совершенствовалась в греческом и латинском языках. Когда мы поженились в 1910 году, с ее родителями у меня установились сердечные отношения, основанные на симпатии и глубоком доверии. Отец Гертруд преодолел предубеждение против того, что дочь выходит замуж за нееврея, а мать ее убедилась в глубокой любви нашей и благословила нас.

В годы национал — социализма мы и все наше окружение жили на краю пропасти. Мы сами считали катастрофу совершенно неотвратимой, но надежда на лучшее все же никогда не исчезала совсем. Нам казалось, что мы спаслись чудом, ибо избежали последней трагедии. Спасение наше, однако, соединилось с ощуще — нием, что мы тоже повинны в произошедшем в Германии, поскольку остались живы; тем сильнее мы ощутили потребность жить и работать праведно.

2. Психопатология

С 1908 по 1915 год я работал в психиатрической клинике университета г. Гейдельберга, вначале— сразу после государственного экзамена по медицине — практикантом, а затем, после полугодового перерыва, который был вызван продолжением образования в неврологическом отделении Внутренней клиники — научным ассистентом — волонтером. Это были единственные годы в моей жизни, которые прошли в сообществе исследователей, ежедневно решавших практические задачи. Реалии, с которыми приходилось при этом сталкиваться, относились не только к области медицины, но и к сферам социологии, права, педагогики и психологии — в их приложении к врачеванию.

Руководителем клиники был Франц Ниссль. Он снискал славу выдающегося исследователя гистологии головного мозга; в содружестве с Альцхаймером он открыл в коре головного мозга у паралитиков специфические, с точки зрения гистологии, особенности. Но самое большое впечатление на меня производила его способность к критической самооценке. Он работал, питая, по всей видимости, самые смелые надежды относительно возможностей естественных наук в исследовании психических заболеваний. Но когда ему доводилось сталкиваться с результатом, этим ожиданиям не соответствовавшим, он воспринимал такое стоически. Он был поражен этим результатом, но сам подчеркивал его несоответствие своим ожиданиям значительно сильнее, чем критики. К примеру, он заявлял, что нет вовсе никакой корреляции тяжести старческого слабоумия и объема аномального вещества головного мозга. Он исходил из принципа, господствовавшего со времени Гризингера: психические болезни — это болезни головного мозга. Совершая на основе этого принципа значительные открытия, он в то же время подтачивал его общезначимость. Он проводил методологический анализ результатов своих исследований и выявлял границы, в которых этот принцип был верен.

Ниссль пришел к руководству клиникой, будучи специалистом в области гистологии, однако вовсе не чувствовал себя посторонним в сфере клинической психиатрии. Он доказывал, что человек, действительно поработавший в одной из областей науки и совершивший в ней открытия, способен быстро схватить суть дела в любой другой научной области. Лекции, которые он читал в клинике, поначалу были полностью привязаны к учебнику Крепелина, но из года в год становились

все более свободными и оригинальными. Он учился у собственных ассистентов — и все же превосходил нас всех той добросовестностью, с которой умел видеть реальность. Добросовестностью, исполненной человечности. Дискуссии между ним и его ассистентами проходили на равных — то есть просто и естественно, их острота не смягчалась никаким чинопочитанием. Чем более страстным становился научный спор, тем более корректными старались быть его участники.

Авторитет Нисслю обеспечивала не только должность, но и свойства его личности. Этот ученый был необычайно добр к больным и ассистентам, но строг во всем, что касалось формальной стороны дела. Он отличался бурным темпераментом, порой приводившим к вспышкам гнева, но при этом был необычайно совестлив и хорошо продумывал все свои действия. Он создавал вокруг себя атмосферу, полную тепла и доброжелательности. При этом был очень раним, бесконечно скромен и способен глубоко переживать.

Круг врачей, работавших с ним в клинике, был подобран с великой тщательностью. Если случалась ошибка и принимался ассистент, не подходивший по духу и нарушавший неписаные правила этого сообщества единомышленников, он некоторое время спустя просто покидал клинику. Но до этого момента никто не проявлял к нему никакого высокомерия и не третировал.

Тон в клинике задавал мой учитель Бильмане, старший врач, затем, в первую очередь, Груле, все приводивший в движение своей критикой, разносторонностью и непредсказуемостью, далее — бесконечно совестливый и обладавший даром сопереживания Ветцель, полный дружелюбия Хомбургер, неутомимый исследователь гистологии головного мозга Ранке и совсем юный Майер — Гросс, для которого были открыты абсолютно все пути в науке.

Ниссль создал для интеллектуального содружества врачей все условия, а они постарались реализовать все возможности. Инициатором совместных встреч был Груле, он обеспечивал их регулярность. Во — первых, происходили консилиумы, обсуждения, представления больных. Во всем этом принимали участие все врачи клиники. Во — вторых, устраивались научные вечера с участием Ниссля, на которых реферировались научные труды или обсуждались заранее объявлявшиеся темы. Наконец, проходили приватные вечера с более узким кругом приглашенных — без Ниссля, в кабинете у Груле. Здесь с предельной свободой и страстью обсуждалось то, к чему у каждого лежало сердце в науке.

Разговоры эти продолжались и днем, в рабочее время. При каждой встрече — в коридоре, на лестнице — происходил обмен репликами. Это была замечательная жизнь, в которой всех объединяло сознание того, что нужно способствовать развитию великолепного мира познания, в которой была великая самонадеянность многознайства, но была и радикальная критика, готовность разобрать по косточкам любую точку зрения. Тому, кто собирался работать, приходилось остерегаться — как бы не растратить на разговоры все свое время и энергию. Так сформировался тот «дух клиники», который не был создан кем-то одним, а складывался в результате сотрудничества всех — но при этом каждый упрямо продолжал двигаться собственным путем. В клинике была возрождена, таким образом, одна из прекраснейших традиций жизни немецких ученых.

Мое положение в этом кругу было не таким, как у остальных. Я был лишь ассистентом — волонтером. Стать полноправным ассистентом мне не позволяла болезнь. Я не жил при клинике, не принимал участия в совместных трапезах врачей и очень расстраивался по этому поводу. Но я имел возможность сотрудничать с ними в науке, пользовался благорасположением руководителя клиники и врачей, бывал на всех научных собраниях, принимая в них живейшее участие, равно как и во врачебных обходах.

У меня было право самому выбирать болезни для углубленного изучения. Вильманс выделил мне отдельный кабинет, где я проводил исследования интеллектуальных способностей и занимался только — только появившимся тогда тестированием. С помощью новинки — аппарата Реклингхаузена, впервые открывшего возможность без особых затруднений непрерывно контролировать верхнее и нижнее кровяное давление и таким образом вести наблюдение при изменении психических состояний, — я осуществил исследование динамики кровяного давления, результаты которого, правда, опубликовать не удалось.

Иногда доводилось выступать в роли эксперта в суде или по приглашению страховых обществ. Однажды, заменяя заболевшего Хомбургера, я вел прием в поликлинике. Для студентов я был и невропатологом, и психиатром. Хотя у меня и не было регулярной ежедневной практики ассистента, я все же получил таким образом представление обо всех сторонах работы психиатра.

Недостатки моего положения обернулись достоинствами. Я мог видеть и исследовать все, не будучи ограниченным во времени кругом постоянных обязанностей. Кроме моих собственных исследований — а у меня были только такие

пациенты, с которыми я проводил научные исследования, результаты фиксируя на бумаге, — я наблюдал за работой других врачей, размышлял над их действиями и над своими собственными, пытался сделать все более осознанным, подвергал критическому разбору, стремился вычленить чистый метод и найти методологически выверенные формулировки.

Общий духовный арсенал клиники составляло психиатрическое учение, разработанное Крепелином. Здесь оно претерпело некоторое развитие, в результате чего сформировались такие концепции, право авторства на которые не принадлежало никому в отдельности. Это относилось к представлению о полярности двух больших групп болезней (Dementia praecox) — впоследствии названной шизофренией — и маниакально — депрессивных заболеваний. Идея заболевания обсуждалась, служила основой для постоянных наблюдений, но в результате так и не возникло потребности разобраться в том, что же это собственно такое.

Было принято различать биографические процессы как процессы развития личности, которая претерпевает постоянные изменения, переходя от одной жизненной фазы к другой, и процессы, в результате которых происходит насильственный перелом, ведущий к радикальному перерождению человека, — перелом, вызванный причинами, которые неизвестны, но которые предполагаются органическими.

Тогда, около 1910 года, в психиатрии еще безраздельно господствовала соматическая медицина. Влияние Фрейда ограничивалось весьма узкими кругами. Попытки давать объяснения психологического свойства считались субъективистскими, пустыми и от науки далекими. Исключение составляли произведенные Крепелином на основе психологии Вундта психологические эксперименты, прежде всего — те, которые были связаны с построением кривой работоспособности (утомление, отдых), с последствиями психологического воздействия лекарственных средств, алкоголя, чая и т. п. Но при обследовании душевнобольных эти эксперименты не использовались. Они скоро исчерпали себя, пока чуть позднее опыты с мескалином не привнесли в эту область некоторую новизну.

В немецких психиатрических клиниках сознавали, что в сфере научных исследований и терапии царит застой. Между тем продолжалось строительство больших психиатрических лечебных учреждений, все более гигиеничных и все более роскошных. Жизнь несчастных пациентов, не изменившись по существу, подвергалась административным усовершенствованиям. Лучшее,

что можно было сделать в таких условиях — попытаться придать этой жизни максимально естественный характер, например, использовать эффективную трудотерапию, в той мере, в какой она стала бы оправданным, с рациональной и моральной точки зрения, звеном в общем распорядке жизни больного. Что же до бесконечной малости своих знаний и умений, то интеллигентные, но духовно бесплодные психиатры спасали свое реноме, прикрываясь скепсисом и элегантными оборотами речи, призванными показать: человек светский должен быть выше таких пустяков.

И в нашей клинике, руководимой Нисслем, царило убеждение в скромных возможностях терапии. В принципе, с лечением не связывали никаких надежд, однако мы руководствовались человеколюбием и оберегали, насколько могли, больных от того вреда, который они были способны доставить сами себе. Общение с больными было гуманным, но лишенным всякой патетики. Мы сохраняли бодрость духа и оставались терпимыми. «Мягкость психиатра» не только отличала наши отношения с больными, но и естественно предполагалась в отношениях между нами.

Большой интерес в клинике вызывали вопросы социологического и юридического плана. Бильмане всесторонне изучал бродяг. На заседаниях судебно — психиатрического общества в Гейдельберге встречались юристы и врачи. Там регулярно делались доклады и проходили дискуссии. Все это я застал и ко всему был причастен. Сталкиваясь с любым фактом, знакомясь с любым методом, я пытался извлечь из них все возможное. Освоенная мною литература по психиатрии, изданная более чем за сто последних лет, была необыкновенно обширна, но, как оказалось, содержала главным образом пустые, ни на чем не основанные рассуждения. В этой куче попадались и жемчужные зерна — когда кто-нибудь из авторов излагал результаты реальных наблюдений достаточно ясно и таким образом, что, столкнувшись с данным феноменом в будущем, его можно было однозначно распознать.

Часто об одном и том же говорилось совершенно различными словами, преимущественно — неопределенными. Каждая из школ имела свою собственную терминологию. Казалось, что разговор идет на совершенно разных языках, местные же диалекты этих языков существовали в каждой клинике. Создавалось впечатление, что единой, объединяющей всех исследователей научной психиатрии не существует. Когда я присутствовал на регулярных представлениях больных и дискуссиях в кругу врачей, мне порой казалось, что им постоянно приходится начинать с

нуля. Каждый конкретный случай подводился под несколько жалких обобщающих понятий. А потом все опять напрочь забывали сказанное ранее. Всякий раз, как я испытывал удовлетворение от того, что удалось изучить какой-то феномен, оно соединялось с ощущением, что вперед продвинуться не удалось. Возникало чувство, будто я живу в мире, где существует необозримое множество разнообразных точек зрения, которые можно брать и в любой комбинации, и по отдельности, но все они до невероятия просты и бесхитростны. «Психиатры должны научиться мыслить», — заявил я как-то в кругу своих коллег — врачей. «Надо будет поколотить этого Ясперса», — дружески улыбаясь, сказал в ответ Ранке.

Как мне представлялось, суть дела с психиатрическими заболеваниями состояла в следующем. Предмет психиатрии — человек, а не только его тело; даже, можно сказать, менее всего его тело, скорее его душа, его личность, он сам. Я был знаком не только с соматической догмой: «Психические болезни есть болезни головного мозга» (Гризингер), но и с тезисом: «Психические болезни есть болезни личности» (Шюле). Тем, чем приходилось заниматься нам, занимаются и гуманитарные науки. У них те же самые понятия, только не в пример более тонкие, развитые, ясные. Когда мы однажды протоколировали словесные выражения больных в состоянии помешательства и в состоянии параноидального бреда, я сказал Нисслю: «Нам следует поучиться у филологов». Я оглядывался по сторонам — а что, к примеру, смогут нам дать философия и психология?

В этом умонастроении и застало меня в 1911 году предложение Вильманса и издателя Фердинанда Шпрингера написать «Общую психопатологию». К тому времени я уже был автором ряда работ — о связи тоски по дому с тягой к совершению преступлений, о проверке интеллектуальных способностей, об иллюзиях восприятия, о бредовых идеях, о развитии заболеваний, прослеженном на материале подробных историй болезни. Как мне кажется, знакомство с этими работами и вызвало у них доверие ко мне. Я испугался было, но сразу же испытал душевный подъем, и у меня появилась дерзкая надежда, что удастся, по крайней мере, упорядочить факты и способствовать, насколько возможно, развитию методологического сознания. Меня обнадеживало и то, что я ощущал свою причастность к духу клиники и к совместно накопленному идейному арсеналу. В том окружении, в котором я находился, было, собственно говоря, не так уж и трудно написать «Общую психопатологию». Задача настоятельно требовала решения, и оно выпало на мою долю.

Мои собственные исследования и размышления над тем, что говорилось и делалось в психиатрии, вывели меня на новые для того времени пути. Два важнейших шага меня побудили сделать философы. Феноменологию Гуссерля, которую он поначалу именовал дескриптивной психологией, я воспринял и использовал в качестве метода, при этом, правда, не принимая ее последующего развития и превращения в созерцание сущностей. Описывать внутренние переживания больного как некое явление в сознании оказалось делом вполне возможным и благодарным. Не только иллюзии восприятия, но и переживаемое в бреду, способы осознания собственного «я», чувства и переживания, изображенные самим больным, — все это можно было зафиксировать с такой четкостью, что оно уверенно распознавалось при следующей встрече с ним. Феноменология стала методом исследования.

Дильтей противопоставлял теоретически объясняющей психологии другую — «описывающую и разделяющую». Такую же задачу поставил перед собой и я, назвал это «понимающей психологией» и стал разрабатывать тот метод, который использовался уже давно, который фактически применялся на особый лад Фрейдом, — метод, позволявший постигать, в отличие от непосредственно пережитых феноменов, генетические связи в психической сфере, смысловые отношения и мотивы. Я искал для этого методологическое оправдание и предметное разделение. Мне казалось, что теперь можно будет методологически расставить по местам множество известных, но доныне неупорядоченных подходов в психологии, вкупе с описанием фактов.

Я уже не говорю об изложении в ясных и четких понятиях психологии деятельности (в отличие от феноменологии и понимающей психологии), о разделении постигаемых в ее смысле выразительных феноменов и лишенных смысла сопутствующих телесных проявлений, сопровождающих психические процессы, как не упоминаю и о других методологических прояснениях тех знаний, которые фактически уже были обретены.

Я хотел бы указать только на один момент. Я повсеместно вел борьбу против пустопорожних рассуждений, далеких от действительного познания, в особенности против тех «теорий», которые играли столь большую роль в языке психиатрии. Я доказывал, что хотя психологические теории разработаны по аналогии с естественнонаучными теориями, они, тем не менее, никогда не имели характера естественнонаучных. Ведь в соответствии с ними прогресс знания не представлялся постижением некоего основного, фундаментального процесса,

охватывающего все без исключения психические явления. Доказательство и опровержение здесь не осуществлялись в ходе опытного познания, при постоянном поиске критики оппонентов, в совместном исследовании.

Речь, в сущности, шла только о сравнениях и аналогиях, которые, разумеется, имели под собой некоторую почву, но ведь сравнивать можно как угодно, по самым разнообразным признакам, и такие сравнения никогда не приводились в соответствие между собой, никогда не подвергались радикальной проверке. Их неоправданно превратили в реальности, составляющие некую первооснову всего.

Однако во всяком мышлении — а потому и в этом теоретическом мышлении тоже — я пытался найти тот аспект, который имел бы позитивную ценность для науки. По этой причине я в своей «Психопатологии» представил систематизацию теорий как способ описания, с помощью сравнений, того, что в ином случае осталось бы за пределами сферы познания. Суть дела заключалась в том, чтобы свободно окидывать взглядом возможные картины, не подпадая под власть ни одной из них. В то время в большом ходу были, в первую очередь, теории Вернике и Фрейда, и та и другая забыты. Теория Фрейда даже среди психоаналитиков считается в значительной степени обусловленной временем, в которое она возникла, и больше не признается ими безоговорочно правильной.

Верилось — правда, всякий раз на новый лад, — что удастся найти методы, которые позволят постичь человека как единое целое (в том, что касается его конституции, характера, типа сложения, единства заболевания). На каждом из путей такого поиска — а каждый из них в каких-то пределах был плодотворен — эта мнимая целостность оказывалась на самом деле лишь моментом той всеохватной целостности человеческого бытия, которая никогда не становилась предметом исследования — именно как эта всеохватывающая целостность. Ведь человек как целое выходит за рамки любой мыслимой объективируемости. Как сущность для себя самого и как предмет исследования для ученого он просто принципиально неисчерпаем. Он как бы остается открытым. Человек — всегда больше того, что он знает о себе и что может о себе знать.

Итак, научным импульсом для общего систематизирующего изложения стало стремление свести воедино все точки зрения. В сфере психопатологии следовало четко и в строгих понятиях определить, что мы знаем, как мы это знаем и чего мы не знаем.

Основной замысел состоял в том, чтобы выяснить, на каких путях проявляет себя то объективное, которое поддается

исследованию. Ставить вопрос таким образом я стал уже давно — это было свойственно моей натуре. Когда на экзамене по медицине после пятого семестра, перед началом шестого клинического, мне достался вопрос о строении спинного мозга, я построил свой ответ так: назвал методы его исследования и указал, какие результаты приносит применение каждого из них. Анатом (Меркель в Геттингенском университете) был удивлен и похвалил меня, чему, в свою очередь, удивился я.

Систематизация требовала не упускать из виду ни одной действительно оригинальной методики, даже если с ее помощью был получен самый минимум знаний. Все подходы к реальности следовало держать открытыми — на будущее. А держать их открытыми можно, только осознав их. При этом каждый из подходов надлежало исследовать так, чтобы стали ясны его предпосылки и его границы.

По этой простой причине я с самого начала был настроен против научных школ, ибо они склонны что-то отвергать и исключать из рассмотрения. Я прослеживал путь любого ученого, достигшего каких-либо реальных результатов. Я стремился максимально раскрыть на материалах психопатологов и сам смысл науки.

Принцип моей «Психопатологии», следовательно, был таков: развивать познание и упорядочивать его результаты, используя в качестве путеводных нитей методы, с помощью которых эти результаты были получены; познавать познание и прояснять таким образом вещи.

Однако из данного принципа следовало и другое: методологические исследования сами по себе не имеют никакого значения до тех пор, пока методы не приводят к реальным знаниям. Как говорит старая поговорка, что толку болтать про плавание на берегу — прыгай в воду! Поэтому я поставил перед собой такую цель: в моей «Психопатологии» не должно быть рассуждений, которые так и остались бы отвлеченными. Они будут уместными лишь в том случае, если можно будет сразу же продемонстрировать их практический смысл на наглядном материале познания. Каждый метод ценен только своим действительным содержанием, то есть тем, что благодаря ему открывается в наблюдении. Основная эмпиристская установка книги требовала: наглядность и фактичность остаются главными условиями того, чтобы психопатологические исследования обрели признание. В то же время нужно было давать себе отчет, что даже сами факты бывают разными. Факты лежат не в одной — единственной плоскости. Скорее, они существенно различаются — из-за разнообразия путей, какими к ним приходят. А потому

чтение книг должно не только давать материал, но и учить размышлять — как и в каких пределах этот материал может считаться фактическим.

Такой принцип методологического осмысления и упорядочения представлялся мне тем более важным, что предметом изучения психиатрии был человек. От всех прочих вещей в мире человек отличается тем, что он — как целое — точно так же не может стать предметом изучения какой-то одной науки, как им не может стать весь мир в целом. При научном познании человека познается лишь нечто в его проявлениях, но не он сам. Если кажется, что достигнуто познание человека в его тотальности, — это иллюзия, возникшая вследствие того, что один из способов рассмотрения превращен в единственный, один из методов возведен в степень универсального.

Стремление делать осознанным способ научного познавания, осознать каждый из методов во всей его особости освобождает человека из плена иллюзий, будто бы он способен постичь себя в общем и целом, тотально. Избавление врача от такой иллюзии позволяет ему сохранить гуманизм, потому что не утрачивается понимание того, насколько бесконечен, неисчерпаем каждый человек в отдельности. Только и исключительно благодаря этому сохраняется столь необходимое для врача — гуманиста трепетное отношение к каждому человеку, благоговение перед ним, даже если он — душевнобольной. Надо было спасти для врача и ученого — исследователя человека — как человека уникального, неповторимого, индивидуального. Ни при каких условиях не может быть позволительным составление с помощью средств науки некой «калькуляции» человека. Каждый больной человек — как и любой человек — неисчерпаем. Компетентность науки никогда не простирается столь далеко, чтобы пропало, по меньшей мере, неясное чувство неисчерпаемости личности, во всей ее таинственности и загадочности — пусть даже эта личность выступает только как возможность, пусть даже от нее остались лишь чудесные, удивительные отсветы.

Книга, задуманная таким образом, могла, разумеется, стать неожиданностью, поразить в первом издании, но в ней неизбежны были недостатки. В последующих изданиях я сделал структуру книги более утонченной и заостренной, попытался охватить больший круг фактов. На протяжении десятилетий работа над этой книгой оставалась одним из важнейших дел моей жизни. После ее выхода я не проводил собственных психологических исследований, поскольку видел перед собой множество новых задач и жил вдали от клиники. Я только написал несколько патографий (в 1920 году— патографии Стриндберга и Ван Гога, в

сопоставлении с патографиями фон Сведенборга и Гельдерлина, а в 1936 году — соответствующую главу о болезни в моей работе «Ницше»).

Когда я работал над книгой, коллеги с самого начала высказали множество критических замечаний — как дружеских, так и враждебных, и те и другие пошли на пользу.

Самая острая критика исходила от Груле. Он, казалось, не принимал совершенно ничего из того, что я докладывал на врачебных собраниях. От его замечаний я приходил в немалое возбуждение. Они подхлестывали меня.

На одном из врачебных собраний я сделал сообщение, в котором предложил вниманию коллег план небольшой работы, посвященной феноменологическому направлению исследований в психиатрии. Это был мой замысел. Груле, казалось, не оставил от него и камня на камне. После этого я, уверенный в правильности избранного пути, всего за несколько дней написал статью, где изложил все более ясно, и предложил прочесть рукопись Груле. Тот, к моему удивлению и радости, одобрил ее содержание.

Была и другая, недоброжелательная, критика. Один ассистент — того же возраста, что и я, — бросил мне упрек, который в разных вариантах постоянно бросали мне позже. Впоследствии этот упрек стал относиться и к моей философии.

Я был обвинен в том, что задумал разрушить все твердо устоявшиеся представления о бытии в своем стремлении проанализировать теоретически все возможности исследования, а из-за этого теории оказываются-де в «подвешенном» состоянии, превращаясь в простые сравнения. К этому мой обвинитель добавил: «У вас нет совсем никаких убеждений. Так заниматься наукой нельзя. Науки нет без стержневой теории, связующей и соединяющей все. Только благодаря теории она и становится наукой. Вы — релятивист. Вы разрушаете устои медицины. Вы — опасный нигилист».

Однако самое большое и незабываемое впечатление произвела на меня позиция, которую занял по отношению к моей работе Ниссль. Он критиковал и помогал. Он настолько был удовле-. творен моей диссертацией «Тоска по родине и преступления», что оценил ее высшим баллом и пошел навстречу моему желанию работать у него в клинике. Первый наш разговор с глазу на глаз, когда я выразил такое желание, был краток. В ответ на мою просьбу он спросил: «Хорошо, а чем именно вы хотели бы заниматься?». Я сказал: «Первые недели я собираюсь провести в библиотеке, чтобы сориентироваться, чем можно заниматься вообще». Он удивленно посмотрел на меня и сказал как отрубил: «Ну, если вам угодно заниматься такими глупостями

— извольте». Я был просто потрясен и уничтожен таким ответом.

В бешенстве я хотел было отказаться от работы в клинике, но поразмыслил и решил так: «Это — заслуживающий уважения исследователь. Мне следует простить его за то, что он излил свой гнев на молодого человека. Клиника его уникальна. В Германии другой я не найду. Тут на карту ставится вся моя судьба. Надо смирить свою гордыню».

Так началась моя работа. Ниссль предоставил мне полную свободу, слушал мои научные доклады и как-то сказал одному из ассистентов: «Жаль Ясперса! Такой интеллигентный человек, а занимается сплошной ерундой». Когда я однажды из-за своего болезненного состояния опоздал к обходу, он приветствовал меня так: «Но, господин Ясперс, как бледно вы выглядите! Вы слишком много занимаетесь философией. Красные кровяные тельца этого не выносят».

Прошло несколько лет. Когда вышла моя статья о феноменологическом направлении исследований, он пришел ко мне однажды в поликлинику и спросил, можно ли ему послушать, как я феноменологически веду опрос — исследование больного. Мне выдалась счастливая возможность показать ему некоторые явные моменты, говорящие о начинающейся шизофрении. Ниссль высказался в том смысле, что очень удовлетворен, что феноменологию можно и нужно использовать.

Потом я получил корректурные листы своей «Психопатологии» и счел своим долгом показать их ему — как шефу и как человеку, который предоставил мне возможность для работы. На протяжении многих дней я видел его с корректурными листами, торчащими из кармана белого врачебного халата. Мне он не говорил ни слова. Ветцель передал мне такое его суждение о книге: «Великолепно! Крепелин остался далеко позади!».

По прошествии примерно трех недель Ниссль попросил меня посетить его вечером дома. Там он объявил мне: «Я считаю, что книга удалась. Но вы ведь наверняка рассчитываете получить доцентуру на основании этой работы. У меня, к сожалению, доцентами стали слишком многие, факультет больше не разрешает. Вам пришлось бы ждать, пока одного из доцентов не пригласят в другой университет или в другую клинику. А поэтому я навел справки: Крепелин в Мюнхене и Альцхаймер в Бреслау — оба готовы немедленно предоставить вам возможность получения доцентуры. Вы можете выбирать». Я ответил: «С Гейдельбергом у меня связано так много, что я предпочитаю оставаться здесь и ждать. Но, возможно, я смогу получить доцентуру по психологии на философском факультете. Мы бы основали там колонию, а позднее я смогу вернуться в клинику».

«Отлично!» — ответствовал Ниссль и помог мне исполнить задуманное, написав отзыв — рекомендацию для философского факультета, — другие рекомендации дали Макс Вебер и Кюльпе (из Мюнхена). Я получил доцентуру по психологии в 1913 году у Виндельбанда.

Я тогда и не подозревал, что этот шаг повлечет мой переход из мира медиков в философский мир университета. Меморандум родителям, направленный из Сильс — Марии, был позабыт. Теперь я преподавал психологию, печалясь, что приходится делать это вне связи с клиникой. Для наглядности я использовал массу таблиц, проводил простые эксперименты — и это при отсутствии Института психологии в университете.

То, что я в конечном итоге так и не вернулся к психиатрии, было вызвано, как мне представляется, внешними обстоятельствами — моей болезнью. Когда во время Первой мировой войны тогдашний декан, профессор Готтлиб, спросил меня, приму ли я, как последователь и ученик Ниссля, приглашение возглавить исследовательскую психиатрическую клинику в Мюнхене, я попросил несколько дней на размышление. Мы раздумывали вместе с женой, не согласиться ли: ведь мы получили бы квартиру при клинике, а я в значительной мере освободился бы от обременительной практической деятельности. В итоге мы решили, что данный вариант совершенно невозможен из-за моего физического состояния. Я не мог брать на себя ответственность за надлежащее руководство клиникой. Отказ дался мне тогда очень тяжело. Пределом своих желаний я считал в то время возможность вместе с единомышленниками поддерживать дух клиники, следуя по пути, уже выбранному в соответствии с традициями, и развивать этот дух — как в научных исследованиях, так и во врачебной деятельности. Такое казалось неизмеримо более значительным, чем просто преподавание в университете — в окружении книг и бумаг, довольствуясь случайными жизненными впечатлениями и редкими поездками.

Это стоит отметить сейчас, оглядываясь назад. То, что я сделал вынужденно, из-за болезни, против своей воли — окончательно выбрал философский факультет, — на деле оказалось выбором пути, предначертанного мне от рождения. Я философствовал с младых лет. Медициной и психопатологией я занялся потому, что меня подтолкнул к этому интерес к философии. Я не решился прямо выбрать философию, сделав ее главным делом в жизни, поскольку испытывал трепет — уж больно велики были открывающиеся задачи, и позднее я тоже не собирался избирать такую стезю. Цель была такова: преподавать

психологию, занимая кафедру философии, которая была бы таковой только по названию, а на деле являлась бы кафедрой психологии. Тот поворот судьбы, который был перенесен столь болезненно, поскольку пришлось отказываться от многого, на деле оказался счастливым, ибо мне открылось поле широких возможностей. А в последующие годы к этому полю возможностей добавилась философия. Но я сохранил верность труду своей молодости. «Психопатология» всегда была дорога мне.

Воспоминание о сообществе единомышленников, существовавшем в нашей Гейдельбергской клинике, сопровождало меня на протяжении всей жизни. В последующей моей работе я опирался лишь на свои силы, проводил исследования на собственный страх и риск, хотя меня поддерживали единомышленница- жена и мой друг Эрнст Майер. Однако моя работа происходила вне контакта с содружеством профессионалов. Сравнивая и сопоставляя, я могу судить, насколько более разобщенным, искусственным и неподлинным было сообщество доцентов философии, сколь бы часто они ни встречались на конгрессах и ни обменивались мнениями на страницах журналов и книг.

3. Психология мировоззрений

Когда осенью 1913 года я стал доцентом, мне поручили читать лекции по психологии. Летом 1914 года я начал с темы «Психология характеров и одаренности». Затем последовали лекции об эмпирической психологии: психологии ощущений, психологии памяти, исследования процесса утомления. Потом я прочитал патографические лекции о многих исторических личностях, которые были больны психически.

Но решающим для выбора того пути, по которому в дальнейшем двинулась моя мысль, стал тезис Аристотеля: «Душа — это как бы все». Опираясь на него, я с чистой совестью принялся заниматься всем, чем угодно, называя эти занятия психологией. Ведь нет ничего такого, что не имело бы своей психологической стороны, если трактовать это в столь широком смысле. Я никоим образом не принимал господствовавшего тогда в Гейдельбергском кружке (Виндельбанд и Риккерт) ограничения пределов психологии. То, чем я начал заниматься в психопатологии, называя это «понимающей психологией», теперь наложилось на всю традицию гуманитарно — научного и философского понимания. Таким образом я окидывал взором и ширь мира, и глубину того, что доступно пониманию в человеке. Я читал лекции о понимающей психологии, в первую очередь — о социальной психологии морали. Среди этих курсов лекций один для меня стал важнейшим. Я опубликовал его под названием «Психология мировоззрений» в 1919 году, после окончания войны. Эта книга предопределила мой путь в философии, хотя сам я этого еще не осознавал. В ней переплелось несколько мотивов, о них я написал в предисловии к четвертому изданию.

В моей «Психологии мировоззрений» есть одно ключевое противопоставление. Там прямо говорится: автор не намерен излагать никакой философии. Ведь философия в высшем смысле этого слова есть проповедование, утверждение чего-то. Психология, наоборот, пытается понять все возможные варианты мировоззрений, окидывая их беспристрастным взглядом. «Тот, кто желает получить прямой ответ, как ему следует жить, будет искать его в этой книге понапрасну». Самое существенное, говорилось в книге, — это самостоятельный жизненный выбор личности, автор же дает только некоторые пояснения, способствующие постижению самого себя, открывающие возможности для такого постижения. Книга апеллировала к неотъемлемой ответственности каждого за свой выбор и предлагала помощь в ориентации, но не пыталась научить жить.

Благодаря тому, что я тогда делал, мне позднее прояснилось многое: во — первых, следовало создать такую философию, которая была бы философией в подлинном смысле, но не выступала бы в роли философии проповедующей и постулирующей; во- вторых — следовало определить границы той психологии, которую можно называть научной, отделяющие ее от псевдопсихологии, которая сама уже является философией.

Логично поэтому поставить вопрос об основаниях моей «Психологии мировоззрений». Они были тогда неясными для меня самого, но эта неясность оказалась благом, ибо вела к открытиям и приносила плоды. Я еще не представлял себе от начала до конца тех методов, которыми пользовался, хотя и рассуждал о них в книге, а в своей работе, посвященной психопатологии, весьма интенсивно занимался прояснением методологических вопросов.

Прибегнув к методу понимания, я окунулся в море возможностей, чтобы с помощью этого понимания найти путь в собственной жизни. Уникальный душевный подъем, которого я не испытывал с тех пор, любимая жена рядом, тяготы Первой мировой войны, нужда и лишения, которые мы переживали вместе со всеми остальными нашими согражданами, — все это, соединившись, дало в итоге счастье, с которым мы занимались философией и видели самих себя более ясно, чем раньше. Едва ли можно было достичь такого результата только с помощью объективного научного познания. Тогда наша совместная работа, полная духовности и человечности, еще протекала в тиши и покое. На нее еще не обрушился огонь критики, еще не обратилось пристальное внимание. О ней знали и поддерживали ее издали лишь немногие из моих слушателей — некоторые из них по — прежнему оставались с нами в дружеских отношениях. В основном это были женщины, обездоленные войной. Я был тронут, когда узнал, что в 1921 году тайный советник Мартиус, обсуждая на совещании вопрос о своих преемниках, сказал, что при чтении моей книги у него возникло такое чувство, будто в немецкой философии снова наступает весна. Суждение было чересчур лестным, но в нем верно схвачено то настроение, в котором рождалась, вырастая в нас, эта книга.

В исторической ретроспективе «Психология мировоззрений» является самым ранним произведением, где излагается та современная философия, которая впоследствии стала называться экзистенциализмом, философией существования. Интерес к человеку, забота мыслящего человека о себе самом, попытка быть предельно честным — вот что задавало тон всему. Здесь затронуты были почти все основные вопросы, которые позднее

осознались со всей ясностью и были развернуты во всей широте: вопрос о мире — каков он для человека; вопрос о ситуации, в которой находится человек, и о его пограничных ситуациях, которых он не может избегнуть (смерть, страдания, случай, вина, борьба); вопрос о времени и о многомерности чувства времени; вопрос о развитии свободы при создании человеком самого себя; вопросы об экзистенции, о пути мистики и пути идеи, и так далее. Однако все эти вопросы были рассмотрены бегло, не в системе. Настрой и замысел книги были более широки, чем то, что удалось сказать.

Один из замыслов работы состоял в том, чтобы наглядно показать человеческие масштабы, человеческое величие — так, чтобы оно не искажалось скверными мифами, чтобы не попадало под разоблачения ложной нигилистической психологии, а во всей ясности представало перед реалистическим взглядом. Можно было показать, как реально действуют враждебные человеку силы — не на примере второразрядных фигур, а на примере выдающихся личностей, мысливших, творивших, отличавшихся внутренней цельностью.

Действительно великой личностью среди современников, личностью, масштаб которой позволял представить себе масштаб великих людей прошлого, был для меня Макс Вебер, человек уникальный и удивительный. Я познакомился с ним благодаря Груле в 1909 году. Умер он в 1920–м. Всем мышлением и всем существом своим Макс Вебер по сей день глубоко влияет на мою философию, как не влиял ни один другой мыслитель. Я публично засвидетельствовал это в своей речи, произнесенной в 1920 году в память о нем, и в одной из своих работ, вышедшей в 1931 году. Лишь после его смерти я все больше и больше стал сознавать, каково было его значение — о нем я часто вспоминаю в своих философских работах. Задача — постичь это значение во всей действительности — стояла передо мной на протяжении всей жизни. Но тогда он повлиял на сам замысел моей «Психопатологии», а еще больше — на замысел моей «Психологии мировоззрений», во введении к которой я подчеркиваю значение для своих исследований его конструкции идеальных типов, разработанной в сфере социологии религии. Когда эта книга вышла в свет в октябре 1919 года, Макс Вебер уже уехал в Мюнхен. Мне довелось поговорить с ним только раз — во время продолжительного визита, который он любезно нанес нам, будучи проездом в Гейдельберге. Он упомянул о книге лишь на прощание и сказал тогда со всей своей теплотой: «Я вам благодарен. Заниматься этим стоило. Желаю вам хороших результатов и в будущем». Таковы были его последние слова,

сказанные мне.

4. Риккерт

В 1916 году после смерти Виндельбанда ординарным профессором философии в университет Гейдельберга был приглашен Риккерт. Мне довелось преподавать с ним в одном университете на протяжении долгих лет, до 1936 года, вначале — в качестве приват — доцента по психологии, а с 1921 года — в роли коллеги- профессора. Он находил развлечение в беседах с молодым человеком. Мы часто виделись и вели дискуссии, не отличавшиеся излишней сдержанностью. Он предоставлял мне, так сказать, абсолютную свободу шута. Ведь я принадлежал к иной сфере — к сфере психопатологии и психологии — и в соответствии с абсолютным разделением философии и психологии, которое провозглашала школа Виндельбанда — Риккерта, не имел ничего общего с теми вещами, которыми занимался он. Уже при первой нашей встрече он сказал: «Чего вы, собственно, хотите? Вы пытаетесь сидеть между двух стульев — из психиатрии ушли, а философом не сделались». На что я ответствовал: «Я хочу получить кафедру философии; как я распоряжусь правом преподавать философию — мое дело, в соответствии с принципом свободы доцентов, да к тому же и учитывая неопределенную структуру того, что в университете именуется философией». Риккерт от души расхохотался над таким бесстыдством.

Моя «Психология мировоззрений» в 1919 году расстроила его. Я предоставил ему корректурные листы. Он настоятельно посоветовал мне снять одно примечание, где я привел как примеры «систем ценностей» в один ряд учения Мюнстерберга, Шелера и Риккерта: «Я забочусь не о себе, а о вас, ведь вы скомпрометировали бы себя столь неверным пониманием моей философии». Я охотно исполнил его желание, поскольку примечание не имело существенного значения. После выхода книги в свет он напечатал в «Логосе» критическую статью в свойственном ему стиле, где пытался отвергнуть все мои идеи. Тон статьи, однако, все же был доброжелательным и оставлял мне некоторые надежды. Ведь критические замечания завершались чем-то вроде одобрения и признания: «Мы рады приветствовать этого начинающего автора».

Во многих беседах с Риккертом, происходивших на протяжении многих лет, до 1922 года, обсуждение одного вопроса было более важным для развития моего мышления, чем обсуждение всех прочих. Риккерт отстаивал притязания научной философии на всеобщую и обязательную значимость, а я ставил

под сомнение правомерность этих претензий. В дискуссиях с ним для меня прояснялись те идеи, которые ранее существовали у меня в смутном и неопределенном виде.

С самого начала научное познание было для меня обязательным и необходимым элементом жизни. Я стремился понять, что люди знают научно, как они получают и обосновывают это знание — хотя и не слишком преуспел в этом стремлении. Это стремление сохранилось у меня до сих пор, правда, в последние годы оно удовлетворяется только за счет чтения научных статей почти из всех областей науки.

Но ограничиваться этим нельзя. Подлинно научным является то знание, которое критично по отношению к себе, которое сознает свои пределы. С тех пор, как я прочитал Спинозу, я стал мыслить таким образом, какой мне открылся благодаря философскому взгляду на вещи, но именно по этой причине он и был недействителен с точки зрения науки. Когда однажды в клинике меня повстречал Ниссль и спросил о моей работе так, как он имел обыкновение спрашивать: «Какие есть результаты?» — меня вдруг озарило (поскольку я как раз был занят философскими размышлениями): «А ведь существует полное смысла мышление, в принципе не дающее никаких определенных результатов!» Но это откровение в то время никак не повлияло на мою работу.

Теперь же это стало темой, к которой все время возвращались наши с Риккертом споры: я нападал на его философию из-за ее претензий на научность, заявлял, что вовсе не обязательно каждый должен принимать то, что он, Риккерт, утверждает, а уж менее всего — то, что он утверждает в своей «Системе ценностей». Я пытался продемонстрировать справедливость этого моего тезиса для каждого риккертовского положения в отдельности. В целом же я подчеркивал, что его философия, как, впрочем, и любая другая, никогда не вызывала и не вызовет того всеобщего признания и согласия с ней, которое вызывают познания науки. При этом я отстаивал идею философии, которая представляет собой не науку, а нечто иное. Она, говорил я, должна удовлетворять таким требованиям к истинности, которые науке неведомы; она основывается на ответственности, которая науке чужда; она достигает чего-то такого, что для всей и всяческой науки остается недостижимым. На основе этого я заявлял, что Риккерт по складу мышления и сам, собственно, вовсе не философ, а занимается философией, уподобившись физику. Различие состоит лишь в том, что он создает утонченные логические построения, в общем и целом являющие собой мыльные пузыри, тогда как физик познает нечто реально,

проверяя свои умственные конструкции фактами. Риккерта это забавляло — он веселился над моими высказываниями, считая их болтовней молодого человека, сбившегося с праведного пути академической науки и едва ли могущего рассчитывать на что-то в университете. Когда я как-то раз случайно назвал его философом, он, довольный, закричал своей супруге, которая как раз входила в комнату: «Только что Ясперс признал, что я — философ!».

Риккерт обладал острым умом. Он был высокообразованным человеком, почитателем Гете. Как личность он доминировал на факультете. Он был другом Макса Вебера. Пока Макс Вебер был жив, между Риккертом и мной, несмотря на «Психологию мировоззрений», сохранялись хорошие отношения. Само присутствие Макса Вебера гарантировало, что из всех возможностей будут реализованы самые наилучшие, к тому же он не давал развернуться самоуверенности Риккерта. Когда Риккерт говорил на воскресном собрании ученых дома у Макса Вебера о своей системе, о шести областях ценностей и об одной из них — области эротики — как о философии совершенных ценностей настоящего момента и при этом стал философствовать о любви, Макс Вебер вдруг сердито перебил его: «Бросьте-ка этот "стиль садовой беседки"! (Так в ту пору— по названию сентиментального мелкобуржуазного журнальчика — именовались выспренные рассуждения о чувствах). Ведь все это — совершенная чушь!»

В книге Риккерта «Границы естественнонаучного образования понятий» Макс Вебер отчасти «узнал» свои собственные методологические воззрения, развитые им на материале истории, национальной экономики и социологии. Будучи человеком безмерной душевной щедрости, Макс Вебер выразил свою благодарность в том, что стал постоянно ссылаться на Риккерта в этих методологических вопросах и изображал некоторые свои результаты простыми выводами из идей Риккерта, следствием применения их.

Когда в 1920 году Макс Вебер умер, у меня было чувство, будто перевернулся мир. Не стало человека, который оправдывал для меня существование этого мира и наполнял его душевностью. Макс Вебер был таким авторитетом, который никогда не вставал в позу и не вещал, никогда не освобождал остальных от ответственности, — он просто поддерживал те начинания, которые были созвучны его глубоко человечному мышлению, строгому и ясному. Не стало человека, умевшего очень надежно, незаметно, исподволь направлять ход разумных дискуссий — человека, мышление которого давало прочную основу для глубочайшего понимания современной ситуации и позволяло

судить об усилиях, о реальных действиях ученых, о событиях и достижениях познания.

После смерти Макса Вебера я долго не решался прийти к Риккерту, опасаясь неподходящих слов об этом глубочайшем потрясении для нашей духовной жизни, для всей жизни немецкого народа. Только на пятый день я наконец решился. Вначале мы обменялись выражениями нашей скорби, что меня глубоко тронуло. Но потом Риккерт стал говорить о Максе Вебере как о своем ученике. Это-де была личность значительная, достойная его самого, но нельзя не отметить, что произведения его отличались, к сожалению, трагической разорванностью, а круг приложения достигнутых им познаний был мизерен. Тут произошло непоправимое. Меня охватил гнев, и я позволил себе заявить в запальчивости: «Если вы полагаете, что вас с вашей философией в будущем кто-то вспомнит, то это случится только потому, что он будет излагать учение Макса Вебера, а о вас скажет в примечании — это тот, кому Макс Вебер выражал признательность за методологические идеи».

С этого момента добрые отношения между Риккертом и мной были подорваны. Он понял, что мне опасно предоставлять свободу шута. Когда несколько недель спустя я произнес по просьбе студенческих организаций Гейдельберга речь, посвященную памяти Макса Вебера (траурные торжества сенат Гейдельбергского университета проводить отказался), Риккерт гневно закричал мне, когда я пришел к нему: «То, что вы сделали из идей Макса Вебера философию, — это ваше дело, но что вы называете его философом — это чушь!». С тех пор Риккерт стал моим врагом. В 1921 году освободилась вторая кафедра философии, так как Хайнрих Майерс уехал преподавать в Берлин. Я, в свою очередь, получил приглашения стать профессором в Грайфсвальде и в Киле, но очень хотел остаться в столь неповторимом, столь окрылявшем меня Гейдельберге, с которым у меня было связано так много дорогих воспоминаний. Риккерт с самого начала попытался сделать все, чтобы воспрепятствовать этому. Еще в 1920 году, когда освободилось несколько кафедр и у меня, казалось, были шансы занять одну из них, он сказал мне, что считает в высшей степени невероятным, что меня пригласят преподавать. Ведь я — не философ и не владею сейчас теми предметами, по которым нужны преподаватели. Я ответил: «Не думаю. Ведь такое было бы позором для немецких университетов».

Он обосновывал отвод моей кандидатуры тем, что я пришел из сферы естественных наук, да и по натуре своей имею естественнонаучный склад мышления. Но Риккерт заблуждался.

Приглашения были мне сделаны, хотя факультеты и правление университета предпочли представителей философии, и в Гейдельберге тоже аргументы, выдвинутые против меня Риккертом, действия не возымели, а кандидатуры, предложенные им самим, не убеждали. Комиссия по приглашению преподавателей и факультет настояли на моем приглашении, с чем в конце концов пришлось согласиться и Риккерту.

То, что Риккерт был настроен ко мне недоверчиво, было выражением общего недоверия. В кругу философов по профессии я считался чужаком. Уже моя хабилитация в 1913 году вызвала раздражение среди тех молодых людей, которые сами имели философское образование и тоже подумывали о хабилитации. А я не имел степени доктора философии, я был доктором медицины. Традиционного философского образования у меня не было, поэтому я продолжал оставаться «человеком со стороны» даже теперь, когда стал ординарным профессором философии. Риккерт и другие философы — доценты пытались сформировать мнение, что я — просто романтик, но при этом бездарность, путаник и гордец; я-де написал единственную хорошую книгу — «Психопатологию», но, к сожалению, оставил ту область, где и в самом деле мог чего-либо достичь. Когда Риккерт как-то позднее написал о философских традициях в Гейдельберге, он упомянул даже каждого приват — доцента, но меня проигнорировал. Несмотря на все это, у Риккерта была одна важная черта, ставившая его много выше собратьев по философскому цеху. Он обладал чувством юмора. Когда незадолго до его неожиданной смерти я нанес ему визит, он как раз читал моего недавно вышедшего «Ницше» и сказал: «Благодарю вас. Я нахожу, что это отличная книга, господин Ясперс. Это — только, пожалуйста, не обижайтесь на меня — научная книга».

5. Философия

Когда 1 апреля 1922 года я получил кафедру, став ординарным профессором философии в Гейдельберге, мне казалось, что я еще не готов к этому — по моим собственным меркам. Я стал заниматься изучением философии более основательно. Вопреки своим прежним планам, я отважился сделать философию своей профессией и делом жизни. Задача моя была мне ясна. Та философия, которая развивалась профессорами, на мой взгляд, не была философией подлинной. Со своими притязаниями на то, чтобы стать научной, она сплошь и рядом оказывалась обсуждением вещей, несущественных для решения основных вопросов нашего бытия. По моим представлениям, я не был самобытным философом. Макс Вебер умер. Если в духовном мире философии нет, то задача, по крайней мере, должна состоять в том, чтобы показать, какой она бывает, привлечь взгляд к великим философам, не позволять выдавать незначительное за великое, пробудить у молодежи вкус к подлинной философии.

В 1920 году я оказался на распутье. Моя «Психология мировоззрений» имела успех. Ее тогда много читали. В те годы, когда она создавалась, я подготовил рукописи курсов лекций о психологии религии, о социальной психологии, о психологии народов и психологии морали. Не составляло особого труда подготовить к печати три новые книги. Можно было использовать обширную литературу, дать широкую панораму. Я достиг определенного уровня, позволявшего, вероятно, проводить содержательные исследования, но — без философской базы, и теперь можно было разворачивать исследования на этом уровне вширь. Велико было искушение — писать по такой книге каждый год или каждые два года. Вероятно, каждая имела бы успех на какое-то время. Но сознание мое противилось этому. Я понимал — на таком пути нельзя будет прояснить в мыслях то, что было жизненно важным в моем внутреннем мире, в моих оценках людей и вещей. Подменить философию психологическим рассмотрением, даже столь широким, даже с использованием столь интересного исторического материала, значило все же уклониться от исполнения серьезнейшей задачи — от постижения себя самого в своем существовании. Оставалась бы некоторая необязательность, «легкость» рассмотрения множества разнообразных предметов.

Задача, которую я поставил перед собой, требовала особого методологического осмысления и глубокого проникновения в

немногие основополагающие философские произведения великих. Я и теперь продолжал заниматься историей и изучением всякого рода фактов, поставляемых различными науками, но уже делал это мимоходом, урывками, так сказать, в порядке отдыха. Главным же делом для меня была акклиматизация на высоте подлинной философии. Она протекала медленно. Внезапные интуитивные прозрения, в которых открывалась суть дела, обретали прочность и связность только благодаря работе, имевшей теперь принципиально новый характер. Она состояла не в учении и не в умножении знаний, а в освоении тех форм мышления и образов действия, которые требовались при обращении к великим философам, но научиться которым было нельзя, поскольку их не существовало в готовом виде. Следовало выйти на новый уровень мышления. Сделав такой выбор, нужно было начинать практически с азов.

Я тогда много думал над сложившейся ситуацией. Став ординарным профессором, я обрел полную свободу. Мне не надо было теперь что-то публиковать, чтобы получить кафедру. Я получал денежное содержание, что, по университетским традициям, не налагало на профессора никаких обязательств и ограничений: не давало никому права контролировать его, а просто предполагало, что он прилагает все свои силы без остатка для того, чтобы достичь свободно избранной им цели, и при этом через посредство преподавания открывает для молодежи возможность следить за его работой. Я решил, что публикации мои должны временно прекратиться. Два опубликованных исследования — о Стриндберге и Ван Гоге (1922) и об идее университета (1923) — представляли собой отредактированные тексты работ, рукописи которых были готовы еще до того, как я стал профессором.

Когда прошло несколько лет, а я так ничего и не опубликовал (вплоть до конца 1931 года), иные из моих коллег — недоброжелателей принялись говорить, что я, став ординарным профессором, тут же превратился в прожигателя жизни и перестал работать. Чем дольше все это длилось, тем более крепло убеждение, что от меня больше нечего ожидать. Мое творчество периода «Психологии мировоззрений» — это, дескать, костер из соломы: вспыхнул ярко и навсегда погас. Риккерт выражал свое презрение по отношению к моей «сверхнауке». Он заявлял, что мое прилежание, проявленное в сфере психопатологии, благодаря чему я снискал авторитет в научных кругах, мною утрачено. Уважение ко мне в Гейдельберге упало до столь низкой отметки, что считалось — со мной покончено. Просто удивительно, почему на мои лекции приходило так много слушателей. Видимо, в этом

были повинны те мои качества, которые принесли мне славу «развратителя молодежи».

Разумеется, мои лекции и семинары не были изолированы от моих поисков. Я ведь находился в самой середине работы по созданию того, что могло окончательно оформиться только в будущем. Услужливые ученики коллег — философов донесли им, что я читаю лекции, не имея четких ориентиров, — как человек, никогда не изучавший философию и легкомысленный. Другие слушали меня с неослабным вниманием, потому что общий настрой моих лекций и возможности, которые в них содержались, открывали им доныне неизвестный мир. Читая лекции таким способом, я разрабатывал учение, а не сообщал уже готовое.

Если прибегнуть к традиционному делению, то эти лекции были отчасти историческими, а отчасти — систематизирующими. В лекциях по истории философии я приводил идеи и образы, посещавшие меня в ходе изучения материала, давал характеристики эпох и говорил о смысле принятия в эти эпохи рациональных конструкций и методов. Не чувствуя необходимости жестко привязываться к хронологическому порядку, я то и дело затрагивал темы из самых разных времен европейской истории философии. Наверное, я был похож на дирижера оркестра, который дает зазвучать то одному, то другому голосу из прошлого.

Более трудными, более важными и требующими немалой внутренней работы были те лекции, в которых я пытался передать основополагающее знание, обретавшее реальность во мне благодаря моим собственным открытиям и освоению чужих учений. Тут речь уже шла не о сообщении чьих-то мнений, сколь бы великим философам они ни принадлежали, а о самой истине — как она сегодня может мыслиться отдельным человеком. В лекциях, посвященных логике, учению о категориях, метафизике, анализу экзистенции, я поначалу подавал самое существенное в форме, которую мне хотелось преодолеть, — то есть в форме логически объективного и психологического. Внезапные удачи перемежались тяжеловесными, утомительными абстрактными рассуждениями. На лекциях порой случались озарения, и слушатели мои, не найдя их отражения в книгах, написанных на основе лекции, позднее пеняли мне по этому поводу.

Я так ничего и не опубликовал из того, что преподавал таким образом на лекциях и семинарах на протяжении десятилетия. Что же касалось университета, то я жил в чуждом для себя мире профессоров философии. Предпринимаемое мною в духовной сфере было одновременно и осторожным, и безрассудно смелым. Порой оно было основательным, а порой — дерзкой шуткой. То,

что делали другие, и то, что пытался делать я, развивалось параллельно, нигде не пересекаясь. Я не боролся с другими, не выступал в роли их противника. Если Риккерт в своих лекциях нападал на меня, — порой — к развлечению студентов, а порой и к неудовольствию их, — то я преподавал так, будто других университетских профессоров не существовало. Я никогда не делал выпадов против своих коллег.

В общем и целом я чувствовал, что иду верным путем. Но сомнения меня все-таки посещали. Одиночество среди коллег по профессии требовало от меня находить доказательства своей правоты в собственной работе.

С 1924 года я регулярно работал над книгой, которая вышла в свет в декабре 1931 года под названием «Философия». Она поначалу не имела ни четкого замысла, ни плана. Подготовительных рукописей к ней становилось все больше. Даже тогда, когда я путешествовал, у меня была с собой записная книжка. Я часто заносил в нее ту или иную мысль. Частности оформились раньше, чем единое целое. Оно не было задано с самого начала как исходный принцип. Оно развивалось и складывалось наряду с частностями. Общее построение целого для меня было не столь важным.

Я исключил все то, что не имело прямого отношения к делу — выяснению, что такое философия, в каких измерениях она движется. Причем следовало не просто рассуждать об этом, но и показывать все на конкретном материале. Все, что я мог почерпнуть из общения с людьми, на факультетских собраниях и заседаниях, но в первую очередь то, что мне открывалось в общении с любимыми мною людьми, то, что я видел, наблюдая их судьбы, — все это превращалось в философские суждения, истоков которых доискаться было уже невозможно. То, что я постигал, читая труды великих философов, соединялось у меня с истинами современными. Кажется, совсем незаметные и случайные поводы наталкивали меня на открытия. Разумеется, это не могло бы произойти, если бы совсем не было плана и ключевого замысла.

Но вся эта работа была удачной только тогда, когда на нее оказывало постоянное влияние нечто другое: мечты, грезы, фантазии. Я созерцал природу, глядя в небеса, следя за облаками, часто просто сидел или лежал в раздумьях. Только покойное размышление в соединении со свободным полетом фантазии дает возможность ощутить те импульсы, без которых любая работа становится бессмысленной, несущественной, пустой. Мне кажется, что для человека, который ежедневно не предается хотя бы ненадолго фантазиям и грезам, меркнет путеводная звезда,

необходимая для всех наших трудов и всей жизни.

В своих философских работах я исходил из двух посылок, которые стали мне ясны тогда, когда я следил за Максом Вебером в его дискуссиях с Риккертом.

Первая из них: научное познание — необходимый элемент в философствовании. Без науки сегодня невозможно обрести никакой истины. Правильность познания в науках совершенно независима от философской истины, но последняя нужна для них — просто необходима. Ведь наука не может постичь, почему необходима она сама, почему она должна существовать. Она имеет пределы, существование которых при ясном методологическом размышлении сознает сама.

Вторая посылка была такова: есть мышление, не являющееся принуждающим и общезначимым, как научное, и оно по этой причине не дает никаких результатов в той форме, которая принята в науке. Это мышление, которое мы называем философским, приводит меня к постижению себя самого, а результаты оно дает благодаря осуществляемой с его помощью внутренней работе и будит во мне сознание тех первоначал, которые единственно и придают смысл всему, в том числе и науке.

Науку нужно привести к ее максимально возможной чистоте, подтвердить, что это — познание, сознающее свои методы, принуждающее и общезначимое, и соответствующим образом рассматривать ее результаты. В то же самое время следует в столь же чистом виде прояснить суть философского мышления, которое не направлено против науки, но постоянно находится в союзе с ней — философского мышления, которое не представляет собой ни над — науки, ни сверх — науки, а является мышлением, радикально отличающимся от научного. Серьезность ответственности за чистоту науки неотделима от серьезности мышления философии, приводящего меня к постижению самого себя.

Сквозь мою жизнь прошло и то и другое; в ней был и постоянный интерес к науке, и требование принципиальной позиции по отношению к науке у того, кто выступает в роли философа; и утверждение необходимости науки, величия ее — и в то же время интерес к философствованию, требование преобразующего мышления, которое не приносит каких-то реальных осязаемых результатов, утверждение, что смысл науки (но не ее правильность) зависит от философии. Результат был таков: я пытался самоутверждаться, выступая против презрения к философии со стороны многих представителей науки и против презрения к наукам со стороны недолюбливающих научный

рассудок жрецов философии.

Другое следствие было таким: я решил, что в отличие от наук, где исследователь должен отделять себя от содержания познаваемого, при философствовании человек неотделим от своих философских идей в философии нет ничего, что можно было бы отделить от человека. Сам философствующий человек, его основные познания, его действия, его мир, его повседневный образ жизни, те внутренние его силы, которые сказывают себя в нем, — всего этого нельзя оставлять в стороне, если пытаешься вникнуть в его мысли и мыслить вместе с ним.

И для меня, и для моей жены остается самым драгоценным воспоминанием то время нашей совместной работы над «Философией», тем более, что с нами столь активно сотрудничал ее любимый брат, а мой друг Эрнст Майер (о нем в следующей главе). У нас только началась зрелая пора жизни. Философия позволила нам лучше постичь самих себя. На фоне того, что было в жизни ужасного и угрожающего, на фоне тех страшных событий, которые мы перенесли, будучи их участниками, работа по переводу всего этого в философские идеи казалась счастьем, к которому примешивалась некоторая тяжесть на сердце.

Писалось о чрезвычайном, из ряда вон выходящем — но в такой момент, когда мы сами обрели покой, когда наступил миг постижения и нашлись слова, чтобы выразить постигнутое. Жена переписывала мои рукописи, прочесть которые не мог никто, кроме нее. Она читала написанное мной и писала в ответ свои замечания. Это превратилось в своеобразную домашнюю переписку — наряду с нашими беседами.

Мы были особенно неутомимы в последний год работы над книгой. После того как рукопись была сдана в печать, мы поехали в октябре 1931 года в Белладжио, чтобы вместе, под лучами солнца, наслаждаться чистой красотой Комского озера и вилл подле него, испытывая ту веру в прелесть жизни в этом, а не в потустороннем мире, которая столь свойственна античности, отдыхая перед дальнейшими трудами.

О содержании моей «Философии» — она вышла в декабре 1931 года, но год был указан 1932 — я здесь не пишу. В ней философское мышление в его осуществлении разделяется в зависимости от способов трансцендирования. Все в целом не представляет собой единой системы. Отдельные главы необязательно читать по очереди, в том порядке, в котором они следуют друг за другом. Но каждая глава, взятая в целом, — это определенное движение мысли, в которое при чтении надо вникнуть разом, проделывая это движение вместе с автором.

Книга не называется — «Экзистенциальная философия». Ведь

замысел ее заключается в том, чтобы в нынешние времена, весьма скромные в духовном отношении, обрести образ вечного философствования, взятого в полном объеме. Потому лишь второй том книги недвусмысленно называется «Прояснение экзистенции» — этот термин я уже восемь лет использовал на лекциях. Метафизику следовало не отбрасывать, а освоить и превратить в собственное достояние. Я сформулировал эту задачу в своей книге «Духовная ситуация времени», вышедшей в то же самое время, охватывая на миг смысл всего целого и называя это целое экзистенциальной философией.

«Экзистенциальная философия» — это мышление, использующее все конкретное знание о реалиях, но выходящее за его пределы; это мышление, благодаря которому человек хотел бы стать самим собой. Это мышление, которое постигает не предметы науки, а проясняет бытие того, кто мыслит таким образом и одновременно оказывает реальное воздействие на это бытие. Как философская мироориентация, это мышление выводит из привычного равновесия, поскольку решительно перешагивает все границы и рамки, установленные тем познанием мира, которое предполагает фиксированное понимание бытия; как прояснение экзистенции, оно апеллирует к своей свободе; как метафизика, оно создает пространство своего безусловного воплощения в деянии, взывая к трансценденции (о смысле, возникновении и устремлении этой философии более подробно написано в послесловии 1955 года к третьему изданию «Философии», том 1, стр. XV-LV).

6. Эрнст Майер

В то десятилетие, когда я намеренно ничего не публиковал (с 1923 по 1931 год), необычайно большое и непосредственное влияние на мою работу оказал мой друг Эрнст Майер (1883–1952). Эрнста и меня связывало много общего. Мы были похожи, и сходство это было многообразным и неисчерпаемым. Общность между нами существовала всю жизнь, и каждый из нас всегда был готов откликнуться на зов другого.

Мы познакомились летом 1907 года. Оба были тогда студентами — медиками. Одногодки, мы проучились одинаковое количество семестров. На меня произвело впечатление упорство, с которым Эрнст принимался за изучение даже таких вопросов, которые обычно изучают мимоходом или вообще не изучают, считая занятия ими пустой тратой времени, либо полагая, что это предмет праздного любопытства: принципы медицинского познания; философские тезисы, встреченные в книгах и лекциях; вопрос о том, что такое дружба и что такое женщины; личные качества наших преподавателей; коллизии повседневной жизни. Непосредственно учебой он занимался не так интенсивно, если судить по количеству изучаемого материала, но мог осмыслить любой вопрос детально и глубоко.

Эрнст постоянно искал существенное, а также выяснял методы постановки вопросов и методы исследования. Долго и обстоятельно штудировать книгу было не в его обычае. Он, словно ясновидящий, сразу находил самые важные места. С таким студентом жизнь меня еще не сводила. Никаких высокопарных речей с претензией на сострадание, столь разнообразных тогда. Вместо этого — спокойное, рассудительное исследование, шаг за шагом, вопрос за вопросом, основательное продумывание позиции. Все это говорило о серьезном отношении к делу и производило на меня сильное впечатление.

«Мы говорим обо всем, только не о медицине», — написал я родителям о своем новом друге вскоре после нашей встречи.

По натуре я — человек сдержанный. Я всегда трудно сходился с людьми. Со школьных лет я страдал от одиночества, хотя у меня было немало знакомых. Проявлял я поначалу сдержанность и по отношению к Эрнсту Майеру, пытаясь ограничить тематику разговоров с ним только происходившим на лекциях по медицине. Но это мне не удалось. Эрнст повел себя со мной весьма свободно, что было достаточно смело с его стороны — ведь я мог неправильно понять это, если бы придавал большое значение условностям. Когда я вошел в анатомический театр, он

встретил меня возгласом: «О, первый студент из Германии, которого я вижу!». Ему показалось, что этого вполне достаточно, чтобы познакомиться и сблизиться со мной. Меня тронула его нескрываемая симпатия ко мне и понимание тех путей, которыми я шел. Мне еще не доводилось встречать человека, который бы так глубоко понимал меня, одобрял и принимал все мое существо и все мои возможности. Моя сдержанность растаяла, так что я не ощутил никакого перелома и не впал в сентиментальность. Я с удивлением и счастьем откликнулся на его симпатию.

Он никоим образом не относился ко мне восторженно — скорее, резко критиковал. Так, однажды он следующим образом высказался по поводу моей тогдашней манеры быстро выносить суждения, легко отбрасывать то и это, утверждать, ничего не обосновывая: «Как вы можете так запросто относиться с презрением к чему-то, если видите, как оно для меня важно?».

Такую отповедь он дал мне, когда я разнес в пух и прах книгу Риккерта, которую он как раз изучал в то время, — разнес, не обратив внимания на то, чем именно она его заинтересовала. Мы могли бурно полемизировать с ним, но вот что странно: я при этом не чувствовал нападок на себя. Наоборот, казалось, он заставляет меня вспомнить о моей собственной сущности.

В конце лета 1907 года мы расстались. Правда, благодаря ему я еще успел познакомиться 14 июля с его сестрой, моей будущей супругой. Эрнст продолжил свою учебу в другом университете. Больше мы никогда не жили в одном городе. Виделись, навещая друг друга, часто проводили вместе дни, порой — недели, и всегда сохранялось то взаимопонимание, которое ничем нельзя было поколебать, даже если порой и выявлялись значительные различия в понимании важнейших вопросов. Мы, без сомнения, были способны спокойно перенести такое.

Разговоры наши, начинаясь с обсуждения каких-то конкретных тем, могли надолго — на несколько дней — перейти в интеллектуальную дискуссию, в которой он упорно отстаивал свою позицию, желая добиться моего понимания. Никогда еще в дружбе с мужчиной я не чувствовал такой заботы о себе. Он все время беспокоился, как бы я не оказался во власти заблуждения, как бы я не допустил ошибочного высказывания, как бы не проглядел проявлений истинно человечного.

Чудесны были и другие беседы — те, которые начинались, когда понимание между нами уже было достигнуто. В этих беседах часто случались паузы, а после них вдруг высказывались поразительно ясные суждения. Многие из таких высказываний Эрнста Майера перекочевали в мою «Философию»: «Я не сам себя создал», «А если мне будет недоставать самого себя?»

В 1910 году Эрнст поселился в Берлине, где занялся врачебной практикой, и оставался там вплоть до 1938 года, когда ему пришлось бежать. Врачом он был весьма необычным. Попытаюсь описать, каким.

Эрнсту выпала нелегкая жизнь. Его наследственность была отягощена психически, а потому он с молодых лет страдал депрессиями. Но сила духа позволяла ему противостоять болезни, и она отступала. Мне казалось, что именно этот глубокий душевный недуг развил в нем удивительную человечность. Его окружала какая-то аура разума, но было в этом разуме нечто большее, чем просто разум — не враждебное, не демоническое по сути своей, а какое-то бесконечно светлое и проясняющее его становление во всей подлинности.

В социальном отношении у него нигде не было твердой опоры. Скорее, его отовсюду вытесняли — открыто или втихомолку. И в распадающемся, полном насилия обществе он сделался просто Человеком, Человеком — как он есть. Строгие правила этикета, необходимость держать дистанцию, чтобы не уронить собственного достоинства, подобающая мужчине гордость — все это для него были только роли, которые он играл там, где представлялось необходимым, но решающего значения они для него не имели. Он мог тут же уступить, совершенно обезоруживая своей человечностью, и этим пробудить человечность в других. Как ни велика в нем была жизненная сила, она никак не становилась для него оправданием грубости, стремления расталкивать локтями других, лишь бы захватить место под солнцем.

Невозможно описать, как разом исчезали все его душевные метания и треволнения, когда он обретал какой-то высший покой. Такое случалось, когда он сознавал, что находится на верном пути, и когда он помогал больным. Подобное отношение к людям предопределило его выбор профессии. Он просто не мог не вмешаться там, где видел боль и страдания, даже если его и не просили о помощи. Он принимал столь живое участие в ком-либо, будто речь шла о его собственной судьбе. Он постигал разумом и добротой всю жизнь больного. Если в обычных ситуациях он встречал сопротивление больного, то ограничивался рутинной врачебной помощью. Но если человек изливал ему свою душу, он помогал ему не только как врач — он делал для него много больше. Он никогда не разыгрывал из себя спасителя. Он не собирался творить чудеса. Он старался пробудить силы самого больного. Больной чувствовал, что от него требуется опереться на собственный разум. Помогать Эрнст хотел при всех обстоятельствах. Он не желал признавать, что бывают такие

ситуации, в которых бессмысленно что-то делать, потому что не осталось никаких шансов. Облегчать страдания, оказывать помощь и не открывать больному тайны — до самого конца! Ни один больной не должен чувствовать себя покинутым. Он часто цитировал слова: «И у врат могилы он взращивал древо надежды!».

Такой человек не для всех мог быть подходящим врачом и не для каждого — другом. Подчас он бывал очень неудобным. Поэтому мнения тех, кого сводила с ним жизнь, разделились.

Одни принимали его всей душой и становились его самыми верными пациентами. Другие не выносили его, им претила строгость его требований и неумолимая трезвость, с которой он взирал на мир. Если ему самому доводилось видеть ужас человеческой измены, он с тяжелым сердцем повторял слова Стриндберга: «Жаль людей». Врач и философ в нем были неразделимы. Врачевание и стало его конкретной философией.

На мое философствование Эрнст оказал большое влияние — как всей своей жизнью, так и тем, что он говорил. В работе над моей трехтомной «Философией» он, однако, принял непосредственное участие. Без него это произведение не стало бы таким, каково оно есть. Со свойственной ему скромностью» Эрнст в 1927 году попросил меня, если это возможно, прислать ему черновики моей книги, которые мне уже не нужны, вместо того чтобы выбрасывать их в корзину для мусора. Я в ответ послал ему машинописные копии первых моих записей, представлявших собой уже нечто связное. Началась наша совместная работа: обмен вопросами и ответами, предложениями и мнениями, по большей части в письмах, а при каждой встрече — и устно. Он был просто неповторим в своей полной самоотверженности, когда занимался моими делами совершенно как своими собственными. Он не только прочел все мои рукописи, но и снабдил их критическими замечаниями. Он повлиял на композицию глав, на содержательные моменты и на стиль книги. Мало сказать, что участие и поддержка Эрнста давали мне мощный импульс для работы; он оказал мне и совершенно конкретную помощь — помог обогатить и улучшить текст во многих местах. Если, по его мнению, мне что-то удавалось, он радовался, а когда полагал, что у меня что-то не получилось, терзался больше, чем я. Он считал, что я чересчур беззаботен, и бранил за легкомыслие, высказывая замечания и серьезно, и в шутливой форме, когда дело касалось мелочей «Если костюм сшит великолепно, но у него отсутствует одна пуговица — пиши пропало». Некоторые субботы и воскресенья он проводил в небольшом замке неподалеку от Берлина, чтобы в полном уединении, отрешившись от работы, без

помех углубиться в чтение написанного мной. Часто в перерывах между приемами больных он заходил в кафе «Жости» на Потсдамерплац, чтобы, сидя там, вникнуть в особенно трудные места моей рукописи. В саквояже с врачебными инструментами он всегда возил мои наброски, чтобы читать их в дороге. Вплоть до последнего дня перед отправкой рукописи в типографию он звонил из Берлина в Гейдельберг, чтобы устранить в ней какие-то недочеты.

При таком сотрудничестве в конце концов уже было невозможно разделить, что исходило от него, а что — от меня. Это было сотрудничество в создании книги, а не улучшение уже готовой рукописи.

Такое уже не повторилось. Мы попытались еще раз, когда я писал книгу о Ницше. Эрнст и здесь высказал множество критических замечаний, но достичь такого же чудесного прояснения содержания работы еще раз не удалось.

Тогда мой друг виделся мне таким. Занимаясь врачебной практикой, он не имел времени, чтобы штудировать большие произведения, да у него и не было такого желания. Поэтому читал он немного. Однако какой-нибудь глубокий тезис вызывал у него собственные философские размышления, и то, что он схватывал, выделяя — в философии, в науке, в поэзии, в музыке, в искусстве, даже в политике, — оказывалось самым главным, словно он обладал даром, видя все в целом, проникать взглядом вглубь, вплоть до самых предельных оснований. Другие его друзья, так же как и я, бывали потрясены, наблюдая, как он мгновенно выхватывал наиболее существенное при самой скудной информации. Но сам он не писал. Правда, в двадцатые годы он опубликовал две содержательные статьи о социальном положении врачей, что было тогда актуально. Статьи носили отпечаток его личности. Однако решился написать он только тогда, когда это отказался сделать я, а ситуация, тем не менее, того требовала. Со свойственной ему скромностью он полагал, что у друга получится лучше, а потом на деле доказал противоположное. Но в целом он отказался от писательской стези и считал тогда такой отказ совершенно естественным: при чрезвычайной одаренности интуицией у него недоставало усидчивости; при выдающейся способности суждения ему не хватало работоспособности; при легкости суждений, основанной на умении моментально схватывать суть целого, соль ситуации, главное в человеке, он не обладал способностью выстраивать последовательные рассуждения и опираться на них.

Все изменилось, когда гитлеровская Германия лишила его врачебной практики и заставила бежать. Он оказался в ужасном

положении эмигранта. В Голландии его вначале поместили в лагерь за нелегальный переход границы. Лагерь находился в монастыре, и Эрнсту, по его просьбе, часто предоставляли монашескую келью, чтобы он мог там без помех заниматься изучением философии. По ходатайству высокопоставленных лиц он был освобожден, но недолго вел вольную жизнь — предательское вторжение в Голландию поставило под угрозу его жизнь и жизнь членов его семьи. Три года их прятала самоотверженная голландка Мария фон Бовен и опекала небольшая группа Сопротивления, состоящая из голландских студентов. Там, в изоляции от мира, ежедневно подвергаясь смертельной опасности, Эрнст — только потому, что был истым философом, — смог подняться над страхом, над всем ужасом ситуации и заняться реальной спокойной работой. Его мудрая уравновешенность определяла весь распорядок жизни дома, побуждала к осторожности всех его обитателей. Только потому все закончилось счастливо.

Именно в то время, когда напряженная настороженность, направленная вовне, сочеталась с полным внутренним покоем, его философствование обрело свой собственный язык. Закончив работу по дому, которую он определил делать себе, Эрнст на протяжении долгих часов сидел на своем наблюдательном посту у окна, за занавеской, держа на коленях свою рукопись, которая с каждым годом прибавляла в объеме — до того дня, когда мы обрели свободу и возможность встретиться вновь.

С 1939 по 1945 год мы не виделись, с 1941 — не могли переписываться. Но, не получая друг от друга вестей, мы продолжали развивать ту философию, которая была обретена нами, по существу, в совместных усилиях, и когда встретились вновь, то привезли с собой рукописи наших книг: Эрнст — «Диалектику незнания» (вышла в Издательстве литературы по проблемам права и общества, Базель), я — «Об истине» (вышла в Издательстве Р. Пипера и К°, Мюнхен).

Уже после смерти Эрнста ко мне в руки попал его доклад, опубликованный в юбилейном сборнике, изданном к моему 70-летию Клаусом Пипером. Доклад был посвящен связи моей книги «Об истине» с моей «Философией». Он очень многое объяснил мне самому. Доклад был написан просто, но поднимал труднейшие фундаментальные проблемы, и я еще раз с сердечной скорбью подумал: насколько же неповторимо Эрнст мог думать вместе со мной и продолжать мои мысли.

Он оставил фундаментальную работу — «Критика нигилизма» — надеюсь, она скоро выйдет в свет.

Вспоминая о времени с 1928 по 1931 год, о нашем с Эрнстом

сотрудничестве, я желал бы сказать: мои работы в той же мере были его работами, в какой его работы — моими, и сказал бы, если бы не побоялся все же некоторого преувеличения.

7. Университет

Дважды, сразу после Первой мировой войны и сразу после Второй, я публиковал работу «Идея университета», намереваясь сделать эту идею более осознанной для самого себя, для студентов и для преподавателей. В 1946 году это произведение появилось под прежним названием; хотя общий настрой и смысл остались прежними, оно было переписано заново: на передний план я выдвинул требование воссоздания немецкого университета. Правда, оба раза мое слово не возымело действия, однако я рад, что сказал его — в духе наших великих традиций и в неистребимой надежде на возрождение идеи. Расскажу о том опыте и умонастроениях, которые заставили меня написать обе работы.

Со времени своего студенчества я ощущал свою принадлежность и причастность к университету. На выдающихся наставников взирал с почтением, уважая их всех — даже тех, кого не принимал, — за один только их статус. Само здание, аудитории и залы, различные традиции — все это вызывало у меня священный трепет души.

Я еще не понимал ясно, что, собственно, придает всему этому такой ореол. Но само настроение, возникающее, когда ты работаешь в этом мире, общение с теми, кто олицетворяет этот авторитет, воспоминания о череде поколений, оставивших здесь свой след, — все это вместе создавало не только впечатление незыблемости устоев, но и ощущение величия задач, стоящих перед людьми духа, на которых должна держаться вся жизнь общества.

Затем начались разочарования. Большинство студентов никак не соответствовало идее университета. Сообщества буршей и корпорантов — в их нынешнем виде — означали для меня жизнь, лишенную духовности и личностного начала: пивные, дуэли на шпагах, затверженные до автоматизма стереотипы поведения; жизнь, которая, благодаря связям со «стариками», гарантировала в будущем процветание и карьеру, если только ты соответствовал усредненным нормам — был прилежен в работе, послушен и привержен национализму. Среди студентов — исключая немногих — я чувствовал себя чужаком. Но тем не менее пользовался их расположением, а порой они с удивлением и уважением относились к моему образу жизни, сутью которого была деловая заинтересованность. Ведь я без лишнего шума двигался своим путем, не навязывая его никому.

Однако проблемы студенческих союзов и объединений

волновали меня — ведь они задавали тон в университете и пользовались наивысшим уважением. Это, в сущности, был вопрос свободы студенческой жизни и учебы. Она требовала независимости в выборе стези. Мне казалось, что этому-то и угрожало принудительное объединение в корпорации, заставлявшее тратить время и силы на никчемные затеи; самосознание же становилось чем-то производным от принадлежности к корпорации, о которой свидетельствовала пестрая ленточка. Вместо того, чтобы жить, руководствуясь смелыми решениями собственного ума и чувствуя собственную ответственность за выбор пути, было принято передавать право определения жизненных целей избранному обществу, пассивно следуя тому представлению о счастье молодежи, которое имели «старики». Вместо того, чтобы думать самостоятельно, предпочитали держаться общепринятых взглядов, причем цеплялись за них тем сильнее, чем большую внутреннюю неуверенность испытывали сами. То, что такие студенты не имели никаких связей с духовными течениями современности, подтверждало, на мой взгляд, что они вовсе не были настоящими студентами. Наблюдения моей юности и более поздний опыт научили меня видеть в этих корпорациях злой рок немецких университетов. В них совершенно ничего не осталось от того духа, который некогда, после освободительных войн, привел к основанию корпорации буршей. В них уже не происходило подлинного воспитания, а просто осуществлялось воспроизводство определенного типа людей, и сам этот тип был мне ненавистен.

Другой угрозой свободе учения было возникновение единых порядков обучения и контроля. В XIX веке немецкий студент учился действительно свободно. Если он не занимался достаточно, он проваливался на экзамене. Еще совсем молодым я прочувствовал жестокость ситуации, когда юристы, не сдавшие экзамена, вынуждены были выбирать иное поприще. Теперь же на медицинских факультетах были введены такие порядки, которые в конечном счете гарантировали сдачу экзаменов, хотя и с «хвостом», то есть переэкзаменовкой по тому или иному из предметов. Проблемы, возникшие в связи с этим, порой живо обсуждались. В Геттингене я жил в пансионе, который содержала одна достойная старая дама, заботившаяся о небольшой группе рекомендованных студентов и создававшая вокруг них воспитанное на университетских традициях окружение. Я был самым младшим из них. Однажды, когда я рассуждал об учебе и студенческой жизни, полной их свободе как условии для духовного развития вообще, мне возразил один старый медик:

«Все это, конечно, прекрасно. Но вы заблуждаетесь. Так дело не пойдет. Средним студентом надо руководить». До сих пор помню, как я был возмущен тогда. Я ответил ему, что требую не чего-то сверхъестественного, а всего лишь того, что по силам каждому человеку. Дело не в одаренности — средних способностей вполне достаточно, — а в стремлении к действительным знаниям и, стало быть, в умении принимать смелые решения и внимательно прислушиваться к тем своим запросам, которые возникают в ходе учебы. Университеты — это не школы, а высшие школы. Сказал же Куно Фишер в Гейдельберге: высшая школа — это не гимназия. И если университет — не для всякого, продолжал я, то все же каждый, кто выбирает университет, вправе знать, от чего ему придется при этом отказываться. Но студент, который учится только для того, чтобы сдать экзамены и добиться положения в обществе, то есть который не приобретает подлинных знаний, а вызубривает необходимый для экзамена материал, — такой студент к университету никакого отношения не имеет. «Тогда выходит, — сказал мой собеседник, — что большинство студентов не имеет к университету никакого отношения». — «Скверно, коли дело обстоит действительно так, как вы говорите, — отвечал я. — Это означало бы конец университета».

Другим моим разочарованием были университетские преподаватели. Лишь единицы из них соответствовали настоящему уровню высшей школы и поддерживали этот уровень. Я видел, что иногда известные ученые мужи обладали немалыми заслугами и огромной работоспособностью, имели обширные познания и богатые умения для того, чтобы дать студентам ориентацию в преподаваемых ими предметах, — и все же при этом стояли в стороне от идеи университета и его духовности. Все, скорее, напоминало промышленное предприятие или присутственное место, чем университет, да к тому же дело усугублялось интригами и пропагандой. Необычайное прилежание этих людей, казалось, проистекало от того, что у них не было жизненной почвы под ногами и они были просто выбиты из колеи. Они более всего притязали на значительность. Толпы учеников превозносили таких наставников и сами приобретали таким образом вес. Что эти люди представляли собой, я понял позднее, в особенности — в 1918–1919 годах, в тех жизненных ситуациях, когда решались человеческие судьбы. Они представляли собой то, что в доме моих родителей именовалось, по названию большой немецкой партии, «национал — либералами», то есть были людьми, лишенными решимости и гражданского мужества.

С детства, когда университет был знаком мне только по

рассказам и я лишь предчувствовал встречу с ним, он представлялся мне хранилищем истины. Позднее мне стало ясно, что идея университета — это наднациональная европейская идея. Одно из наивысших разочарований 1914 года было вызвано тем, что университеты — как англосаксонские, так и немецкие — приняли одну из сторон в войне, а не остались над схваткой. Это показалось мне предательством вечной идеи университета. Университет был для меня той инстанцией, которая сможет сохранить истину в противовес государственным реалиям. Однако то, что можно было заметить еще до 1914 года, лишь приобрело завершенный вид: повсюду в мире послушно следовали требованиям этих государственных реалий, конформистски их принимая и оправдывая. Принцип «кто платит, тот и заказывает музыку» стал ужасной действительностью. Университет утратил свой ответственный статус надгосударственной и наднациональной европейской инстанции.

Я постиг это с еще большей отчетливостью, столкнувшись с необходимостью сделать собственный выбор в 1919 году. Тогда я, приват — доцент, благодаря революционно задуманным преобразованиям университетской структуры, был избран членом сената университета. Однажды обсуждался такой вопрос: ректор Берлинского университета призвал все немецкие университеты присоединиться к заявлению протеста против условий будущего Версальского мирного договора — они только — только стали известны. Когда очередь выступать дошла до меня, я сказал следующее: «Я советовал бы не подписывать этот протест. Мы все едины во мнении, что условия эти бедственны и несправедливы. Здесь не о чем спорить. Совершенно ясно, как должен поступить каждый из нас как гражданин германского государства. Но чем отчетливее мы, как граждане германского государства, понимаем отчаянность ситуации, тем больше мы должны сохранить и оберегать до конца ту сферу, смысл которой превыше всех государств и народов. Мы заседаем здесь как представители университета. Он, конечно, существует на деньги государства, собранные в виде налогов, точно так же, как и церковь. Но точно так же, как и у церкви, задачи университета — наднациональны. Только такими задачами мы, сенат университета, и должны здесь заниматься. Мы в первую голову европейский, а не германский университет. Происхождением своим мы обязаны всему европейскому средневековью, а не отдельным государствам с их территориальным делением, которые лишь получили университеты в наследство. Мы должны сохранять чистоту своих задач и не вторгаться в те вопросы, решение которых не в нашей компетенции. Если мы все же поступим так, на реализацию нашей

идеи ляжет пятно. Именно в такой момент и необходимо более, чем когда бы то ни было, сохранять университет как наднациональную инстанцию человеческого сообщества. Впрочем, — продолжал я, — протест этот, не подкрепленный реальным делом, — настолько же пустая затея, насколько авторитет университета не согласуется с заявлениями такого рода. Ведь они совершенно не соответствуют тому авторитету, который снискал университет в мире».

Это выступление молодого приват — доцента вызвало холодный прием. Некоторые взяли слово после меня. Граденвитц, юрист, еврей и антисемит, выступил, совершенно игнорируя меня и все мной сказанное, в том смысле, что какой-то приват — доцент не вправе здесь высказываться вообще. Дубелиус, известный теолог, критически разобрал мое выступление, отверг сравнение с церковью и заключил: на университете не будет никакого пятна, если мы поддержим этот протест. Единогласно, при одном воздержавшемся, мое предложение было отвергнуто. Воздержался Эрнст, патолог, швейцарец. По дороге домой он тепло сказал мне: «Вы были правы. Я только потому воздержался, что я гражданин Швейцарии и не имею права участвовать в обсуждении такого рода вопросов». Я ответил, что данный вопрос касается не швейцарцев, не немцев, не граждан государств Антанты — он касается только общеевропейской идеи университета. На это Эрнст заметил: «Наверно, так должно быть. Но в действительности, конечно, все обстоит, к сожалению, иначе».

То, что духовной свободе университета уже грозит серьезнейшая опасность, я понял еще в 1924 году, благодаря событию, которое держало университет в возбуждении несколько лет. Приват — доцент, преподававший статистику, Гумбель, научные работы которого снискали признание, выступил в роли страстного политического публициста. Его брошюры в кроваво — красных обложках разоблачали попытки тайно создавать рейхсвер — он как в воду глядел, предвидя последствия. В брошюрах он выступал против происходившего тогда возрождения вооруженных сил Германии, а в публичных речах отстаивал пацифистские идеи. Однажды Гумбель употребил такое выражение: «…Эти воины, которые — я не хочу сказать — пали за бесчестное и бесславное дело, но погибли ужасной смертью». Уже давно пробудившийся гнев националистически настроенных профессоров разом обрушился на эту фразу: Гумбель-де посягнул на честь и славу павших немецких воинов, и стерпеть этого нельзя; он — позор для университета, его надо лишить права преподавать! Были приняты дисциплинарные меры с целью

отстранить его от преподавания. Я был членом комиссии по расследованию данного дела, состоявшей из трех человек: один был юристом, другой представлял непрофессорские круги философского факультета, я же был представителем профессуры. Решение по делу должен был вынести факультет на основе заключения нашей комиссии, а для вступления его в силу требовалось утверждение этого решения министерством.

С первого же момента мне стало ясно: речь идет о свободе преподавания и учебы. Ведь она будет в корне уничтожена, если кто-то получит право контролировать убеждения преподавателей. Я с давних пор изучал историю нашего университета и знал университетскую конституцию 1803 года, составленную в духе наших классических времен. Тогда еще понимали, что такое университет и какие опасности ему угрожают. Там был пункт, уже опущенный в новых конституциях XIX века: права преподавания можно лишить только из-за деяний, которые признавал преступлением суд в соответствии с уголовным кодексом. Это означало, что нельзя было лишить права преподавания ни за мировоззрение, ни за допущенную бестактность, ни даже за политические убеждения.

На эти реальные предпосылки нашей свободы я тотчас же указал комиссии. Если сегодня можно будет уволить преподавателя за политические, пацифистские убеждения, за то, что он разоблачил нарушение государственного договора (пусть даже это нарушение было направлено против версальского диктата), уволить под тем предлогом, что он посягнул на честь павших воинов, то завтра можно будет уволить кого-то за атеизм, а послезавтра — за несогласие с господствующим в государстве режимом. Однако старый пункт в университетской конституции уже утратил свою силу.

Обвинение звучало так: слова Гумбеля оскорбили честь немецкого народа, а в особенности — участников войны. При этом обвинители кичились своим демократизмом. Не принимая этого тезиса, я не стал оспаривать его, но выдвинул требование, чтобы факт оскорбления был подтвержден свидетельскими показаниями. Я сказал, что те, кто слушал речь Гумбеля, — все без исключения были участниками войны, — могут стать законными свидетелями. В результате мы опросили множество людей. На удивление, выяснилось, что почти никто из них вовсе не почувствовал себя оскорбленным — напротив, почти все были согласны с Гумбелем.

Результатом расследования стало написанное всеми тремя членами комиссии заключение, в котором вносилось предложение — не лишать Гумбеля права преподавания. Но еще

до того, как это заключение попало на факультет, о нем стало известно в профессорских кругах. Поднялась целая буря негодования, к члену комиссии — юристу — рано утром (еще не было и восьми) явился один из теологов, чтобы сообщить об этом и добавить несколько собственных энергичных выражений.

Члены комиссии стали просить меня согласиться на то, чтобы наши подписи под заключением были аннулированы и чтобы было написано новое. Я заявил, что аннулировать свою подпись не соглашусь. Однако старое заключение можно послать на факультет как мое, а им двоим составить свое, отдельное. Так и было сделано.

В итоге четырехчасового заседания факультет единогласно отверг мое предложение — Гумбель был лишен права преподавать. Это решение подлежало утверждению министерством. В соответствии со сложившимися традициями факультет предложил мне послать свое отдельное заключение и выражение несогласия с решением факультета в правительство. Я отказался это сделать. Я сказал, что правительство социалистов, которое нам всем известно по его заявлениям и действиям, и без того отменит решение факультета, но — по политическим причинам, потому что Гумбель идейно близок социалистам, а отнюдь не потому, что проявит заботу о свободе преподавания и учебы в университете. Для меня же суть дела заключается не в Гумбеле, а именно в этой свободе. И если весь факультет не видит, что сам создает угрозу для этой свободы, то отмена его решения правительством дела не спасет.

Вернувшись с этого заседания домой, я сказал жене, не удержавшись от слез, в отчаянии: «Со свободой университета покончено. Никто больше не знает, что это такое. Я отказываюсь бороться и занимаюсь отныне только философией». Она ответила обеспокоенно и требовательно: «Как так? Ведь не сможешь же ты жить с подрезанными крыльями!».

Не стану подробно рассказывать, что произошло в последующие годы. Гумбель остался доцентом, продолжал допускать провокационные высказывания. Уже на следующий год факультет опять решал тот же вопрос. Благодаря запутанной ситуации и блестящей речи декана Людвига Куртиуса о свободе преподавания и учебы факультет принял на этот раз противоположное решение — оставить Гумбеля в должности. Но на факультете отнюдь не поблагодарили декана за то, что он подвел к верному решению. Некоторые коллеги почувствовали себя одураченными. Происходило какое-то странное брожение умов. И еще раз, спустя несколько лет, создавалась дисциплинарная комиссия, но я в ней уже не принимал участия.

Тогда в университетской среде стали проявляться те мотивы и то нежелание мыслить, которые — незаметно и против чьей-либо воли — привели вскоре к власти национал — социализм, а уж он, разом прекратив все мелкие стычки, одним ударом ликвидировал университет как реальное проявление свободного духа.

Идея университета жива главным образом в студентах и в профессорах, и лишь во вторую очередь — в каких-то институциональных формах. Если жизнь ее затухает, то никакие институциональные формы не спасут. Пробуждается же она к жизни только в результате личного общения, от человека — к человеку, а также благодаря новым произведениям, которые отвечают ситуации и подвигают к самосознанию и к лучшим поступкам. Студент ищет идею, готов ее воспринять и бывает поистине растерян, когда не обретает ее в общении с профессорами. Тогда он вынужден реализовать ее сам.

Мои представления о роли профессора философии в университете были для меня оправданием собственной жизни и основой для нее. До тех пор, пока существует свобода западного университета, реализация этих представлений зависит только и единственно от того человека, который захвачен ими и занят их воплощением в жизнь. Он, будучи профессором философии, полновластный хозяин в своей учебной аудитории. Он может строить преподавание так, как хочет.

Он должен оправдывать ожидания и надежды молодежи, которая по природе своей обладает еще большим чутьем на истину, чем люди старших поколений. Перед ним стоит задача — показать великих философов и не дать их спутать с философами мелкими. Тогда вечные основополагающие идеи предстанут соединенными с их высоким обликом. Он должен пробудить открытость для всего того, что можно познать, пробудить понимание смысла наук и действительности жизни. Все это он должен охватить и постичь благодаря основополагающим операциям мышления, которые окрыляют нас. Он должен жить, проникнувшись идеей университета, и, тем самым, чувствовать ответственность за свою деятельность, которая обязана быть плодоносной, созидательной, результативной. Он не должен утаивать самые крайние пределы, но должен научить знанию меры.

То, чем я сам обязан европейской идее университета и ее реализации в Германии, пусть даже и столь омраченной — необычайно. В нашу эпоху это просто фантастично: полная свобода, скромная жизнь, в которой я довольствуюсь одной — единственной профессией — думать; покой, необходимый для этого.

Отрицательные моменты постановки дела в университете велики, но с ними можно справляться: это — разбросанность, это — внутренняя опустошенность, возникающая в моменты, когда учебный процесс занимает все время без остатка, это — пустая суета, кипучее безделье. Свобода профессора, которого не позволено контролировать, может, разумеется, и развратить кого-то, дав ему возможность сделаться лентяем; но она есть также свобода для кажущегося ничегонеделания, во время которого вершится никому не ведомое. Именно здесь — источник всего самого существенного, и тот, кто не желает допускать свободы по причине возможного развращения отдельных преподавателей, неизбежно истребляет вместе с ней и творческую продуктивность, а тем самым и университетский дух.

8. Политическое мышление

Когда человек недостаточно реализует себя в мире, его соприкосновение с такой самореализацией других, пусть даже и самое легкое, может дать материал для занятий философией. Философствование парадоксальным образом обретает пищу и страсть из того, что у тебя не получилось. Я особенно сильно ощущал это в сфере политики. Было бы чересчур выспренне заявлять, что я предпочел здесь реальным действиям размышления; но что-то в этом роде, хотя и в более скромных масштабах, во мне происходило.

Разговоры о политике я слышал с детства. Дед, отец, два брата моей матери были депутатами ландтага в Ольденбурге, все — «свободомыслящие», демократы и консерваторы одновременно. Мой отец на протяжении десятилетий был председателем городского совета Ольденбурга. Тогда постоянно шли разговоры о задачах управления, школах, стройках, улицах, каналах, дорогах и тому подобном. Помню возмущение по поводу того, что министр плохо справился со своими обязанностями, ему поставили на вид его ошибки, а великий герцог не уволил этого министра в отставку. Но такое бывало в исключительных случаях. Почти всегда удавалось найти разумное решение за круглым столом и достичь цели. Мой отец делал это с удовольствием. Однажды его, как уважаемую в городе и во всей округе личность, собирались избрать в рейхстаг сразу от нескольких партий, которые обычно не могли найти общего языка. Он отказался, заявив, что принесет больше пользы в Ольденбурге, чем если будет шататься по Берлину и участвовать в бесплодной говорильне: его не манил рейхстаг, который был лишь видимостью власти, декорацией. Мой отец был недоволен проникновением в Ольденбург прусского умонастроения, прусских манер (того тона, который свойствен мелким чиновникам и лейтенантам прусской армии). Это началось с 1866 года, а после 1870 достигло необычайных масштабов. Однако он испытывал симпатию к старому великому герцогу как к достойному, образованному, порядочному человеку, хотя и был к нему в оппозиции. В новой Германской Империи он почувствовал себя не лучшим образом. Однажды в 90–е годы, во время прогулки по дамбе реки Везер около Браке, он сказал мне, мальчику: «Жаль, что Голландия не простирается до Везера» (то есть жаль, что Ольденбург находится не в Голландии). Что касается армии, то отец мой прилежно исполнял обязанности офицера запаса, хотя внутренне тяготился ими. Когда он на сорок

пятом году жизни во время «дружеской трапезы» услыхал от командира полка, что представлен к присвоению капитанского звания (немыслимая честь для офицеров запаса в те времена), то заметил, что из этого едва ли что выйдет. Потребовавшему объяснений командиру он сказал, что не станет служить ни днем больше, чем это положено по закону. Он признался, что стал очень тяжело переносить армейские порядки и все военное, и у него появилось чувство, заставляющее смотреть на любого начальника как на личного врага.

Столь чужда была политика моему отцу, и отчуждение это становилось все большим. Маленький, укромный мирок Ольденбурга, управляемого разумно — как хороший садовник заботится о саде, — был мил ему, пока дело шло на лад. Но он видел все большее разрушение этого порядка, воспрепятствовать чему было не в его силах, и отправлялся на охоту, рисовал акварели, погружался в исполнение своих профессиональных обязанностей. Когда к его 80–летию (в 1930 году) руководители города предложили назвать его именем улицу, он отклонил это предложение, отправив дружеское письмо с изъявлением благодарности (он был рад, что спросили его мнение, прежде чем такое предложение было обнародовано), а дома сказал семье: «Все же я не могу позволить назвать своим именем улицу таким правительствам, которые, что ни день, то меняются, которые не признают никаких традиций и которые несколько лет спустя эту улицу переименуют снова».

Совершенно иным был самый младший брат моей матери, Теодор Танцен. Он был лишь на шесть лет старше меня и вырос в доме моих родителей, поскольку учился в ольденбургской школе. Уже в 18 лет он начал подвизаться в роли публичного оратора в Свободомыслящей партии Ойгена Рихтера. Он обладал неплохими ораторскими способностями, отличался практичностью и старательностью, умением принимать волевые решения. В 1919 году он стал премьер — министром земли Ольденбург и был им до 1924 года, а в 1945 году снова занял этот пост, будучи назначен англичанами. Во времена национал — социализма он регулярно посещал нас в Гейдельберге, чтобы обсудить ситуацию. Его неоднократно арестовывало гестапо, в последний раз — после событий 20 июля 1944 года. Благодаря своей ловкости и друзьям, которые заключили пакт с национал — социализмом, благодаря своей удаче он всякий раз оказывался снова на свободе. Он умер в то время, когда земля Ольденбург была присоединена оккупационными властями к Нижней Саксонии и резиденцию правительства перенесли в Ганновер.

Я сам принимал участие во всех этих делах только в качестве

свидетеля, хотя в семейном кругу порой живо включался в дискуссии. До 1914 года я был совершенно аполитичен. Все вокруг казалось незыблемым. Небезразлично было только значительно более далекое будущее, до которого мы не чаяли дожить. Тогда я размышлял скорее поэтически, чем политически: как же нам избавиться от этих достойных осмеяния князей (молодой великий герцог был объектом презрения), как избавиться от кайзера с его бесконечными помпезными речами и провокационными поступками! Кайзер, правительства, политические ситуации при первом удобном случае подвергались насмешкам; самым подходящим журналом для их освещения был сатирический «Симплициссимус». Меня занимали единственно духовные задачи. Для того, чтобы обращаться к ним, существовала свобода, которую мы считали чем-то самим собой разумеющимся. Все остальное нам приходилось терпеть, но нельзя сказать, чтобы оно нас очень уж угнетало.

Однако с началом войны в 1914 году (мне был 31 год) все изменилось. Земля под ногами заходила ходуном. Все, что казалось прочным, гарантированным надолго, разом оказалось под угрозой. Мы почувствовали себя вовлеченными в какой-то неудержимый и непонятный нам процесс. Только с этого момента люди нашего поколения ощутили себя брошенными в поток катастрофических событий, с 1914 года уже не прекращавшихся, а продолжавшихся со все более неистовой скоростью, и эту нашу судьбу, судьбу человечества, я пытался в дальнейшем понять — не как некую доступную для научного познания необходимость какого- то туманного процесса истории, довлеющего над нами, а как некую ситуацию, результаты которой на основе того, что действительно доступно постижению — всегда глубоко личного, — определяются в самом главном и решающем нашей человеческой свободой.

Все то, что я думал о политике с начала войны в 1914 году, определилось влиянием Макса Вебера. Национальная идея была до этого чужда мне. Благодаря Максу Веберу я научился национальному мышлению и воспринял его близко к сердцу. Ситуация в мировой истории, как он говорил, ставит народ великой державы перед лицом ответственности, от которой он не вправе уклониться. Не какое-то маленькое государство — к примеру, швейцарское, существование которого имеет другой смысл, тоже в высшей степени желательный (наибольшая свобода индивида в малом государстве), но которое лишено ответственности, ибо лишено силы, — а именно мы в ответе перед грядущим человечеством за то, что будет или не будет. Мир поделен между русским кнутом и англосаксонским

конвенциализмом. Наша задача и наш шанс состоят в том, чтобы спасти то третье, что существует между тем и другим — дух либерализма, свободы и разнообразия жизни личностей, величие западной традиции. Такова была позиция Макса Вебера, и я присоединился к ней.

Для реализации этого требовалась большая политика, то есть политика дальновидная, требующая самоограничения и надежных действий, политика, ориентированная на все человечество в целом, заставляющая действовать, мыслить и говорить так, чтобы вызвать к себе доверие мира.

Поэтому Макс Вебер выступал против политических реалий империи Вильгельма, против неясности политического мышления, против напускания тумана — создания видимости конституционных порядков, против внешнеполитического бахвальства кайзера, против произвольных хаотичных вмешательств в политику. Накануне 1914 года он безмерно страдал, переживая политические коллизии, потому что болезнь лишила его возможности предпринять какие-то действия, даже преподавать. Он видел: мы утрачиваем доверие всего мира. Политическая глупость, а не стремление воевать — вот что проявлял кайзер и его ставленники, и это вело к войне, которая грозила стать ужасным роком для Европы. Когда в 1913 году моя жена ехала на поезде в одном куце с Максом Вебером, он читал газету, пребывая в крайнем волнении, и почти закричал: «Этот истерик еще доведет нас до войны!».

Начиная с 1917 года Макс Вебер, постепенно излечиваясь от своего недуга, стал писать работы по проблемам политики. Он хотел надеяться, что немцы еще создадут себя как народ, идя по пути к подлинной демократии, отвергая невыносимый тип человека, воплощенный в Людендорфе, который намеревался попирать своим сапогом всю Европу. Он выступал против своекорыстия крупных аграриев, против обывательской политической узколобости социал — демократов, профсоюзов и рабочих вождей, которые не чувствуют дыхания большой политики и не понимают сути происходящего, а находятся в плену иллюзий и желают реализовать свои разрушительные планы. Но на кого, на какие силы надеялся или рассчитывал Макс Вебер? На что-то такое, чего в Германии еще не существовало, хотя это что-то и казалось естественнейшим и само собой разумеющимся.

Соответствующими были и четкие требования, которые он выдвигал во время войны: с самого начала, все время, даже в период наиболее значительных побед немцев, он заявлял о том, что не должно быть никакого расширения границ, никаких

аннексий, ни одного квадратного метра — для Германии будет достаточно сохранить свои прежние границы; если она продемонстрирует, что совершенно не желает никаких завоеваний, но при этом обладает достаточной силой, чтобы утвердить себя перед лицом мира, то она исполнит свою великую задачу в мировой истории — спасет это серединное положение. Поэтому он все время ратовал за достижение мира на разумных условиях, без взаимных притязаний, выступал, так сказать, за взаимное признание ошибки, в результате которой была развязана война между братьями.

Он выставил тезис: даже в случае оккупации англосаксами и французами мы не утратили бы нашей сущности; они хотели бы уничтожить ее, но не смогли бы. Но под русским владычеством мы перестали бы быть немцами, равно как и все другие народы при таком режиме не смогли бы оставаться самими собой. Поэтому Макс Вебер видел единственное достижение Германии в Первой мировой войне в том, что на этот раз она остановила и сдержала русскую мощь.

Макс Вебер был последним подлинным носителем немецкой национальной идеи — подлинным потому, что понимал ее в том смысле, который вкладывал в эту идею барон фон Штайн Гнейзенау: не стремление к мощи собственной империи любой ценой и к возвышению ее над всеми прочими государствами, а стремление к осуществлению той духовно — нравственной жизни, которая утверждает себя посредством силы и власти, но подчиняет эту силу и власть собственным требованиям. Макс Вебер, очень рано заметивший чудовищную угрозу, нависшую над немцами из-за Вильгельма и его империи, знал, что существует некий рубеж, за которым начинается закат, а потом следует чисто растительная жизнь тех, кто этот закат переживает, — жизнь, лишенная политического смысла, а потому не приводящая к величию общества. Политика имеет место только в условиях свободы. Там, где эта свобода уничтожена, остается частная жизнь — насколько ее терпят. Когда в январе 1919 года Макса Вебера спросили, что делать, если к власти придут коммунисты, он ответил так: «Тогда меня перестанет интересовать абсолютно все!».

Это означало: перед лицом реальной жесткой силы один человек уже ничего не сможет сделать. Постижение этой истины вполне сообразуется с тем фактом, что Германия не смогла сама освободиться от национал — социализма, а была освобождена только внешними силами; с тем, что тоталитаризм не может быть преодолен изнутри, внутренними силами — он только может быть превращен в другой тоталитаризм посредством кровавых

переворотов. Конец подлинной политики устраняет интерес к политике вообще. Однако подлинная политика возможна только тогда, когда на людей воздействуют посредством убеждения состязающиеся оппоненты, когда в процессе свободной борьбы умов воспитывается общественное сознание.

И это — при том, что Макс Вебер не предвидел и не предсказывал в будущем такие реалии, как убийство гитлеровской Германией множества евреев, как беспредельный терроризм, выразившийся в искоренении всего подлинно человеческого, в превращении человека в некую функцию в эсэсовском государстве- концлагере.

Политическое мышление Макса Вебера наложило отпечаток на мое собственное. Хотя, вероятно, основной настрой у нас никогда не совпадал полностью. Мне недоставало сознания величия Пруссии и Бисмарка: теоретически я признавал его, но — скрепя сердце. Мне недоставало воинского духа. Я мог восхищаться им, но никогда не сумел бы воплотить его и сохранять. Мне недоставало героизма, величия духа — всего того, что я так любил в Максе Вебере. Но основные идеи Макса Вебера я взял на вооружение. Важнейшие мои политические познания были таковы. Еще в 1928 году, когда при первом кругосветном перелете «Цеппелина» немецкое население было охвачено опьянением, *я,* несмотря на свое восхищение этим достижением техники и радость по такому поводу, не разделял общего настроя. Этот вид опьянения меня напугал. Оно ощущалось и в 1914 году, когда началась война: всеобщее воодушевление по поводу ее объявления, смесь ликования и ощущения исполнения судьбы — все это было для меня чуждо и неприятно (очень скоро, с началом нужды и бедствий, все воодушевление погасло, словно костер из соломы). Я был счастлив, если встречал отдельных людей, не присоединившихся к общему торжеству, — как, например, один молодой крестьянин из Ольденбурга, которому не понравилась речь кайзера «Война за немецкую культуру». «Скажи пожалуйста! — заявил он. — Немецкая культура… Другие — тоже не варвары. На нас напали, и мы стоим за нашего человека. Вот и все».

Затем последовало массовое движение 1918 года, когда революционное опьянение от произошедшего перелома вело как бы само собой к ожиданиям и надеждам, что теперь можно будет создать прекрасные условия для человеческой жизни.

А потом такое опьянение в гротескной форме вернулось еще раз в 1933 году — со всеми признаками массового безумия. Я все больше ставил под сомнение высказывание «Глас народа— глас Божий» — если этот глас народа должен был выражаться

массами. Но я не мог заставить себя презирать в душе каждого, кто впадал в состояние такого массового опьянения.

Во время Первой мировой войны в Гейдельберге оформился политический клуб, в который вошли профессора всех факультетов. Клуб собирался часто — во время учебных семестров порой еженедельно, — чтобы обсудить политические и военные события, послушать доклады членов и подискутировать. В число членов этого клуба вошли почти все именитые профессора. Они составляли избранное меньшинство. Альфред Вебер был на фронте и потому не принимал участия в собраниях. Макс Вебер, единственно обладавший подлинно политическим мышлением, превосходивший в этом отношении всех, человек всесторонне информированный, приглашен не был. Его называли брюзгой, утверждали, что он замыкает всю дискуссию на себя и не знает меры. На самом деле они просто не хотели иметь в этом кругу почитающих друг друга и высоко ставящих себя людей личность, которая превосходила бы их. Макс Вебер болезненно отнесся к тому, что его обошли. Ведь он болел и был по этой причине изолирован от коллег, а по натуре отличался общительностью и отнюдь не был заносчив.

Спустя некоторое время я, несмотря на то что был всего лишь приват — доцентом, стал добиваться членства в клубе. С 1915 до 1923 год я посещал его собрания. Там я познакомился с политическим мышлением нашего университетского мира так, что лучше едва ли можно было желать. Это мышление вовсе не было единым. Происходили весьма страстные споры. Свобода выражения мнений была почти неограниченной. Я мог позволить себе высказывать собственное мнение, которое изменялось, конечно, — высказывать без всяких ограничений, без оглядки, не вызывая антипатии к себе. Приведу один пример. В июле 1918 года стало ясно, несмотря на недомолвки в сообщениях с фронта, что так называемое наступление Людендорфа не только провалилось, но и вызвало мощное контрнаступление союзников. Я развил такую мысль: наше поражение несомненно. Но конец войны не за горами. Не у нас — во французской армии были мятежи и беспорядки. Так что в этой ситуации мы вполне могли бы еще предложить мир. Нам следовало бы заявить о радикальном отказе от многого, и тогда можно было бы спасти очень многое — в сравнении с тем, что нам осталось бы при полном поражении. А потому, продолжал я, сейчас необходимо отказаться от Эльзаса и Лотарингии, признать неправомерность нарушения границы Бельгии в 1914 году и восстановить нормальные отношения с Бельгией, в остальном же — никаких приобретений; восстановление прежней границы на востоке

вместо нынешней оккупации нами российских земель; наконец, введение подлинной парламентарной демократии в Германии. Высказывать подобные взгляды тогда в Германии считалось государственной изменой, позволить себе такое можно было только в этом кругу порядочных людей. Онкен, отличный историк, ответил с присущим ему благородством: «Если следовать такому мнению, мои взгляды следовало бы отвергнуть, и тем не менее наводит на размышления сам тот факт, что сегодня возможна эта точка зрения».

Ни во время Первой мировой войны, ни позднее я не затрагивал в своих лекциях или публикациях проблемы политики. У меня была некоторая робость, поскольку я не был бойцом. Ведь политика предполагает столь серьезное отношение к власти, что ради нее человек должен быть готов рисковать жизнью. Я считал, что у меня нет права говорить о политике. Но чем старше я становился, тем меньше оставалось робости. В первую очередь потому, что я увидел: в двадцатые годы все бойцовское, солдатское в политике явно потерпело крах. Я понял, что это было ложное притязание в сфере политики.

То, что я стал выступать с речами и публикациями по вопросам политики, было связано с задачей, поставленной предо мною. Мне предложили написать книгу — тысячную по номеру в серии, выпускавшейся издательством «Гешен». Тема — «Духовные течения современности». Я тут же изменил тему — «Духовная ситуация времени». Тем самым я хотел подчеркнуть: я не в состоянии окинуть взглядом течения в их развитии и не знаю, что происходит в целом. Я могу только показать ситуацию на данный момент и раскрыть ее аспекты. Я способен заинтересовать читателя, привлечь его внимание, научить его видеть, но исторического обозрения современности дать не могу.

Тема привлекла меня по нескольким причинам. Я имел возможность сказать о политике на фоне общей нравственнодуховной ситуации нашего времени. Из книги «Философия», которая еще создавалась и не вышла в свет, я мог извлечь все то, что относилось к современности (точно так же, как я извлек из нее историко — философские экскурсы для создания последующих работ). Когда я сложил вместе извлеченные страницы, оказалось: хотя еще надо упорядочивать и выстраивать целое и требуется много дополнений, книга уже в принципе существует, и я принял в 1929 году предложение издательства. В сентябре 1930 года книга была готова — как раз тогда, когда национал — социализм впервые заявил о себе успехом на выборах в рейхстаг. Когда я писал книгу, я кое-что знал о фашизме, но очень мало — о национал — социа — лизме,

еще полагая, что распространение этого безумия в Германии невозможно. Рукопись «Духовной ситуации времени» я оставил лежать в столе. После столь долгого перерыва в моих публикациях я хотел вынести на суд публики вначале «Философию», а не маленькую работу, которая без «Философии» не имела бы под собой оснований. Поэтому я позаботился, чтобы «Духовная ситуация времени» вышла только годом позже, в начале октября 1931 года, и сразу же после этого, в декабре, увидела свет моя «Философия».

Начиная с 1933 года неожиданные открытия стали неизбежны. Насколько человек способен на чудовищные деяния, насколько духовно одаренные люди способны на безумие, насколько те, кто казались законопослушными гражданами, способны на измену, насколько те, которые казались добропорядочными, способны на злодеяния, насколько масса способна на безмыслие, на своекорыстную и близорукую пассивность — все это выявилось в таких масштабах, что знание о человеке не могло не измениться в корне. Короче говоря, все то, что раньше и предполагать было нельзя, теперь стало не только возможным, но и воплотилось в действительности. В истории, казалось, произошел переворот. Правда, при позднейших размышлениях, при взгляде на всю мировую историю в целом выяснилось, что это, невозможное в истоках своих, вовсе не было новым, а было новым только в проявлениях своих, что потрясения эпохи, несмотря на духовное богатство ее сознания, не позволили нам разглядеть это за видимостью.

Но в то же время стали видны непоколебимость отдельных людей, верность любящих, сила помощи, отваги, самоотверженности, разумность и осторожность тех, у кого не было силы, но было незримое сияние согласия. Все это, как никогда ранее, стало гарантией того, что подлинное человеческое бытие неуничтожимо. Совершались — чересчур поздно и чересчур неумело, не на высоте положения и потому неоднозначно — героические поступки, которые, правда, не были показательны для сознания общества, но стали великим вопросом, обращенным к нам, и доходили отдельные слухи — хотя сатанинская сила незримо для мира губила бесчисленные жертвы, о смерти которых не сообщалось ни слова, — слухи о людях, которым пришлось умирать в унижении и муках от пыток, от голода, отравленными, доведенными до неспособности сопротивляться. Среди убитых евреев были такие, о которых рассказывали, что они подлежали уничтожению раздетыми догола, словно какие-то насекомые, но при этом они вели себя с необыкновенным достоинством, чувствуя Бога в себе, и принимали смерть нагими,

просто и скромно выразив напоследок любовь друг к другу — совсем как те сорок солдат римского легиона, изображенные на византийской миниатюре из слоновой кости. И были другие — те, кто выступал против режима по нравственным соображениям, рискуя своей жизнью (до нас доходили конкретные известия — прежде всего о семье Шолль и о генерале фон Трескове), были те, кто попадал в лагерь за неосторожное слово или поступок, были те, кого казнили, вешали, были переселенные и убитые, поскольку насилию подвергались целые народы — и они принимали смерть с таким же достоинством.

И в самом деле — для тех, кто жил в этом обществе, мир настолько преобразился, что еще невозможно было понять суть произошедшего и определить, что представляет собой нынешнее состояние. Пророчества — прежде всего те, которые делал Ницше, — превратились в какие-то ни к чему не обязывающие видения, которые теперь потускнели, так как им еще не соответствовала нигилистическая действительность; ведь Ницше не предвидел именно того, что происходило сейчас. Однако всё же осталось нечто неизменное, поддерживающее нас и восходившее к самому нашему первоначалу, — то, смысл чего не смогла изменить никакая катастрофа в истории. Но теперь возникла необходимость взглянуть по — новому и постичь по — новому то, что оказалось изменчивым, — двигаясь от неподверженного изменениям, и перед этой задачей приходилось замирать с немым вопросом в глазах, вслушиваясь в неведении и ожидании. А над каждым висел дамоклов меч беды.

Я с женой много лет чувствовал эту угрозу для жизни, не имея возможности защититься от нее. Со стороны может показаться, что мы избежали ее, не пострадав. Как мы выяснили в полиции — а каждый знал окольные пути, которыми можно было это сделать, — депортация нас была назначена на 14 апреля 1945 года. Других назначенных к депортации уже вывозили в лагеря в предшествующие недели. 1 апреля Гейдельберг заняли американцы. Я, немец, не могу забыть, как мне и моей жене спасли жизнь американцы — спасли от немцев, которые хотели убить нас от имени национал — социалистического немецкого государства.

Мне нет нужды в подробностях повествовать здесь о своих переживаниях с 1933 по 1945 год. С 1933 года меня лишили возможности принимать участие в управлении университетом, в 1937 году отняли право преподавать, с 1938 года запретили что-либо публиковать. Общее и главное ощущение от всего было — утрата правовых гарантий в собственном государстве. Заставить забыть эту бесправность, оставленность на произвол судьбы не

могли ни хорошее отношение отдельных людей, не порвавших со мной, ни поддержка друзей, которые за одним — единственным исключением остались верны мне, ни помощь торговцев и ремесленников, которую они оказывали моей жене, ни глубокая внутренняя связь с ближними. Все это, конечно, действовало благотворно. У меня оставалось чувство общности с немцами и сознание принадлежности к ним — хотя и в сочетании с ясным пониманием, что эти немцы, ставшие для нас теперь подлинными, настоящими немцами, составляли незначительное меньшинство. Националисты и национал — социалисты в своих речах, в печати и в практических действиях пытались доказать, что это меньшинство чуждо сущности немецкого народа, а мы волей- неволей вынуждены были в той ситуации держаться прямо противоположного мнения. Мы опирались на поддержку меньшинства, хотя я и позволил себе принять (не особенно, впрочем, результативную) личную помощь со стороны некоторых членов национал — социалистической партии, когда обращался к официальным инстанциям с устными апелляциями. Но в некоторых случаях я оставлял подобные затеи, не говоря ни слова, — когда один из пронацистски настроенных профессоров, например, заявил мне, что меры против евреев — это, в принципе, дело правильное, но он посмотрит, нельзя ли что-то сделать для моей жены. Или, когда другой такой же профессор спросил меня — а не виновата ли в чем моя жена?

В этой ситуации, в условиях постоянно возрастающей опасности, в полном бессилии, действуя с продуманной осторожностью, осмотрительно ведя себя с гестапо и с нацистскими чиновниками и приняв решение не совершать никаких поступков и не говорить никаких слов, за которые нельзя было бы ответить, — однако пребывая уже в пассивной готовности принять наказание, мы находились на протяжении двенадцати лет.

Это было самое время для раздумий — тем более, что материальные условия для жизни оставались хорошими. В соответствии с параграфами инструкций я получал не только пенсию — меня снабжали также продуктами питания и углем. Конечно, не было никакой реальной надежды дожить до краха тирании и увидеть, что будет потом. Когда один молодой друг в 1938 году сказал мне: «Зачем вы пишете? Ведь это никогда не будет напечатано! Настанет день — и все ваши рукописи сожгут!», я с вызовом ответил: «Кто знает! Мне доставляет радость писать. То, что я думаю, становится при этом яснее, и наконец — если вдруг произойдет переворот, я не хочу встретить его с пустыми руками».

До весны 1939 года я имел счастье дружить с Генрихом Циммером, индологом, которого тогда заставили эмигрировать с семьей вначале в Англию, а затем в США. Это были последние интеллектуальные беседы, которые я вел в Гейдельберге— по широкому кругу тем, проникновенные и глубокие. Он одарил меня из сокровищницы своих неисчерпаемых познаний, хотел позаботиться о моей судьбе, снабдил множеством литературы и переводов из китайского и индийского миров.

Но эти двенадцать лет означали вступление в особую жизнь. С одной стороны, произошло внутреннее отстранение от Германии как политического образования. За бесконечно малым исключением немцы — включая моих старых друзей — страстно желали немецкой победы, тогда как я в атмосфере ликования отчаянно озирался по сторонам в поисках какого-нибудь признака, который говорил бы об ином повороте событий. Я черпал мужество в позиции Черчилля и в его речах сентября 1940 года. Уже в 1936 году я стал надеяться на то, что войска союзников вступят в Германию — я страстно желал этого с 1933 года. Теперь все мои надежды были связаны с поражением гитлеровской Германии и полной ее ликвидацией — с тем, чтобы выжившие немцы смогли, держась своих корней, по — новому и подобающим образом построить свою жизнь.

Проблемой сделалось немецкое самосознание. Что значит — быть немцем? Другие народы ставят нам в вину, что мы всегда думаем о том, что значит — быть немцем, что мы всегда хотим быть немцами, что мы делаем нечто естественное искусственным и насильственным. Такой вывод вовсе не является необходимым. Однако этот вопрос для немца, у которого постоянно звучит в ушах слово «немецкий», произносимое его соотечественниками, обязательно требует ответа.

То естественное, не подлежащее никаким сомнениям Немецкое, в котором я жил, — это были язык, родные места, происхождение, великая духовная традиция, к которой я оказался причастен с юных лет. Не держава как таковая, но держава на службе нравственно — политической идеи — вот каков был идеал. Макс Вебер никогда не поступился бы немецкой душой, продав ее за силу и власть, как это сделало в 1933 году большинство населения тех земель, которые входили в германский рейх.

Отсюда и проистекает наше отчаяние и разочарование в Немецком, которое началось в 1933 году и продолжалось все последующие годы. Что значит — Немецкое? Кто есть немец? Когда моя жена, которую Германия предала как немецкую еврейку, отвергала эту Германию, любимую ею, возможно,

больше, чем мной, я ответил ей в 1933–м: «Помни, я — тоже Германия!»

Но полное мое отмежевание от германского рейха, начиная с 1933 года, привело меня к осознанию того, насколько моя жена и я — немцы: целиком полностью. Возникающие вопросы остались неразрешимыми.

Тем немногим людям, к числу которых принадлежал я, с 1933 года представлялось вероятным, а с 1939 — несомненным, что происходящее в Германии означает конец Германии. “Finis Germaniae” — эти слова втихомолку передавались из уст в уста. Победит гитлеровская Германия или проиграет войну (то, что она ее проиграет, стало ясно только к осени 1941 года) — в любом случае Германии больше не будет. Но ведь выживет много немцев, говорящих на немецком языке, участвовавших в произошедших событиях, — немцев родом из утраченного немецкого государства? Что же им делать тогда? Что придаст ценность их жизни? Останутся ли они немцами и в каком смысле? Будет ли стоять перед ними какая-то историческая задача?

Все эти вопросы заставляли постигать самого себя, выяснять, что я представляю собой как немец. Осознание утраты нашим поколением того Немецкого, которое передавалось по традиции и было нашим наследием, должно было обратить нашу память к истокам, дабы вновь обрести истину и сделаться достойными предков. Ответ на эти вопросы не найден и по сей день. Самопостижения не произошло. Но каждому сознательному немцу эти вопросы жгут душу.

С 1933 года самоочевидной основой для моего самосознания как немца стало одно: Германия политическая, основанная Бисмарком как Малая Германия; Германия, опиравшаяся на тенденции 1848 года; Германия, которая роковым образом попыталась принять иллюзорный облик Рейха, Империи, заимствовав идею Рейха из средневековья и без всяких на то духовных оснований названная Вторым Рейхом, в соответствии с чем даже вокзалы строились непременно в готическом стиле, — это вовсе не Германия, а лишь краткий политический эпизод сточки зрения всемирной истории. Та же Германия, которая существует на протяжении тысячи лет, — это нечто совсем другое, значительно более богатое по своему содержанию. Великолепная западная идея Империи умерла еще в XIII веке. То, что было Немецким, сохранялось и поддерживалось в некоем единстве только благодаря немецкому языку, благодаря духовной жизни, являющей себя в нем, благодаря религиозным и нравственным реалиям, которые себя в нем сказывали. Это

Немецкое — необыкновенно многозначно. Политическое как раз имеет самую несчастную историю, двигавшуюся от катастрофы к катастрофе. Подлинно Немецкое существует на огромном пространстве духа, где творит, созидает и борется. Ему нет нужды именовать себя Немецким, у него нет никаких специфически немецких качеств, ему чужда какая-то особая немецкая гордыня. Но оно живет в сфере духа, питая себя реалиями и идеями благодаря общению со всем миром.

То, каким образом в этой сфере может реализоваться нечто Политическое — как прочное, надежное и подлинное, — обнаружилось в средние века, представ в облике той свободы, которая получила распространение в Европе. Развившись в ходе прогрессивного преобразования средневековья, такая свобода существует и по сей день в Голландии и Швейцарии. В прусско — немецком мире она была утрачена с XVII века.

По этой причине слово «немецкий» имеет два смысла. Один — тот, который имеют в виду, подразумевая основание Рейха Бисмарком, немцы, живущие в составляющих этот Рейх областях и во всем остальном мире. Этот смысл предполагает, что наше бытие немцами якобы и есть реализация так называемого немецкого единства в государстве. Другой же смысл — тот, который имел в виду Буркхардт, когда писал в начале сороковых годов прошлого века, что его задача — показать швейцарцам, что они являются немцами (Буркхардт никогда больше не повторял этих слов, заметив еще в 1848 году, что Германия двинулась не по пути, ведущему к федеративной свободе консервативного толка, а по пути, ведущему к созданию централистской державы техницистско — рационалистского характера).

Того смысла, который вкладывал в свои слова Буркхардт, ныне уже никто не улавливает. Однако этот смысл — последняя надежда обрести то, из чего только и могла бы вновь произрасти достойная политическая жизнь на том пространстве, где некогда существовал немецкий Рейх Бисмарка. Когда в 1914 году враждебная пропаганда пыталась разделить Германию, противопоставляя Ваймар и Потсдам, я испытал возмущение. В тогдашней ситуации выгодно было воспрепятствовать самоутверждению единого государства, чтобы ослабить его. «Ваймар» никоим образом не был той целостной Германией, которая на протяжении тысячелетия отличалась великой политикой в сфере духа, — он являл собой лишь часть ее, хотя и важную. «Потсдам» — тоже плохо звучало и для нас, но это не было тождественно с той Германией, которая тогда вела войну.

Однако сегодня, руководствуясь не чужим желанием ослабить нас, а существенными интересами самих немцев, следует

мыслить Германию в двояком плане, не смешивая это с тем поверхностным противопоставлением «Ваймара» и «Потсдама». Сегодня такое разделение означает, что политическое существование Германии больше нельзя духовно и нравственно основывать на реставраторских тенденциях, на воспоминаниях последних полутора веков. Скорее, окидывая взором положение в мире и неся свою долю ответственности за него, после невиданных внутренних и внешних катастроф нужно в новой ситуации создавать Германию заново, исходя из самых глубоких первооснов и делать это надо, постигнув с предельной ясностью те эпизоды истории, которые означали крах и катастрофу.

Когда я предавался таким размышлениям, во мне крепло в то же время желание сделаться гражданином мира. Быть в первую очередь человеком и лишь затем принадлежать по рождению к какому-то народу — вот что казалось мне самым важным. С какой страстью я искал какую-то инстанцию, которая была бы превыше народов, превыше законов, превыше государств, — ту инстанцию, которая могла бы, явив справедливость, оказать помощь одиночке, потерпевшему от совершившего преступление государства произвол и насилие! Такой высшей инстанцией могла бы стать солидарность всех государств.

Принцип невмешательства во внутренние дела государства — это прикрытие для того, чтобы попустительствовать несправедливости. Притязание на абсолютный суверенитет нацелено на то, чтобы, прикрывшись им, иметь возможность по произволу творить неправедные дела. Ведь древний принцип гласит: «Король (а теперь — государство или диктатор) — превыше закона!»

Такому суверенитету должна противостоять ответственность всех государств, которые не могут терпеть, бездействуя, бесчеловечность или попрание прав ни в одном из государств, поскольку в этом случае каждому из них будет угрожать то же самое.

Впервые эти мысли пришли мне в голову в 1933 году, когда Ватикан заключил конкордат с Гитлером и тем самым не просто поднял его престиж, но и создал прецедент международного признания — ведь гитлеровский режим предстал в общественном мнении как режим, с которым возможно заключать договоры. Еще сильнее эти мысли стали одолевать меня в 1936 году, когда в Берлине проходила Олимпиада. Своим участием в Олимпиаде многие государства мира по сути поддержали гитлеровский режим. Наконец, эти идеи снова пришли мне на ум, когда на международном конгрессе в Эвиане в 1939 году решался вопрос о возможностях поселения бегущих из Германии евреев. В

результате немецким евреям стало еще труднее, чем прежде, передвигаться по миру.

Когда 1 апреля 1945 года американцы заняли Гейдельберг, когда мне показалось, что за одну — единственную ночь, как в сказке, преобразился мир, когда я прочитал у ратуши первые законодательные распоряжения и впервые после стольких лет снова услышал в них тот достойный западный тон, который должен сделаться нормой у нас, у меня появились большие надежды. Уже три дня спустя я вошел в состав избранной по моей инициативе комиссии из тринадцати профессоров, которая должна была подготовить к открытию временно закрытый университет. Си — Ай — Си — следившую за порядком службу, которая доныне была мне совершенно неизвестна, — представляли двое образованных, доброжелательных молодых людей. Они дали нам письменное разрешение проводить собрания. Мы тотчас же приступили к работе.

Университет был делом моей жизни. Здесь, как мне казалось, я кое-что понимал и кое-что мог предложить. Некоторые — немногие — коллеги одарили меня симпатией и доверием, чего я никогда не забуду. Не имея, по здоровью, возможности стать деканом или ректором, я трудился в меру своих сил — участвовал в обсуждениях, вносил предложения и таким образом способствовал тому, чего не мог реализовывать сам в полной мере.

Решать те новые проблемы, которые теперь встали перед нами, мне и моей жене очень помогала Ханна Арендт — Блюхер. С ней нас связывала давняя симпатия, не угасшая с годами. Одно из прекраснейших впечатлений тех лет — проявленная ею солидарность, человеческая и философская. Представительница более молодого поколения, она пришла к нам, старикам, со своим собственным опытом. Эмигрировав в 1933 году и поскитавшись по свету, она не утратила в борьбе с бесконечными тяготами и лишениями жизненного задора. Ей был прекрасно понятен тот будничный ужас нашего существования, который нам довелось испытать, поскольку ей и самой пришлось расстаться со страной, где она родилась, хотя она и не отказывалась от своих прав, пребывая в положении лица без гражданства, совершенно бесчеловечном.

Она делала попытки обрести почву под ногами, и это всегда как-то удавалось ей. Но ни к одной почве она так и не смогла «прирасти» крепко — настолько, чтобы принимать ее всецело и безоговорочно, без критичного отстранения. С ней всегда оставалась только ее любовь да еще те задачи, за которые она бралась в данный конкретный момент. Внутренняя независимость

превратила ее в гражданку мира, а вера в уникальную силу американской конституции (и в политический ее принцип, который наглядно доказал свою состоятельность и утвердился как наилучший) сделала ее в конце концов гражданкой Соединенных Штатов.

Она научила меня лучше понимать этот мир, где была предпринята величайшая из попыток достижения человеческой свободы, а с другой стороны — лучше, чем доныне, видеть структуры тоталитаризма. Я судил о них с некоторой неуверенностью, но только потому, что формы мышления и методы исследования, открытые Максом Вебером, еще не были применены к анализу этого нового знания.

С 1948 года Ханна Арендт — Блюхер снова стала приезжать к нам в гости. Мы очень интенсивно общались, убеждаясь в глубоком родстве душ, которое не всегда можно было выразить на языке разума. Я мог беседовать с ней так, как мечтал о том на протяжении всей своей жизни, однако со времен молодости мне удавалось поговорить так лишь с некоторыми из мужчин — не считая, конечно, самых близких мне людей. Мы дискутировали с предельной откровенностью, ничего не обходя молчанием, не оставляя за душой никаких недосказанных мыслей — в каком-то дерзком задоре, не опасаясь зайти неведомо куда, потому что чувствовали: это поправимо, зато сама ошибка будет небесполезной, поскольку о чем-нибудь да скажет. Мы полагали, что не надо бояться высказывать прямо противоположные суждения — даже глубоко обоснованные, ибо наше доверие друг к другу, на которое только и могла опираться такая откровенность, является всеобъемлющим, так что противоречия в споре не могут уменьшить нашей симпатии. Мы были верны в дружбе, что позволяло беседовать с полной раскованностью, никак не уязвляя другого абстрактной задиристостью, желанием спорить во что бы то ни стало.

После 1945 года возможностей активно заниматься политикой у меня было еще меньше, чем университетом. Ко мне приходили побеседовать некоторые американцы, чтобы услышать мое мнение и сориентироваться в ситуации. Тогда американцы еще сами назначали членов временно существующих правительств, и мне тоже задавали вопрос — не соглашусь ли я стать министром культуры. Дальше разговоров дело не пошло. Я мучительно переживал, потому что вынужден был отказаться. Что же до моих суждений, то это все были ни к чему не обязывающие беседы — порой с людьми выдающимися, которые на первых порах приезжали в Германию после войны. Услышать и сказать довелось многое, причем настроение мое менялось: то я

испытывал воодушевление, видя открывающиеся возможности, то впадал в уныние и безнадежность, глядя на реальное положение дел.

В особенности серьезны были размышления, вызванные изменениями в управлении послевоенной Германией. Вначале оккупационные власти назначали немцев в правительство. Теперь же на их место должно было заступить правительство победившей на всеобщих выборах партии. Оно должно было стать демократическим немецким правительством, на которое ляжет вся ответственность. Тогда я сказал одному американцу: «Вы вступили на путь, который Германию не спасет. Лучших людей, каких можно найти в Германии, заменят старые партийные функционеры, которые уже доказали свою неспособность в преддверии 1933 года. Станут управлять не только хорошие немцы, но и — причем в большей степени — немцы, политически коррумпированные. Факт остается фактом: оккупационные власти в конечных решениях реально сохраняют независимость. Вы должны открыто управлять этой Германией, беря на себя ответственность — через посредство разумнейших, наиболее патриотически настроенных немцев. Тогда процесс воспитания, в котором нам отказала история, по крайней мере, может начаться снизу при известной самостоятельности немцев. Он будет протекать не благодаря хорошим людям, не благодаря докладам или каким-то публикациям, не благодаря патетическим рассуждениям о великолепной и прекрасной демократии, а благодаря практике. Но она, эта практика, может начаться только внизу, в общинах. Рассмотрим пример: вот сейчас люди недовольны чересчур высокими ценами на картофель в Гейдельберге, а крестьяне — тем, что они выручают за картофель слишком мало (напомню, что крестьянин тогда получал 3 марки за центнер, а горожане платили по 12 марок). Что же происходит? Все требуют вмешательства государства, но государства еще не существует. Было бы правильно, если бы крестьянская община послала своих выборных представителей в Гейдельберг и они договорились бы там достичь цели разумными средствами и под собственную ответственность.

Занимаясь конкретными вопросами, люди научатся что-то делать, и каждый привыкнет нести свою долю ответственности. У нас же, с одной стороны, еще в порядке вещей слепое повиновение, а с другой — господство управленческой бюрократии. Дайте общинам возможность поучиться, как самим решать касающиеся их вопросы — во все большем и большем объеме. Тогда вырастут люди, способные мыслить политически. Из их среды в ходе публичной дискуссии выйдут деятели,

способные произвести впечатление и обрести доверие, когда будут заново формироваться партии. Как все это должно происходить в деталях, я не знаю. Но обязательно должны пройти годы, прежде чем Германия сможет управляться своими лучшими в политическом отношении людьми, которых только тогда и можно будет выдвинуть кандидатами в ходе свободных выборов. Ослабление влияния оккупационных властей, уменьшение их ответственности должно происходить постепенно, шаг за шагом, пока не обретут силу разумные люди, которые в Германии есть, и, как я думаю, в достаточном количестве. Сейчас же происходит навязывание такой демократии, когда ведущую роль играют партии, при которых отсутствует предпосылка общественного духа, при которых подавляющее большинство немцев еще совершенно не знает, что, собственно, происходит на самом деле и чего они хотят, что и кого они должны выбирать. Все это — не что иное, как замена авторитета избранных вами немцев авторитетом партийных бонз, партийных бюрократов и их диктаторов».

Американец ответил: «Вероятно, вы правы. Я даже думаю, что вы наверняка правы. Но так, как предлагаете вы, дело не пойдет. Во — первых, наш американский народ не желает колониального правления. А ваш вариант на него весьма походит. Во- вторых, мы не можем сделать этого из-за русских. Мы не вправе подавать им пример диктаторского правления. Они тут же используют его в Восточной Германии, но будут делать все с совершенно другими намерениями и значительно отвратительнее».

Получая такие уроки, видя, какие открываются возможности, я произносил некоторые из своих речей. В 1946 году я опубликовал «Вопрос вины», который был написан на основе моих лекций о Германии, прочитанных зимой 1945/46 года.

Так как активное участие в политике было мне заказано, я мог только размышлять, писать, выступать с лекциями. Эти размышления привели меня к основополагающим проблемам истории, к вопросу о всемирной истории и о нашем месте в ней («О происхождении и целях истории», 1949).

Что же касается философии, то передо мной, во — первых, оставалась задача — прояснить для самого себя нравственные предпосылки политики и реальные отношения в ней. А во- вторых — ориентировать свое политическое мышление в соответствии с позицией гражданина мира, которую я занял с самого начала.

Где бы в мире я ни ощущал великое дыхание политического мышления, сознающего ответственность за человечность, то есть за свободу человека и человеческие права, где бы я при этом ни усматривал силу, мужество жертвенности, готовность к борьбе за

единственную великую идею, там я сразу прислушивался со всем вниманием, стараясь ничего не упустить, и обретал надежду. Не обладая силой сам, я чувствовал, что должен, по крайней мере, сопереживать в мысли и воспроизводить то, что на этом пути могло быть необходимым для политического сознания.

Самое главное и самое основное: не существует никакого закона природы и никакого закона истории, которые определяли бы ход вещей в целом. Будущее определяется ответственностью выбора и поступков людей — в конечном счете, ответственностью каждого человека из миллиардов живущих.

Дело — в каждом отдельном человеке. Своим образом жизни, своими ежедневными малыми делами, своими крупными решениями он делает себя проявлением того, что возможно. Не сознавая того, он своей реальной жизнью здесь и сейчас оказывает влияние на будущее, и при этом у него нет оснований считать себя малозначительным — точно так же, как нельзя считать малозначительным каждый голос, хотя в голосовании участвуют миллионы.

В это десятилетие для меня стало важнейшим открытие, которое, правда, было уже известным на протяжении веков, но немного подзабылось: философия не лишена практических выводов. Я сам удивлялся, обнаруживая во всей истории философии эту связь, которая оказывалась столь очевидной. Ни одна великая философия не лишена политического мышления — даже философия великих метафизиков, даже философия Спинозы, который пришел в этой области к активному и эффективному духовному сотрудничеству. От Платона до Канта, Гегеля, Кьеркегора и Ницше простирается большая политика философов. То, что представляет собой какая-либо философия, она обнаруживает в своем политическом проявлении, и это не какое-то ее побочное свойство. В этом — ее центральное значение. Не случайно национал- социализм и большевизм видели в философии смертельного врага в духовной сфере.

Мне кажется, я почувствовал: лишь тогда, когда я оказался вовлеченным в политику, моя философия стала полностью осознанной — вплоть до самой ее основы, до метафизики.

С тех пор я ставлю вопрос о политическом мышлении и политических деяниях каждого философа и вижу, как сквозь историю философского духа проходит великолепная, достойная всяческого уважения и влиятельная линия этого мышления.

9. Философская логика

Когда я понял, что философия — не наука в смысле принуждающего и значимого абсолютно для всех знания, то это никоим образом не было воспринято мною так, будто философствование пребывает во власти произвола, настроения, субъективного вкуса. Напротив, истина философии — в противоположность научной правильности, которая в методологическом отношении значима в зависимости от общепринятой точки зрения, — есть истина безусловная, постигая которую, возможная экзистенция достигает историчной действительности. Научная истина выразима в однозначных по смыслу предложениях — для рассудка. Философская истина может быть сообщена лишь на окольных путях движения мысли, косвенно, и не может быть схвачена в надлежащей мере ни в одном предложении.

Суть дела представлялась теперь в том, чтобы не только фактически мыслить и выражать философскую истину, но и постичь те пути, которыми она может быть сообщена. Только благодаря этому философская мысль обретает чистоту в рефлексии и приводится к своему упорядоченному течению посредством осознания ее собственных методов.

К тому, чтобы заняться осознанием методов мышления, а среди них — методов мышления философского, я был готов уже давно. Еще в 1921 году я читал четырехчасовую лекцию «Философская систематика». Тогда, в молодости, я смотрел на все через призму универсального психологического понимания и хотел углубить это понимание, что нашло отражение в лекции. Я уже тогда построил схему категорий, правда, внешним образом, упорядочивая их, словно ботаник. Я уже думал о методах всего познания, исходя из основополагающей противоположности понимания и объяснения, но больше склоняясь к вопросу о собственно философском мышлении. Началом исследования этой темы стали несколько страниц в моей «Психологии мировоззрений». В моей «Философии» эта проблема обсуждалась во многих местах. После ее выхода в свет в лекциях 1931/32 года я развил основополагающее для моей философской логики понятие Всеобъемлющего, а впервые выступил публично на эту тему в своих Гронингских лекциях «Разум и экзистенция» (1935). С годами материал умножился. Последнюю мою лекцию (перед отрешением меня от должности в 1937 году) я читал четыре часа на тему «Истина и наука». Казалось, что я нашел древние, фактически применявшиеся методы философствования. У меня

было почти такое ощущение, будто я вновь открыл мир философского мышления в его самосознании. В своей «Философской логике» я пытался представить целое в его системной взаимосвязи. Я приступил к работе, чтобы свести воедино множество отрывочных записей, отдельных листков и рукописей.

Эта работа происходила во времена самых горьких страданий, во времена национал — социализма и развязанной им войны. Вынужденные отвергать свое государство, как государство преступное, и желая его гибели любой ценой, мы обретали покой, разрабатывая самые абстрактные, самые отвлеченные, по видимости, темы. В эти годы бедствий, которые мы разделяли не со всеми немцами, как то было в Первую мировую, а со всеми преследуемыми Германией, со всеми замученными и убитыми ею, как с нашими собратьями по судьбе, работа над «Философской логикой» была одним из способов внутреннего самоутверждения. Моя жена, как повелось с давних пор, читала мои рукописи и писала для меня заметки по поводу их. Это было нашей постоянной ежедневной работой. Она проходила как бы в тени, вдали от повседневности и совсем не так, как раньше: наша «Психология мировоззрений» была написана в молодом порыве, а наша «Философия» — с ощущением того, что мы достигли вершины жизни и прочно стоим на ногах. Теперь нас окружала тишина нашего прибежища, где мы вынуждены были затаиться, терпеть лишения и испытывать всепроникающий страх. О читателе мы не думали, мы писали для самих себя, осознавая, что если случится невероятное и мы выживем, жизнь снова сведет нас со старыми друзьями.

Многие части рукописи тогда читала Мария Салдитт. Она следила за ходом работы, помогая нам, ободряя нас в нашей покинутости уже одним тем, что находила эту работу важной — она, одна из немногих незабываемых наших друзей более молодого поколения. Она была учительницей и на протяжении десятилетий делилась со мной мнениями и впечатлениями, рассказывая о проблемах своей профессии. Я видел, как она стойко держалась на своих уроках во времена господства нацистов, при негласной поддержке директора школы, отличного человека. Я видел ее потом — как она проявляла мужество в духовном хаосе современной Германии: не давая сбить себя, доносила до молодежи все великолепие культурной традиции, будила стремление к истинному, к подлинному, не падая духом, переносила вмешательства со стороны властей, регламентировавших преподавание. Для нее, которая с детства была благочестивой католичкой, само собой разумеющимся было

метафизическое мышление, которое не только отзывалось во мне, не только обращалось ко мне, но и давало мне благотворную возможность ощутить глубину католических идей. Мехтхильд из Магдебурга была одним из любимых ее образов. Она хорошо знала мой стиль мышления и благодаря этому составила ценный предметный указатель к моим «Психопатологии», «Философии» и «Философской логике», который может необычайно помочь читателю соединить все в единое целое. Я благодарен ей за это.

Духовный настрой, в котором создавалась «Философская логика», склонял к тому, чтобы, опираясь на реализовавшее себя в жизни мышление, видеть в абстракции фундаментального нечто подлинно конкретное, сохраняющееся при всех обстоятельствах. Разумеется, в логике требуется только обрести ясное понимание тех пространств, в которых нам являют себя истина и бытие. Однако в процессе достижения такого понимания оказывают свое влияние и содержательные моменты традиции, выражающие себя в этих пространствах. Книга была написана в сознании того, что распространился недуг неистинности, недуг превратно понятой истины, недуг зла. Я хотел принять твердое и непоколебимое решение, со всей ясностью закрепив свой выбор: либо — либо. Выбор, который означал бы, что я больше не приемлю, а только отвергаю. Но мне хотелось и повысить свою способность проникать, используя понимание, в любую возможность истинного, содержащуюся даже в самом что ни на есть неистинном. Зыбкость всего истинного, сомнительность того истинного, которое пытается подавать себя как общезначимое, само собой разумеющееся; зазнайство обладателей истины — все это нужно было показать так же ясно, как и надежность той основы, которая не поддается объективации напрямую. Упомянем здесь некоторые мотивы из этого произведения.

1. Ситуация философии такова: нет истины в целом, однако истина встречается многообразно в историчном своем обличье. По этой причине сообщество всех людей возможно не благодаря признанию одной — единственной истины, а только благодаря предшествующему коммуникационному пространству. Осознать это посредствующее пространство и открыть, насколько это возможно, доступ в него, а сверх того — высветить смысл, обеспечивающий его экзистенциальную надежность — таковы задачи философской логики. Она изучает, с одной стороны, условия для реализации беспредпосылочной воли к коммуникации, а с другой стороны — формы нарушения коммуникации, ее смысл и последствия.

2. Коммуникация требует от разума самосознания, то есть знания о тех формах и методах, в которых совершается

мышление, требует общей ориентации в ремесле мышления — вплоть до ясного осознания первоначал. В той мере, в какой разуму удается это самосознание, мысль обретает власть над самой собой: тот, кто мыслит философски, становится господином над своими мыслями — вместо того, чтобы бессознательно оставаться привязанным к привычным путям и формам мышления.

3. Чтобы проникнуть к самым первоначалам, мышление должно обрести совершенство и завершенность, что представляется невозможным. Мы мыслим предметно, мышление остается «во плоти» предметов, на которые оно интенционально направлено. Однако задача основной операции философствования во все времена заключалась в трансцендировании, в выходе за пределы сферы только предметного — туда, откуда проистекают и само предметное, и мышление, интенционально направленное на это предметное. То, что не есть ни предмет (объект), ни мыслительный акт (субъект), а соединяет в себе и то и другое, я именую «всеобъемлющим». Оно сказывает себя не через объект сам по себе, не через субъект сам по себе, а через то и другое в одном — как то, что трансцендентно и сознанию, и бытию.

Такова основная мысль. Ее трудно провести, но она только и проясняет философствование, да, собственно говоря, только и делает его возможным. Зато, постигнутая однажды в своей небывалой простоте, эта мысль оказывается предельно самоочевидной.

С разворачиванием этой философской мысли в философской логике происходит не обретение какой-то научной, обязывающей и принуждающей ключевой позиции, но обретение идеи широчайшего пространства для содержаний — пространства, еще не связываемого с каким-то определенным истинностным содержанием. Это — попытка обрести посредствующее пространство коммуникации в наиболее охватывающих формах, какие только можно помыслить.

4. Если парадоксальность философствования заключается в том, что оно все-таки не имеет в предметном никакого предмета, что же тогда еще является философским мышлением? Если мы назовем предметное мышление рациональным, то мышление, поддерживающееся предметного как канвы, но выходящее за пределы предметного, само уже больше не является рациональным, хотя и связано на каждом шагу с рациональными актами.

То, что такое мышление имеет основу в самом себе— ибо оно есть первопричина и первоначало всех вещей, — может быть

постигнуто только самим этим мышлением. То, что оно необходимо, может быть постигнуто на рациональном пути при выходе на границу рациональности. Поэтому философская логика поначалу должна указывать на кажущуюся замкнутость рационального в себе, как о том известно с давних пор, демонстрируя его формальные принципы (закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, закон недопустимости тавтологий и кругов). Затем она, приходя к сознанию, затрагивающему существенные для философии вопросы, проявляет интерес к тем неразрешимым проблемам, которые возникают в пределах самого рационального; к возможности неизбежного краха рациональности, замкнувшейся в себе, когда она основывается только на себе самой, абсолютизирует себя, приходя в соприкосновение с бесконечностью. Философская логика должна показать, как недостаточность рационального для постижения основных философских вопросов приводит к развитию мышления, выступающего против принципов рационального, которое движется, впадая в противоречия, тавтологии, круги, но не для того, чтобы нарушать эти принципы произвольно, как угодно — нет, оно исходит из некоего иного порядка, вполне просматриваемого методологически.

В столь антилогических и алогичных формах общая сообщаемость осуществляется не так, как в формах научных. Философское содержание, желающее сообщить себя в таких операциях, должно быть ориентировано на того, кто сделает шаг навстречу. Если научное знание реализует себя в формах рациональности, доступных созерцанию каждого, то реализация философских идей происходит только через историчную действительность и возможность экзистенции «другого». Предложения и последовательности предложений, которые для одного человека всегда будут оставаться лишь пустой «беспредметной» болтовней, для другого человека станут посредствующим воплощением глубочайшей истины.

Философская логика может сделать все осознанным, не принуждая насильственно признавать его. Она лишь открывает в этой области возможности, которые могут оказаться исполненными смысла или бессмысленными.

5. Благодаря философскому мышлению происходит прорыв сквозь рациональность, желающую утвердить себя как абсолютную, но происходит он с помощью рациональных средств. Достигается выход за пределы рассудка, но — не теряя рассудка. Обретенное таким образом посредствующее пространство мышления называется — также в отличие от рассудка — разумом.

Этот прорыв не должен привести к новой вовлеченности в какое-то предметное образование, которое — как, например, насильственный круг кругов — снова замыкало бы в себе то знание, которое в полной мере может быть постигнуто только как невовлеченное и незахваченное. Чистота метафизики — при отбрасывании всего якобы вовлеченного в него познавания объектов — методологически возможна. Она может двигаться поистине экзистенциально.

Работа над решением таких задач дает удивительные результаты. Тебя охватывает сила вещей, которые в то же время в предметном смысле исчезают. В таком формальном постижении уже происходит обретение покоя и открытости, необходимых для чистой встречи с бытием, которое обращается к нам во всех способах бытия всеобъемлющего.

Для разработки «Философской логики» я набросал себе следующую схему:

– Определение основ (первый том) должно всесторонне осветить смысл истины; следует шаг за шагом обойти широчайшее пространство возможного, расчлененное на пространства различного происхождения, отнесенные к «одному», которое никогда не может быть постигнуто само по себе как таковое — к середине, к всеобъемлющему.

– В обретенном таким образом пространстве нужно показать весь объем категорий (второй том), в которых происходит мышление, и весь объем методов (третий том), посредством которых запускаются в ход мыслительные операции, — показать в принципе и развернув до какой-то неопределенной границы. Благодаря Всеобъемлющему, которое будет задавать направление, можно познать технику форм мысли и технику движения мысли, а в конечном счете — обрести способность распознавать все это в реально существующем мышлении.

– Наконец, требуется показать мир реально существующих наук и реально существующей философии — показать в основных образах и изменениях: все это надлежало сделать в наукоучении (четвертый том).

Завершен только первый том — «Об истине». В 1945 году, охваченный радостью от начавшейся жизни, я отдал его в печать. Учение о категориях и о методах намечено в общих чертах, но еще далеко не готово к публикации. Эта работа пока отложена — в надежде когда-нибудь найти время, чтобы вернуться к ней. Наукоучение, собственно, я и не начинал писать. Есть только разрозненные заметки, намечающие общий подход.

10. Хайдеггер

То, что я слышал к концу Первой мировой войны о Хайдеггере, позволяло надеяться, что я встречу в его лице самобытного философа, не похожего на обычный университетский люд. Он был на семь лет моложе, чем я, приват — доцент, работал ассистентом у Гуссерля, и широкой публике был почти незнаком. Я в то время уже обрел известность благодаря своим «Психопатологии» и «Психологии мировоззрений». Я искал встречи и знакомства с ним.

Встреча наша была неожиданностью для Хайдеггера, меня же она ободрила и воодушевила. На меня произвела впечатление его увлеченность философией. К выбору профессии философа он относился с величайшей серьезностью. Из всех современных представителей философского цеха Хайдеггер был единственным, кто всерьез интересовал меня. С некоторыми другими у меня сложились хорошие отношения, я учусь у них, уважаю их достижения, но при этом не могу признать, что они как философы сами изрекли или совершили что-то, достойное войти в сокровищницу философии. Хайдеггер же дошел до тех вопросов, которые, кажется, затрагивают сокровеннейшее.

Весной 1920 года мы с женой несколько дней были во Фрайбурге, чтобы при случае поговорить с Гуссерлем и Хайдеггером. Отмечался день рождения Гуссерля. Все большим кругом сидели за столом, сервированным для кофе. Фрау Гуссерль называла Хайдеггера «феноменологическим ребенком». Я рассказал, что одна из моих учениц, Афра Гайгер, личность совершенно выдающаяся, приехала во Фрайбург, чтобы учиться у Гуссерля. В соответствии с правилами приема в его семинар ей было отказано. В результате и он, и она многое потеряли — по причине чисто академического формализма, ведь Гуссерль даже в глаза не видел этого человека. Хайдеггер живо вмешался, поддерживая меня. Это было нечто вроде совместного выступления молодежи против авторитета абстрактных порядков.

Гуссерль держал себя просто и непринужденно. Я уже не чувствовал в нем той заносчивости, которая неприятно задела меня в 1913 году в Геттингене. Он говорил о философских вещах, которые были для него существенны, и заявил при этом, что они вряд ли мне интересны, однако вовсе не хотел тем обидеть меня или высказать какое-то неуважение — наоборот, он был настроен весьма дружелюбно, принялся расспрашивать о моих намерениях в других областях. Хайдеггер на что-то сердился. Атмосфера этого вечера была нехороша. Она казалась мне несколько

мелкобуржуазной: что-то стесняло свободу отношений между людьми, не давало проявиться духу благородства, духовной искре. В дружелюбии Гуссерля чувствовалась, правда, некоторая теплота, зато в нем не было величия и силы. Он, казалось, ощущает себя в такой атмосфере как рыба в воде. Я же был несколько скован и сохранял дистанцию, потому что привык к свободе в общении, столь естественной у меня дома на родине, в Гейдельберге. Только Хайдеггер показался мне не таким, как все. Мне очень понравилась его впечатляюще краткая манера высказываться.

Я никогда после этого не бывал во Фрайбурге— так получилось. Я пригласил Хайдеггера к себе. Он был столь любезен, что стал приезжать, как более способный к путешествиям. И если на протяжении многих лет между нами крепла и существовала живая связь, то основывалась она на его частых наездах к нам в Гейдельберг. Наши отношения, однако, так и остались замкнутыми в себе. Я не знакомил Хайдеггера со своими друзьями, кроме тех, кто случайно заглядывал ко мне во время его посещений. Он не знакомил меня со своими. Мы не намеренно вели себя так. Но все же в этом было что-то неладное — как будто мы оба не хотели допускать друг друга в свой собственный субстанциональный мир.

Когда Хайдеггер приезжал к нам, мы имели обыкновение работать, а несколько раз в день встречались и беседовали. Уже первые наши беседы воодушевили меня необыкновенно. Вряд ли кто-то способен представить себе то удовлетворение, которое я испытал от сознания, что могу серьезно разговаривать хотя бы с одним из представителей философского цеха.

Что же у нас было общего? Если мы на протяжении некоторого отрезка времени чувствовали, что идем одним путем, то это, как выясняется теперь, было, наверное, заблуждением. Хотя для меня это — никакое не заблуждение, а самая что ни на есть истина, в которой я не сомневаюсь и поныне. Было очевидно, что мы оба находимся в оппозиции к традиционной профессорской философии. Где-то в глубине наших душ жила уверенность, что в профессорской философии, в сферу которой мы оба вторглись, намереваясь преподавать и действовать, требуется произвести нечто вроде переворота. Мы оба чувствовали, что наша задача — обновление философии. Не всей философии вообще, разумеется, а той разновидности ее, которая в то время бытовала в университетах. Общей была и захваченность философией Кьеркегора.

Во время наших бесед больше говорил я. Наши темпераменты заметно различались. Хайдеггер был по природе молчун, и

поэтому мне иногда приходилось говорить чересчур много.

Порой случайные события наталкивали нас на новые философские мысли. Тогда, в середине двадцатых годов, в Гейдельберге была такая традиция — приносить мне, в прошлом — психиатру, ныне — преподавателю философии, те заумные письма, которые иногда приходили в ректорат и ставили в тупик его служащих. Так, однажды педель принес мне письмо от служанки из Франкфурта: «Хочется знать, может, есть что-то меньшее, чем ничто». Послание, написанное с орфографическими и грамматическими ошибками, содержало вопрос, возникший в состоянии страха и адресованный научным светилам: может, на самом деле этого ничто нет? У автора данного письма — заклинания, видимо, начиналась шизофрения. Написано оно было явно под влиянием мысли о смерти. Но способ выражаться был необычайно абстрактный. Я сразу рассказал об этом Хайдеггеру, бывшему у меня в гостях. Он отнесся к этому письму с совершенной серьезностью, как и я сам, чего не сделал бы ни один из моих коллег. Мы сошлись во мнении, для нас совершенно очевидном: иронические замечания педеля есть символ того, что мир ни о чем таком не догадывается и не подозревает.

В одном существенном вопросе я не оправдал ожиданий Хайдеггера уже в первые годы. Когда мы познакомились, как раз вышла в свет моя «Психология мировоззрений». Книга эта нашла широкого читателя, но у профессионалов признания не снискала. Риккерт раздраконил ее за те аспекты, освещать которые отнюдь не входило в мои намерения. Хайдеггер же прочел книгу необычайно основательно, признал новизну моего подхода, но в то же время более безжалостно, чем все остальные, поставил его под сомнение в своем критическом разборе, так и не опубликованном. Он дал мне рукопись. Критика показалась мне несправедливой; я прочел ее бегло и не вынес из нее никаких уроков. Я шел иными путями, и у меня не было желания отвечать на эту критику и втягиваться в полемику, дабы выяснить, чем различаются веление, вопрошание и требование. Ведь мне нелегко было делать все это тогда, когда мои философские усилия были лишь в самой первоначальной стадии, и я непроизвольно избегал того, что не давало им реальной пищи. Так я, вероятно, разочаровал Хайдеггера. Но сам факт его ознакомления, не столько во время критического разбора, сколько во время наших бесед, с содержанием книги, с позицией, в ней выраженной, — был для меня чем-то настолько позитивным, что я воспрянул духом.

Мною двигало стремление к четкости понятий. Старания, предпринимаемые ради того, чтобы придать философскому

мышлению строгость, были мне знакомы — я наблюдал их у Ласка и Риккерта. Но они казались мне искусственными и часто пустыми. Однако с тех пор как я— приблизительно в 1910 году — познакомился с Гуссерлем, эта работа стала мне импонировать. Хайдеггер, выходец из школы Гуссерля, что чувствовалось по его манере говорить и держаться, возобновил во мне это впечатление и даже усилил его. В Хайдеггере, своем современнике, я увидел нечто такое, что обыкновенно встречалось мне только в прошлом и что я считал безусловно необходимым для того, чтобы философствовать. Это был не то чтобы какой-то масштаб или образец, глядя на который я мог бы судить о собственной работе, — такого не мог мне дать ни один современник, в том числе и Хайдеггер.

Это была какая-то форма, ориентируясь на которую, я смог, идя собственным путем, общаясь с мыслителями древности, отыскать, по крайней мере для себя, возможный способ оформления того, что столь глубоко захватило меня, двигало мной с юных лет и для чего я не мог найти достойного языка, способного это выразить.

Благодаря Хайдеггеру я познакомился с христианской, в особенности с католической традицией мышления. Хотя я сталкивался с ней не в первый раз, здесь была необычайная свежесть восприятия человека, который всем существом своим принадлежит к этой традиции и в то же время преодолевает ее. Он одарил меня множеством самых разнообразных выражений, рассказов, указаний и намеков. Я вспоминаю, как он говорил об Августине, о Фоме Аквинском, о Лютере: он видел те силы, которые там действовали. Он указал мне ценную литературу, приобщил к некоторым местам в книгах, заслуживающим особого внимания.

В дни, когда мы были вместе — наверняка и, возможно, не только в эти дни, — между нами существовало чувство солидарности. Мы беседовали с чудесной раскованностью, которая позволяла сказать обо всем, что видишь. «Когда же вы, собственно, работаете?» — спросил он меня как-то. Вероятно, потому что наблюдал, как я поздно встаю, как много витаю в эмпиреях, лежа на софе. Он разругал мой стиль, недисциплинированность, мое многословие. Я в 1924 году изучал Шеллинга; он, воспитанный в атмосфере гуссерлевской научной философии, высказал свое пренебрежение: «Но ведь это просто литератор — не более того!». Но Хайдеггер не собирался наставлять меня на путь истинный, он признавал за мной свободу выбора собственного пути. Сдержанно и ненавязчиво поддерживая друг друга, мы оба заботились об этом.

То, что мы испытывали взаимную симпатию, подпитывали друг друга идеями, имели общие интересы, никоим образом не означало, что у нас было одинаковое понимание практических ценностей, того, что было самоочевидным для нас, того, на что мы опирались и чем руководствовались. Мы просто непроизвольно избегали думать об этом, хотя уже в первые годы с моей стороны бывали случаи удивительно резкого неприятия расхожих фраз и распространенных суждений. С самого начала в наших отношениях не было ни грана того, что называется увлеченностью. Некоторые обстоятельства, поступки и суждения примешивали в них что-то, заставлявшее сохранять дистанцию. Так что отношения между нами были неоднозначными, и лишь в прекрасные моменты бесед они на долгие часы становились чистыми и безоглядными.

Случались вещи, которые действовали на меня как ушат холодной воды. В 1923 году вышла в свет моя брошюра «Идея университета». Из Фрайбурга мне сообщили, что Хайдеггер заявил, будто бы это — самое незначительное из того, что сегодня есть незначительного. При очередном его визите я сказал ему, что наши отношения требуют полной взаимной откровенности. Я ни в коем случае не запрещаю ему высказывать свои суждения, но прежде чем мы будем говорить что-либо в таком роде другим, нам следовало бы без обиняков обсудить это между собой, как поступают порядочные люди. Хайдеггер определенно отрицал, что говорил нечто подобное. На это я сказал: «Ну, в таком случае я считаю, что ничего не было и инцидент исчерпан». Хайдеггера тронула моя реакция. Он сказал: «Ничего подобного я еще не переживал». Я так и не понял толком, что он имеет в виду.

Странно, однако, было то, что сплетни подобного рода продолжали возникать. Так, в том же 1923 году до меня дошло еще одно его высказывание: «Не можем же я и Ясперс быть соратниками». Оттого-то и возникло в наших отношениях что-то такое, что нельзя было объяснить внятно, нельзя было отбросить совсем, но и всерьез принимать не следовало. Тем не менее, настроение это портило. После 1933 года я, в свою очередь, тоже высказывался о Хайдеггере, не ставя его об этом в известность.

С самого начала я, сам не замечая того или не ломая особенно голову по этому поводу, просто не обращал внимания на вещи, представлявшиеся мне естественными, само собой разумеющимися, зато хорошо улавливал те тона, которые казались мне фальшивыми. Вероятно, так же было и у Хайдеггера в отношениях со мной. Если он стал мне близок благодаря способности, проникая взглядом за все покровы условностей,

видеть вместе со мной беды и недуги, крайности и пределы, то отдалял его от меня способ, которым он постигал их. Я видел его глубину, но с трудом переносил нечто другое, что плохо поддается определению. Он напоминал мне друга, который изменяет тебе в твое отсутствие, но бывает незабываемо близок в те моменты, когда вы вместе. Мне казалось порой, уж не сидит ли в нем какой-то демон, о котором он сам не подозревает, и я, чувствуя симпатию к существенному в нем, заставлял себя не обращать внимания на неприятные моменты.

За эти десять лет во мне еще более усилилось это противоречие симпатии и отчуждения, противоречие между восхищением его возможностями и неприятием непостижимого сумасбродства, между чувством нашего единства в том, что касалось основы философствования, и ощущением, что отсюда проистекает его иная, весьма далекая мне позиция.

В последующие годы атмосфера во время визитов Хайдеггера, кажется, изменилась. Раньше он приезжал настроенным беззаботно и с искренним расположением ко мне, что проявлялось в первую же минуту встречи. Теперь он стал приезжать сумрачным. Через день — два все это полностью исчезало. Снова устанавливалась атмосфера доверия, открытого, чистосердечного, непринужденного, интересного для обоих разговора — так мне казалось тогда и кажется еще сегодня. Первоначальная неловкость как бы улетучивалась при нашем общении, лед отчуждения таял.

Выход в свет «Бытия и времени» Хайдеггера (1927) не углубил наших отношений — скорее, наоборот. Но тогда я просто этого не заметил. Я отреагировал на это событие точно так же, как несколькими годами раньше — на его критику моей «Психологии мировоззрений»: все это не вызывало у меня подлинного интереса. Еще в 1922 году Хайдеггер прочитал мне несколько страниц из тогдашней своей рукописи. Прочитанное осталось мне непонятным. Я всегда требовал естественного способа выражаться. Хайдеггер сказал как-то позже, что с тех пор ушел далеко вперед: переделал то, что было, и получилось нечто. О содержании книги, вышедшей в 1927 году, я до этого ничего не знал. Теперь передо мной было произведение, впечатлявшее прежде всего интенсивностью разработки тем, конструктивностью понятийного аппарата, меткостью нового словоупотребления, часто вызывавшего подлинные откровения. Но, несмотря на блеск в книге модного анализа, она, на мой взгляд, не давала ничего из того, к чему я стремился в философии и что я хотел получить от нее. Я радовался достижению человека, связанного со мной, но читать книгу у меня не было никакого желания, я часто увязал в

ней, как в болоте, потому что ее стиль, содержание, манера мышления автора мне не импонировали. Я также не воспринимал книгу как что-то такое, о чем мне следовало полемизировать, развивая какие-то идеи. В отличие от бесед с Хайдеггером, книга его ни на что не натолкнула меня.

Хайдеггера, должно быть, разочаровала моя реакция. Я, имеющий большой стаж занятий философией, не оказал ему услугу, основательно прочитав книгу и подвергнув ее критическому разбору так, как он, совсем молодой, сделал это с моей «Психологией мировоззрений». Понятно, что и он со своей стороны уже не проявлял подлинного интереса к моим последующим публикациям. Если людей связывало что-то до выхода их произведений, они порой бывают склонны уделять этим произведениям меньшее внимание, чем своим отношениям. Им кажется, что когда хорошо знаком с человеком, вовсе не обязательно читать его работы основательно, от корки до корки. Но здесь дело было не только в этом. Скорее всего, в наших произведениях явственно выразилось скрытое отчуждение между нами.

Мое отношение к этой книге и к самому Хайдеггеру было продолжением той неопределенности или неоднозначности, которая с самого начала присутствовала в зародыше в наших отношениях. Поскольку в предшествующие годы меня сопровождало сознание того, что мы — вместе, я ожидал и от книги, что смогу почувствовать в ней нечто, лежащее на том пути, по которому иду и я. Такого не произошло, но я не отказался от этого ожидания. Я был недоволен тем настроением, которое отразилось в книге. Порой я выражал это в вопросах к Хайдеггеру, типа таких: «Что происходило в вас самом, когда вы создавали эту книгу? Это что — сумма интеллектуальных проникновений в реальное положение вещей или выражение какого-то импульса экзистенции? и какое воздействие на читателя должна оказать эта книга при ее изучении?». Я хорошо помню, как задавал эти вопросы в мансарде своей квартиры, но не припомню, чтобы Хайдеггер ответил на них.

В другой раз я сказал, памятуя, что мнения о наших коллегах у нас часто совпадали: мне удивительно, что он ссылается на профессоров — как будто они не обсуждают совершенно иные проблемы, чем он. Посвящение его первой книги Риккерту, а второй — Гуссерлю, по — моему, указывало на его связь с людьми, о которых он говорил мне с презрением. Он подавал себя так, будто традиционно принадлежит миру, которому мы противостояли. На что он ответил: «Зато они традиционны в своей фактической философии».

Для меня с давних пор и по сей день решающим был вопрос: на какие пути направляется мышление, какие мотивы оно будит в читателе, на что подвигает, для чего дает силы, а что заставляет исчезнуть и забыться? Я так и не решил, что же в этом смысле, собственно, значит книга Хайдеггера. Она не стала для меня ясной. Я оставил то, что никак не способствовало моему развитию, и продолжил работать над собственными опытами.

Такая позиция по отношению к Хайдеггеру, постоянное откладывание попытки разобраться в нем и в его мышлении, моя готовность не замечать его промахи, ленца, заставлявшая медлить с настоящей критикой, — все это не могло продолжаться по- прежнему после 1933 года, когда наша жизнь целиком изменилась, властно потребовав — с тех пор и по сей день, — чтобы каждый дал себе отчет, а значит, и ясно осознал, что и ради чего он намерен думать и делать.

В конце марта 1933 года Хайдеггер в последний раз приехал надолго. Несмотря на победу национал — социалистов на мартовских выборах, мы беседовали совсем как прежде. Он купил мне пластинку грегорианской церковной музыки, и мы слушали ее. Уехал Хайдеггер раньше, чем собирался поначалу: «Надо включаться», — сказал он, имея в виду быстрое усиление национал- социализма. Я удивился и ни о чем не спросил.

В мае он был у нас последний раз — приезжал делать доклад студентам и преподавателям как ректор Фрайбургского университета. Председатель гейдельбергской организации студентов Шеель приветствовал его как «камрада Хайдеггера». Это был мастерский доклад — по форме, а по содержанию — программа национал — социалистического обновления университетов. Он требовал тотального преобразования духа. Профессора, находящиеся сейчас в должности, не способны, как он сказал, выполнить новые задачи. Но за десять лет будет воспитано новое поколение способных доцентов. Им мы и передадим свои посты. А до этого будет переходный период. Он негодовал по поводу многих явлений в университетской жизни, в том числе по поводу высоких доходов преподавателей, и удостоился овации студентов, а также некоторых — немногочисленных — профессоров. Я сидел в первом ряду, с краю, вытянув ноги, засунув руки в карманы, и не шевелился.

Разговор, который состоялся между нами потом, не отличался откровенностью. Я сказал ему, что все ждали слов о нашем университете, о его великих традициях. Ответа не последовало. Я заговорил о еврейском вопросе, о зловещей фальшивке — «Письмах сионских мудрецов» — совершенно бредовых, на что он сказал: «Все-таки существуют опасные

международные связи евреев». За столом он заметил несколько рассерженным тоном, что развелось слишком много профессоров философии и что во всей Германии было бы достаточно двух или трех. «Каких же?» — спросил я. Никакого ответа. «Как может управлять страной такой необразованный человек, как Гитлер?» — «Образование тут совершенно безразлично, — ответил он. — Лучше посмотрите, какая у него чудесная рука!»

Хайдеггер, кажется, совершенно переменился. Уже по приезде возникло сильное отчуждение между нами. Национал- социализм стал для населения чем-то вроде опиума. Я поднялся к Хайдеггеру в его комнату, чтобы поздороваться. «Все, как в 1914 году… — начал я и хотел было продолжить: — Опять это массовое опьянение!», но эти слова застряли у меня в горле, когда Хайдеггер радостно закивал в ответ. Такое крайнее непонимание необычайно сильно задело меня. Еще больше убило меня то, что Хайдеггер так ничего и не заметил. С 1933 года он больше не приезжал ко мне и не нашел ни слова поддержки, когда меня лишили должности в 1937 году. Но, как я слыхал, еще в 1935 году он говорил на одной лекции о «своем друге Ясперсе». Я сомневаюсь, что он сознает произошедший разрыв и сейчас.

Я был в недоумении и растерянности. До 1933 года Хайдеггер ничего не сообщал мне о своих симпатиях к национал-социализму. Иначе бы я, по крайней мере, откровенно поговорил с ним. В последние месяцы перед 1933 годом он приезжал редко. Теперь же было слишком поздно. Я уже никак не мог повлиять на Хайдеггера, который сам поддался опьянению. Я не стал говорить ему, что он на ложном пути. Я уже не доверял ему — настолько существенно он переменился. Я ощущал угрозу себе, исходящую от той силы, к которой теперь принадлежал Хайдеггер, и вспомнил, как это бывало не раз в жизни, об осмотрительности, к которой призывал Спиноза.

Обманулся ли я во всем том позитивном, что было между нами? Был ли я сам виноват в том, что, основываясь на этом позитивном, не искал с ним решительного спора? Может, перед 1933 годом была доля и моей вины в том, что я вовремя не разглядел опасности и недооценил серьезность угрозы национал-социализма, хотя Ханна Арендт еще в 1932 году сказала мне достаточно ясно, к чему идет дело?

В мае 1933 года Хайдеггер уехал от меня в последний раз. Мы больше не виделись. В годы национал — социализма мои мысли часто обращались к той духовной реальности, которая была связана с именем Хайдеггера. Став национал — социалистом и занявшись общественной деятельностью, он, неожиданно для меня, превратился в идейного противника. Он,

казалось, не отдавал себе в этом отчета, хотя и признал косвенно — тем, что с 1933 года перестал навещать меня. Его образ — из прошлого — живо стоит у меня перед глазами и до сих пор незабываем. О том, что мы писали друг другу, о заключении, которое я давал о нем в 1945 году, и о многом другом еще я не хочу говорить. Скажу лишь то, к чему я пришел в раздумьях о нем.

Когда я размышляю о Хайдеггере, то вижу два аспекта, которые следует разделять: действительное отношение Хайдеггера ко мне и тот образ Хайдеггера, который сложился в общественном мнении. Второе оказывает влияние на первое. Образ Хайдеггера в общественном мнении, представление о пройденном им пути, на котором он сделался влиятельным мыслителем, отклики, в которых нас порой сравнивали и ставили наши имена рядом, — все это одновременно оказывало влияние и на наши с ним встречи. Вероятно, влияние общественного мнения на перспективы развития наших отношений оказалось не лучшим; что-то исказило, привнесло что-то такое, чего раньше в них не было. Приблизительно в 1937 году мы, не сговариваясь, направили в Париж Жану Валю, организовавшему дискуссию, письменные выступления, в которых оба опровергали представления об общности наших взглядов.

Общественное мнение творит свои призраки — такие, как ныне созданный призрак экзистенциализма. Взяв то, что было сделано Сартром, оно подвело под эту рубрику учения всех других, кто говорил об экзистенции и указывал на связь своих идей с идеями Кьеркегора. Гипнотическая сила этого призрака оказалась настолько велика, что доценты философии написали книги о чем-то таком, что представлялось им единым целым, успели рассмотреть это что-то в историческом его становлении и отыскали его предпосылки, существовавшие на протяжении многих веков. Мне это было совсем не по нраву, как, видимо, и Хайдеггеру. Собственному нашему сознанию навязывалось нечто чужое.

Когда я говорю о Хайдеггере, мне приходится игнорировать все это. У меня к нему как философу было свое, личное отношение. Оно имело весьма мало общего с тем, что говорилось при обсуждении наших произведений и наших персон.

Только такая дружба, в которой нет места замыканию в себе, скрытности, в которой четко определены элементарные понятия о подлинном и ложном, в которой сохраняется верность друг другу в слове, в мыслях, в деле, позволяет обрести солидарность, способную выдержать давление общественного мнения. Никто из нас двоих не может поставить в вину другому, что такой дружбы

между нами не сложилось. Результатом стала неопределенность и неоднозначность возможностей.

То, что с Хайдеггером смогло произойти случившееся с ним в 1933 году, ставит новые вопросы. Нас сделали противниками не книги, а поступки. Но философские мысли нужно понимать во взаимосвязи с поступками того, кто мыслит.

Теперь передо мной с необходимостью встал вопрос, никогда не возникавший до сих пор: нет ли в мышлении Хайдеггера чего-то такого, что могло бы представиться мне враждебным той истине, которая была мне доступна? Раньше я ощущал если не общность основы, то, по крайней мере, близость путей. Теперь же, признав неотделимость мышления от практической реализации этого мышления, я вынужден был полагать, что и в философии он выступает как противник того, что пытался утвердить я. Но полной ясности тут не было. Скорее, вопросы так и остались без ответа, хотя были жгучими. Может ли существовать философия, которая истинна как произведение мысли, но функция которой в практическом бытии мыслящего неистинна? Как мышление соотносится с практикой? Что, собственно, такое есть Хайдеггер и как он себя ведет?

Вместо того, чтобы отвечать на такие вопросы, а стало быть, вместо того, чтобы заниматься критическим разбором философии Хайдеггера, здесь и подавно не уместным, я ограничусь прояснением той позиции, которую отстаивал до сих пор.

Если мне не изменяет память, «Бытие и время» Хайдеггера дважды становились предметом краткого рассмотрения в моих работах. Что я там написал — сейчас неважно. Разрыв между нами чересчур серьезен, чтобы еще сохраняли какое-то значение критические замечания по тому или иному конкретному поводу или по поводу понятийных конструкций. Важнее другое: я почувствовал глубинное недоброжелательное соперничество, какое мне доводилось ощущать уже давно в других реальностях моей жизни — мне уже встречались люди, испытывавшие неуловимое недоброжелательное соперничество, но не осознавали его как таковое, не признавались в этом себе самим, не выражали его в явной форме, а удивительным образом вели себя так, будто ничего подобного просто не существует. Однако в конкретных ситуациях они поступали так, что ставили перед выбором: либо не принимать этого всерьез, либо позволить втянуть себя в борьбу — так, что будешь чувствовать себя в каком-то смысле предателем самого себя.

В отношениях с Хайдеггером я не сделал ни того, ни другого. Я из года в год откладывал решение. Вплоть до сегодняшнего дня у меня еще сохраняется внутренняя готовность к чему-то,

основанная на мгновениях, пережитых в двадцатые годы. Я не могу сказать «нет» человеку, которому некогда говорил «да», поскольку — убежден — сохранилось то, что я когда-то чувствовал. Но я не могу и закрыть глаза на существенное, проявив чисто внешнее, общепринятое дружелюбие, и сделать вид, что забыл прошлое (кроме тех случаев, когда возможно вместе выяснить все до самого конца и примириться совершенно). С Хайдеггером такое было бы невозможно — это просто не отвечало бы масштабу его личности и стало бы предательством того, что некогда было.

Я принужден отмести одно недоразумение, которое время от времени всплывает. В моих произведениях я даю много характеристик, не называя имен. Они, правда, основаны и на наблюдениях за современниками, но я не называл их, если оказывалось, что идеально — типическая характеристика переставала соответствовать исходному пункту в реальности, с которого начиналось формирование представления о нем: например, реально существовавшему элитарному кружку деятелей образования, национал- социализму, знахарству в медицине и в антропософии. Иногда такие характеристики считали намеками на Хайдеггера. И совершенно безосновательно: ведь Хайдеггер не принадлежал ни к образовательной элите, ни к заурядному национал — социализму, ни к числу шарлатанов, пропагандировавших медицинские «спасительные» учения. Хотя опять-таки возникает вопрос: неужели же в нем было нечто такое, что дает повод критикам моих произведений относить эти характеристики к нему?

Работая над книгой «Об истине», я время от времени размышлял о Хайдеггере, и это имело свое значение. Когда в двадцатые годы я писал свою «Философию», все было иначе. Тогда я ощущал какую-то связь с ним, хотя его взгляды и не определяли моих, а при выработке собственного философствования я вовсе не думал о его философствовании. Теперь же я стал его открытым и принципиальным противником — в той действительной сфере жизни и действий, где философия, выраженная в книгах, представляет собой лишь функцию. Но я еще ни разу не доходил до критики Хайдеггера по существу — потому, что эта философия занимала меня, тем более тогда, когда мы общались уединенно, сокрытые от общего внимания.

Поэтому лишь среди абстрактных планов, воплощения которых в действительность я пока не предвижу, существует такой замысел: предпринять попытку критики учения Хайдеггера как факта духовной жизни, оказавшего влияние на современников. Однако такая попытка предполагает ясное

представление о возможностях философской критики вообще. Это — чрезвычайно важная и крайне деликатная проблема для философии, ищущей коммуникации. Это — вопрос об осмысленном споре в философствовании, который, как мне кажется, по сей день не поставлен достаточно ясно, не говоря уже о том, что на него не дано ясного ответа. Я очерчу эту проблему в нескольких тезисах.

1. Вопрос заключается в том, возможны ли существенная критика и полемика в подлинной философии вообще или здесь остается только молча принимать все, как это происходит с поэзией. Последняя, конечно, эстетически анализируется, критики сопоставляют ее с нормами эстетики, ее толкуют, и она становится при этом доходчивее, но не допускает никакого спора с собой. Самое главное тут — то мерило, которое определяет все, и оно таково: поэзия истинна и хороша, когда окрыляет человека; она ложна и плоха, когда лишает его крыльев, заставляет поникнуть. Коли так, то применительно к философии важно было бы поставить следующие вопросы: пробуждает ли она возможную экзистенцию, побуждая ее перейти в действительность; не порождает ли она искушение уйти от действительности; показывает ли она истину, которая становится обязывающей; не является ли она мышлением, которое экзистенциально ничтожно?

Философия — не как знание о чем-то, не как творение некоего произведения, созданного искусством мысли, а как нечто, существующее раньше этого, еще в самом мышлении, — это созидание сущности мыслящего человека, который творит себя сам благодаря соприкосновению «с иным», с трансценденцией.

2. В этом мышлении существенного или внутреннем действии, как в первопричине, побуждающей сообщать философию, также являют себя некие влиятельные силы. Обретая язык в философии, эти силы узнают себя в языковом воплощении, притягиваются и отталкиваются, играют с нами в прятки и соблазняют нас. Мы, разумеется, желали бы увидеть их непосредственно. Но это — невозможно. Ведь мы, совершая каждый шаг в своем мышлении, продолжаем принадлежать им и никогда не выходим за их пределы. Мы сами служим этим силам, не имея возможности окинуть взглядом мир этих сил.

«Мир этих сил» — лишь условное выражение, призванное указать на то, о чем могла пойти речь при подлинной критике философской действительности в произведениях.

Если мы устремляем взгляд на сами эти силы, то уже больше не смотрим на какой-либо возможный предмет. Стремление обрести такой взгляд означает, скорее, лишь поиск пути, выводящего сквозь область предметов дальше, за ее пределы, к

первоистоку их помысленности и действительного бытия их в этих силах. В таком случае было бы чересчур близоруко считать, что в открытиях, сообщаемых философами, уже можно постичь сами эти силы. Ведь открытия, высказанные философами, — это лишь то, что находится на переднем плане. Если я полагаю, что эти открытия — как нечто такое, что может быть высказано непосредственно — и есть конечный результат, то я сам лишаю себя возможности увидеть существенное, сам закрываю его от себя пеленой, завесой.

Суть дела заключается в том, чтобы усмотреть в высказанных открытиях философов то, что как раз и не поддается непосредственному усмотрению. Но спрашивается: как тут возможна критика, как возможно какое-то признание и одобрение, коль скоро речь идет не о предметно — схватываемом, а о самой философии как языке этих сил?

3. Ведя разговоры друг с другом, мы исходим из молчаливого — однако обманчивого! — допущения, что существует некая общая для нас тема: так сказать, само дело философствования, некий объективный философский мир истины, к которому причастен, сотрудничая с другими, каждый из нас, философов, кто бы он ни был и о чем бы ни размышлял. Сделав такое допущение, мы далее обращаемся к тому, какова ситуация, подвергаем в форме научной дискуссии критическому разбору те или иные тезисы или логические рассуждения. Это действительно имеет смысл, но тут все ограничено рациональной объективностью, поскольку она представляет собой необходимую и неизбежную среду, в которой только и возможно вести любой разговор. Такая критика, пусть даже и остающаяся на поверхности, все-таки должна стать поистине тем средством, через посредство которого смогут заявить о себе силы более глубокие. Как, спрашивается, если не выстраивая аргументацию, не обсуждая те или иные вещи, не поступая в согласии с формами научной дискуссии, было бы возможно указать на эти глубинные силы и поставить вопросы, их касающиеся? Как было бы возможно продемонстрировать выводы, показать не только мысли, но и все внутреннее построение, все последствия — тем, кто, соглашаясь и принимая, идет вместе с тобою по этому пути? Как дать понять и как сделать очевидным для других, каким образом мысли становятся подготовкой к чему-то иному?

Дискуссия, которая так и останется только на поверхности, может незаметно превратиться в занятие глупое. Ее участники начинают дурачить сами себя. Вначале даешь втянуть себя в область научной дискуссии — предполагая, что есть некая общая научная философия, к которой вы вместе причастны. Затем все

сводят к сплошным деталям, к мелочам, к несущественному; и, уйдя от сути дела, сам не замечая того, ты уже признаешь истинным то, что отстаивает в споре твой оппонент.

Тем не менее, такие дискуссии, касающиеся лежащего на поверхности, на переднем плане, неизбежны и необходимы. Однако они впечатляют в философском отношении лишь тогда, когда оказываются вовлеченными в этот более глубокий спор сил, становясь языком, их выражающим, их способом сказать о себе.

Примечательна сама картина, которую представляют собой публичные философские дискуссии. Во многих случаях критикующий явно прикован к своему противнику, и тем больше, чем больше тот является творческим философом — в силу того, что первый из них незаметно дает увлечь себя на накатанный путь, которым движется мысль его противника. Так часто бывало с критикой Гегеля у гегельянцев и антигегельянцев. Критика такого рода сама по себе несущественна, как ни интересна она была бы с точки зрения историко — философской — ведь у нее нет подлинного противника. Она идет тем же путем, что и ее мнимый оппонент, находится в тех оковах, в которые он ее заковал, она вовлечена в тот же стиль мышления и невольно оказалась в плену, сама того не сознавая. В таком случае дискуссия — мнимая, сколь ни резки возражения. По существу дискуссия и не начиналась. Оказавшийся в плену, беспомощно барахтаясь, пытается вырваться, освободиться, но — напрасно.

4. Нечто глубинное, та подлинная философская сила, то, что ощущается или не ощущается, то, что противится всякому рассудочному познанию, то, что единственно значимо и действенно в духовном даровании и являет себя в виде этого дарования, — все это ставит в первую очередь вопрос: а есть ли оно вообще или его нет? Иными словами, есть ли это нечто или оно — только колдовское наваждение? Затем возникает второй вопрос: что это за сила или что это за силы столь властно заявляют о себе? Ответить на этот вопрос никогда не удастся окончательно. Возможно, эту силу удастся как-то охарактеризовать, соприкоснуться с ней, противясь ей или принимая ее. Но приблизиться к ней вплотную, так сказать, увидеть ее лицом к лицу, не подводя ее под родовое или типологическое понятие, — вот в чем состоит задача.

Спор такого рода имеет смысл лишь тогда, когда задаваемые в ходе его вопросы уходят вглубь, до самых корней, и идет поиск таких мыслей, в которых высвечиваются идущие из глубины исходные, изначальные мотивы. В таком случае рассмотрение тех или иных помысленных оппонентом фактических проблем научит видеть то, что значимо не само по себе, а выступает как знак,

симптом, символ философского стремления к сущности.

Реализовать все это как общезначимое познание — невозможно. Как ни очерчивается и ни высказывается искомое, оно — и это отмечает критика — опять-таки выступает как тенденция, происходящая из собственной первопричины, являющая себя в различных стилях мышления, однако она сама, в свою очередь, подлежит рефлексии и становится вопросом.

Борьба этих сил обнаруживает себя в философски мыслящей жизни. Однако мы не вправе забывать, что никто не видит этот мир весь — как некий организм, в котором противоборствуют изначальные силы истины, и никто не познает — в каком-то окончательном всеобщем знании — все отличие этого мира от человеческого существования, от возможной экзистенции, от разума, от действительности разрушающих себя сил неистинности или сил зла. Все это в целом есть картина того, где мы пребываем, того, откуда мы никоим образом не можем выйти наружу, действительно окинув все это взглядом извне.

5. Если взор устремлен на эти изначальные силы, то он ищет что-то такое, что воплощается как в деле мышления, так и в содержании помысленного. То, что пытаются найти, ставя вопрос таким образом, — это всеобщее, проявляющееся в самом что ни на есть личном.

Поэтому следует, коль скоро речь идет о критике, брать не только философствование, но и самого живого человека в его фактичности. Это неизбежно и необходимо с того момента, с которого содержание философии уже не может рассматриваться как нечто, поддающееся научному исследованию, как некие научные знания, прогрессивно возрастающие с каждой эпохой благодаря открытиям и доказательствам. Но в то же время границу и меру для критики устанавливает сознание того, что не осознается достаточно ясно и чего не придерживаются достаточно строго: в столь же малой мере, в какой можно увидеть всего человека в целом и познать его, можно увидеть целиком и познать мыслителя — философа с его произведениями. Можно проникнуть в мышление философа, но нельзя обозревать все его в целом. Можно поставить какие-то вопросы, усомниться в чем-то, однако нельзя подвести какой-то окончательный итог, составить калькуляцию.

При попытке философской критики, доходящей до первооснов, там, где такая критика, как кажется, достигает убедительности, граничащей с принуждением (на самом деле она не может все-таки достигнуть этого никогда), может возникнуть возражение, разом аннулирующее всю попытку критики в целом. Собственно говоря, это возражение касается только

современников и лишь потенциально — тех, кто уже отошел в мир иной. Оно гласит: невозможно требовать от оппонента, чтобы он прыгнул выше головы, полагая, что он способен постичь что-то, парализующее его собственную творческую силу. Гете однажды сказал: нельзя идти на то, что противоречит условиям твоего собственного человеческого существования.

В ответ на возражение такого рода следовало бы сказать: самое великолепное в философствовании — именно то, что такое возражение имеет значение здесь, и только здесь. Ведь философствующий страстно стремится к постижению всего, что только возможно. Для него дух и его творческая сила — лишь инструмент, но не самоцель. Философствующий всегда знает, что этот инструмент работает тем лучше, чем более он захвачен порывом, заставляющим его стремиться к истинному. Поэтому философствующий ищет как раз самых крайних критических возражений.

Я не мог мимоходом ставить все эти вопросы, обрисованные здесь в самых общих чертах, применительно к мышлению Хайдеггера. Я не смог бы довольствоваться чисто рассудочными аргументами. Скорее, это была бы критика, обращенная к современнику, но проводимая так, как мы привыкли рассматривать творчество философов прошлого — обращаясь к ним, но не рассчитывая на ответ. Я не стал начинать такую критику в этой философской автобиографии. Я лишь вспоминал здесь о тех десятилетиях, касаясь не произведений Хайдеггера, а того, что происходило между мною и им, того, что мы думали и делали. Быть может, это даст что-то существенное и для критического разбора его произведений. Философская же критика, которой доныне я занимался лишь неявно, время от времени делая заметки, имела бы, возможно, смысл, если бы отвечал партнер. Что же, пока мы живы, возможно всякое. То, что было между мною и Хайдеггером начиная с 1933 года, и то, что есть сегодня, как мне кажется, не нашло своего завершения. Я не могу просто поставить на этом точку.

11. Теология и философская вера

Когда я начал заниматься философией, мне и в голову не могло прийти, что меня когда-нибудь сможет заинтересовать теология. В 1916 годуя читал психологию религии, и мне, разумеется, приходилось вдаваться в вопросы теологии; я изучал для информации «Догматику» Мартенса (тем более что тот был большим противником Кьеркегора). Но глубоко все это меня не затронуло.

В детстве я был мало связан с церковной религией. В школе был урок религии, преподавались библейская история, катехизис, история церквей. Представления обо всем этом невольно откладывались в детской душе и, хотя не оказали особого влияния сразу, все же не забылись. Когда пришло время конфирмации, она состоялась как простой обычай — религиозный характер обряда не подчеркивался. Был просто праздничный день, в который мне подарили чисто светские подарки. Уроки для тех, кому предстояла конфирмация, воспринимались нами как развлечение и повод повеселиться (священник описывал географию ада; наделенный буйной фантазией, он рассказывал, как Римский папа каждый день отправляется посмотреть, сколько накоплено золота; он утверждал, что факт отсутствия столкновений звезд доказывает божественное руководство миром; заявлял, что мы стали блаженны потому, что Христа распяли на кресте и т. п.).

– Мои родители игнорировали мир церкви. Атмосферу в доме я могу описать так. Будучи старшеклассником — прошло несколько лет после конфирмации — я пришел к мысли, что мне следует, если я хочу быть честным, выйти из лона церкви. Когда я сообщил о таком намерении отцу, он сказал примерно следующее: «Мальчик мой, ты, конечно, волен поступать, как пожелаешь. Но тебе еще не вполне ясен смысл того, что ты собираешься сделать. Ты не один на свете. Ответственность людей друг перед другом требует, чтобы отдельный человек не выбирал свой путь наобум, как ему только вздумается. Мы сможем жить, сосуществуя с другими, лишь в том случае, если будем соблюдать общепринятые порядки. Один из таких порядков устанавливается через посредство религии. Если мы разрушим его, неизбежно случится зло. В том, что с церковью, конечно, связано много лжи, как, впрочем, и со всеми человеческими учреждениями, я с тобою согласен. Вероятно, все будет обстоять иначе, когда ты доживешь до семидесяти лет. Перед смертью, когда мы уже отходим от активной деятельности в мире, мы

вправе избавиться от всего лишнего, выйдя из лона церкви».

Когда мой отец перешагнул рубеж семидесятилетия, он и в самом деле покинул лоно церкви. Он попросил в церковном управлении решить это дело без широкой огласки. Несколько дней спустя пришел священник. Мой отец сказал ему: «Для нас обоих, господин пастор, было бы лучше, если бы мы не стали обсуждать этот шаг. Мои обоснования, возможно, оскорбят вас. Решение мое окончательно». Пастор стал настаивать, требуя у отца объяснений. На что тот сказал: «Я стар и навожу перед смертью порядок в делах. Я редко принимал и одобрял то, что делает церковь. Приведу только один пример. Недавно один молодой человек лишил себя жизни. Церковь публично осудила самоубийство, пастор отказал в христианском погребении. Я подумал: а кто дал вам право на такое осуждение? И как вы можете, не в состоянии уже добраться до покойного, так мучить его близких? Вы поймете, господин пастор, почему мне хотелось бы, чтобы о моем выходе из лона церкви не сообщали публично. Для других это событие не должно иметь никакого значения». Нам же мой отец сказал, что ему доводилось слышать так много бестактностей в надгробных речах пасторов, что он желал бы избавить от этого своих близких во время своих похорон.

Когда мой отец умирал на девяностом году жизни и прощался с близкими, он ответил на слова своей знакомой, набожной женщины — врача, сказавшей: «Вера, надежда, любовь», так: «Веру я ставлю не слишком высоко».

Еще после Первой мировой войны у меня не было никакого интереса к теологии. Поскольку теология не была научным историческим исследованием, которое по праву могло бы найти свое место и на философском факультете, она казалась мне столь шаткой, что, пожалуй, могла расцениваться как один из симптомов времени, но меня лично она затрагивать не могла.

С годами не обращать внимания на теологию стало просто невозможно. Реальное ее повсеместное существование постоянно давало о себе знать. В один прекрасный день я даже осознал, что говорю о вещах, на которые заявляет свои претензии теология. После одной из лекций по метафизике (1927/28 годы) в конце семестра ко мне пришел католический священник, чтобы поблагодарить как слушатель и выразить согласие с моими мыслями: «У меня только одно возражение: большинство из того, о чем вы читали лекции, по нашему мнению, относится к теологии». Эти слова умного молодого человека, который произвел на меня большое впечатление, озадачили. Мне стало ясно: я говорю о вещах, которые остальные считают относящимися к сфере теологии, не так, как теолог — я

философствую, и это требовалось прояснить окончательно.

Занимаясь философией, нельзя не обращать внимания на реальное существование церкви и теологии. Мы мыслим, черпая из собственного источника, который не признается церквями и сам по себе не имеет никакого отношения к церквям. Этот источник нужно было осознать, и хотя церкви и отрицают его, он должен утвердиться как истина. Осознание того, что философия была на протяжении тысячелетий самостоятельной силой, задолго до возникновения христианства, а затем — вне его, все более крепло во мне и обретало все более решающее значение. Я противостоял церкви и теологии не так, как просветители — чтобы отрицать их, а как служитель этой великой самостоятельной истины. Я, правда, хотел быть членом христианской общины — в соответствии со своим историческим происхождением, принимая во внимание те великие силы, которые поддерживают строй западной жизни. Но я должен был утвердить смысл философии — он виделся мне в том, чтобы давать основу для жизни. Этот смысл никого ни к чему не принуждает, он не может быть объявлен общим для всех, однако его суть следует показать каждому, кто рожден для него и ищет его, следуя движениям своей чистой души.

Впервые мне пришлось затронуть проблемы теологии в своих историко — философских лекциях — обойтись без этого было невозможно. Но тогда я говорил не о чем-то таком, что было мне известно с детства, с чем я вырос, а о том, к чему пришел лишь благодаря занятиям философией, испытывая удивление, захватывающий интерес, вызванный этим мощным феноменом, — интерес тем больший, чем ближе с этим феноменом знакомишься. У меня совершенно отсутствовало специфическое церковное вероисповедание, и я так никогда и не почувствовал нужды преодолеть это. Если Кьеркегор говорил, что он верит потому, что так наказывал ему отец, то мой отец говорил мне совсем другое. Философская вера была вполне осознана мною лишь много позже. Никто не учил меня молиться. Но наши родители воспитывали нас в строгости и почтении. Главными принципами в этом воспитании были правдивость, верность, постоянная деятельность, наполненная смыслом, а также свободное влечение к великолепию природы и к богатству содержания творений человеческого духа. Благодаря родителям мы выросли в мире, который был полон и прекрасен.

Когда в 18 лет я стал студентом, мне захотелось послушать лекции по философии. Я был разочарован, потому что не нашел того, основа чему была заложена в родительском доме. Испытывая благоговение перед той далекой философией,

которую дал мне смутно почувствовать Спиноза, но которой я еще не знал и не в состоянии был терпеть ее подмены всякими учеными подделками, я обратился к реальности, занявшись изучением медицины. А когда потом пришел, шаг за шагом, к философии — собственно, возвращаясь к ней, — и в конце концов соприкоснулся с теологией, пусть даже только внешне, то, возможно, свежесть восприятия была обеспечена именно тем, что я не был причастен к этому с самого начала. У меня не было некоей опоры из самоочевидного, на которой основывались, как им казалось, другие. Была иная, более глубокая для моего сознания почва, опираясь на которую, я пришел к традициям, заложившим исторический фундамент Запада.

Мощный импульс, обративший меня к решению вопроса о вере, исходил от моей жены. Она довольно рано, не испытывая настоящего духовного перелома, превратила в себе ортодоксальную иудейскую веру в философствование, основанное на Библии. На протяжении всей жизни она испытывала благоговение перед религией. Где бы она ни встречала проявление веры, она относилась к нему с глубоким уважением. «С тех пор, как Гертруд пришла к нам, — сказал однажды мой отец, — Рождество у нас с каждым годом становится все более христианским». Жизнь этого человека, в которой не было догм и законов, с детства проникнутая тонким пониманием мысли еврейских пророков, привела к непоколебимой нравственной независимости. Я почувствовал родство душ и ее поддержку, позволившую вполне осознать то, что оказывало свое действие под покровом рассудка, но оставалось сокрытым.

Присоединение философии к изначальной способности к вере — не только в себе самом (для меня это всегда было само собой разумеющимся), а в публичном преподавании философии для меня всякий раз было делом крайне необычным. Это было невиданное притязание, разделить которое не могли другие. В 1949 году в Женеву были приглашены, чтобы провести беседы о гуманизме, представители коммунистов, католической и протестантской теологии, а также философы. Я воочию убедился, что все другие могли говорить как представители мощных социальных сил, стоящих за ними, что они обретали опору и уверенность от этих сил, тогда как представитель философии не имел за собой ничего, кроме истории философии — единственно великой в духовном плане, однако не имеющей никакого веса в социаль — ном отношении. Когда мне пришлось выступать, по сути, в совершенном одиночестве, не ощущая никакой социальной опоры, мне показался самым животрепещущим вопрос, который я задавал себе уже давно: мы, представители

философии, имеем столь ясные убеждения, так отчего же мы делаем нечто абсурдное, иллюзорное — не от бессилия ли?

Мне удалось восстановить душевное равновесие в этой ситуации, во — первых, опять-таки практически постигая принципы философии, а во — вторых — осознавая заново суть университета как инстанции, представляющей самостоятельную философскую истину.

Первое: с самой ранней поры я ни разу, даже полуосознанно, не смотрел на философию как на науку, над которой высится, доминируя, церковная вера. Я не считал никогда, что церковная вера ограничивает философию, направляет ее и способствует ее распространению вширь, за пределы всего мира науки, в мир веры. Столь же мало мне был свойственен и другой настрой, по-видимости, прямо противоположный: я не считал, что философия — это «научное мировоззрение». И то и другое — понимание философии как введения в богословие и ее толкование как научного мировоззрения — равносильно признанию философии неким знанием, подразумевающим необходимость выучивать определенный набор положений, которые равно значимы для всех, то есть признанию философии подобным другим наукам процессом исследования и изучения.

Все более содержательной, все более действительной являла мне себя подлинная философия, существовавшая на протяжении тысячелетий и, достигая своих вершин в учениях Платона и Канта, осознававшая себя именно таковой. Существенное — это философские идеи, значение которых не может быть выведено ни из чего другого, кроме их собственного первоистока. Они — те силы, которые нужны для действительной, реальной жизни. Нигде философия не предоставляет свои результаты как средство для планирующей деятельности в мире. Однако она приводит к ясности основу сознания, исходя из которой обретают свои границы и смысл результаты науки и возможности для планирующей деятельности.

Развитие философствования в произведениях мыслителей есть поиск возможности сообщить философскую веру, которая находит свое исторически обусловленное воплощение в авторе произведений, мыслящем ее во взаимосвязи с традицией. Это сообщение — неизбежно косвенно, окольно, в отличие от всей прямоты наук. Если есть стремление достичь максимальной прямоты, то предмет становится абсолютным и, тем самым, пустым в философском отношении. Косвенное сообщение Кьеркегора, отвергнутое нами как намерение, привело к ясности — как методологическое сознание — эту неуклонность философского сообщения, его неизбежность и неотвратимость.

Второе: самосознание философии всякий раз вновь обреталось мною как дело и идея университета. В современном его виде университет есть превращение знания, руководимого и направляемого философией, в самостоятельную тягу к знаниям, так что смысл университета — не в господстве какой-то определенной философии, а в том, что все в целом живо проникнуто философией.

Университет как таковой уже не является христианским, а еще менее того — ориентированным на какое-то определенное вероисповедание. Он не утратил бы своего смысла, а только расширил бы его, если бы на теологическом факультете было несколько отделений, на которых верующие люди преподавали бы основы библейской (католической, протестантской, иудейской) и буддистской веры.

Направляющая роль веры для познающего человека может быть постигнута двояко: либо идя от религий, сообщающих себя через посредство теологий так, как они сформировались исторически, либо идя от изначально философского, глядя на эти иные, внешние по отношению к философии и чуждые ей, ограниченные возможности. Для университета характерна полярность религии и философии.

То, что философия дополняет религию, отнюдь не обязательно оспаривая и отвергая ее, — может стать для большинства студентов в то же время возможным обоснованием их жизни. Сегодня приходится считаться с тем, что значительная масса молодежи не имеет строго определенного вероисповедания. Можно осуждать это или не осуждать, но для этой молодежи философия есть единственный путь к прояснению возможностей веры и мышления, на котором они смогут осознать взятые на себя обязательства как безусловно признанные.

Эту руководящую роль философии можно объяснить. Она по характеру своему отличается от руководящей роли теологии, которая осуществляется догматически. По отношению к философствованию верно следующее: каждый может ссылаться только на самого себя; нет человека — наставника, по аналогии со священником; учение становится поводом для размышления, но не дает очевидности, не является само собой разумеющимся; нет никакого священного писания, есть только великая философская традиция, существующая на протяжении тысячелетий на Западе, в Индии и в Китае.

Наука в узком ее понимании — это для философии и теологии средство и поле приложения сил. Но наука все-таки ближе к философии. Ведь только философия понимает, что такое безграничная и всесторонняя наука, и желает, чтобы такая наука

существовала. Она постоянно была готова к оправданию и защите «современной науки» от сил, ей враждебных.

Правда, философия часто, неверно понимая собственную природу, отождествляла себя с современной наукой или выступала на протяжении этих веков как «тоже наука». Сегодняшняя задача — вернуть ее к самой себе.

Философ — не пророк. Он не провозглашает себя образцом для подражания. Но он представляет собой человеческое бытие как оно есть, зачастую и ошибочно. Он хочет вспоминать, воспринимать традицию, заклинать, апеллировать. Он не притязает на то, чтобы другие следовали за ним, но в случае удачи дает повод им прийти к постижению самих себя. Он — не обладатель истины, но живет в своем времени, занимаясь серьезными поисками.

Философский университет — это то пространство, где разворачивается бесконечно продвигающееся вперед познание. Здесь встречаются разнообразные предпосылки для мышления, порожденные разнообразием веры, — встречаются, взаимно воспринимая друг друга, ради того, чтобы поставить вопрос друг другу и породить друг у друга сомнения. В основе же всего лежит всеохватывающая вера, которую никто не может назвать своей собственной, представив ее в определенном облике: вера в путь истины, на котором могут встретиться все, кто честно ведет исследование. Они остаются открытыми в мышлении своем, они не замыкаются от других. Другие образы веры не исключаются, а если это происходит, то, скорее, служит признаком неистинной веры. Это пространство университета содержит все возможности для специальных научных исследований. Его духовная жизнь, покрывая сводом и пронизывая все, реализуется в ходе спора теологии и философии.

С момента выхода в свет моей «Философии» (1931) философская вера как смысл философского учения обосновывалась мною в лекциях и публикациях. В работе «Философская вера» (1931) я сформулировал ее суть со всей четкостью и определенностью.

12. Идея всемирной истории философии

Лекции по истории философии я читал с 1922 года. У меня не было единой программы и плана, в соответствии с которыми освещались бы исторические эпохи и учения великих мыслителей. Я читал лекции в таком порядке: «Современная философия», «От Канта до современности», «Кант и Кьеркегор», «Ницше», «От Августина до Фомы Аквинского», «От Фомы Аквинского до Лютера», «Греческая философия», «Платон», «Китайская философия», «Индийская философия» (последние две лекции я начал читать только после 1945 года). Я публиковал отдельные работы по истории философии: «Ницше» (1936), «Декарт» (1937). Изучение истории было важно мне для освоения философствования, а не само по себе.

Мой интерес к истории философии изменился после того, как я испытал национал — социалистический террор и ощутил изоляцию в собственном государстве. Написанная в ту пору «Философская логика» отнюдь не была единственной моей работой. Начиная с 1937 года, я обрел новое знание о мире благодаря чтению. Я с удовольствием совершал мысленные путешествия в духовный мир Китая, чувствуя общность первоистока: как быть человеком, противостоя варварству окружающего мира. Меня привлекал китайский гуманизм, к которому я относился с благоговением. В те годы моя жена, в созвучии с нашим настроением, по вечерам читала вслух Шекспира и Эсхила, потом — книги об английской истории и китайские романы.

С учетом сложившейся ситуации требовалось иначе отнестись к истории западной философии, окидывая учения мыслителей прошлого более пристрастным взглядом. Встал вопрос: в каком смысле они творили и оберегали то, что могло бы противостоять окружающему нас ужасу, а в каком — подготовили почву для того, чтобы этот ужас стал возможным? Отличать поистине Великое, необходимое и существенное — эта задача на протяжении всей жизни казалась мне самой важной. Я принимал ее близко к сердцу. Сейчас это стремление к поиску Великого значительно возросло. Я вижу более ясно, что мне искать.

Но в то же время возник интерес и к выяснению того, что такое человечность вообще. Здесь требовалось почувствовать ту основу, ту меру, которые нужны, чтобы утвердить себя в современности. Национал — социализм привел к радикальнейшему разрыву коммуникации меж людьми, а в результате человек перестал быть самим собой. Стало очевидно,

что разрыв коммуникации, на смену которой приходит своеволие насилия, во все времена представляет собой угрозу существованию личности и подлинную опасность утраты себя.

Наоборот, философствовать означало теперь — работать над созданием условий, в которых станет возможна универсальная коммуникация. Каковы эти условия, мы должны были представить себе ясно. То, в чем могли обрести себя люди, было, с одной стороны, разработано в виде философской логики, выступающей как инструмент; но, собственно, это уже существовало реально в виде подлинного общения людей во всех его проявлениях. С другой стороны, можно было обрести себя и благодаря знанию общей истории философии, в мире которой мы завязываем диалог друг с другом. Реально существующая всемирная история философии могла стать пространством для универсальной коммуникации, определить ее рамки. Она есть условие для максимального прояснения самосознания — в споре — беседе с «другим», в том, что затрагивает и захватывает тебя, и в том, к чему ты относишься как сторонний наблюдатель.

В тот момент, когда ты понимаешь это, возникает настоятельная потребность обрести осознанное видение всей истории человечества в целом. Мы обладаем великой общей духовной историей. Но фактически общей она с самого начала не выступала. Скорее, наоборот: в реальной предшествовавшей истории философии соприкосновения были кратковременны или отсутствовали вообще. Весьма часто развитие происходило изолированно, параллельно, предавалось забвению даже собственное прошлое, и это было характерно как для всей мировой истории, так и для локальных исторических процессов. Действительно единого непрерывного процесса не существовало вообще, непрерывность сохранялась лишь временами. Увеличить коммуникацию, обеспечить непрерывность — великое дело, достойное человека, и прежде всего — философии, которая есть эхо жизни и подготовка ее.

В 1937 году я разработал план написания всемирной истории философии, который намеревался осуществлять наряду с работой над «Философской логикой» и с помощью ее. Я, правда, отдавал себе отчет, что осуществить предприятие такого рода в одиночку немыслимо — ведь надо было исторически постичь и разобрать весь материал. Но мне точно так же была ясна и необходимость выполнения этой задачи. Поскольку для самой философии необходимо постижение всей ее истории в целом, а осуществить это может опять-таки только один мыслитель, одна голова, то надо попытаться совершить невозможное.

В отличие от великих энциклопедий как собраний материала,

создающихся в результате совместной работы сообщества многих мыслителей, — энциклопедий, вызывающих уважение и совершенно необходимых, — общая картина всего в целом, которую, испытывая собственный интерес к философии, пытается нарисовать отдельный мыслитель, приводит к одной постановке задачи: не стремиться к исчерпывающей полноте материала, к всезнанию, а кратко изобразить основную схему понимания истории, постоянно иллюстрируя ее полными значения примерами; пробудить чувство целостности истории; разделить мыслителей по их рангу, определить Великое и немногих единственно Великих; сориентироваться в самом существенном для эпохи, в реальных проблемах, в тех силах, которые влияют на мышление; достичь наглядности, показав великие исторически самостоятельные первоистоки в Китае, в Индии, на Ближнем Востоке и на Западе; дать почувствовать само историческое, в отличие от абстрактно — общего.

В работе над всемирной историей философии, которой я занят сейчас, мне придает силы сознание того, что представляется мне естественным и не вызывающим вопросов еще с тридцатых годов, когда я занялся китайской философией.

Мы находимся на переходе от вечерней зари европейской философии к утренней заре всемирной философии. Сегодня на этом пути остаемся мы все — все отдельные мыслители. Но после привала мы продолжим путь в будущее, где наряду с самыми ужасными возможностями просматриваются и самые светлые: закат дает одиночке — мыслителю возможность спасти свое достоинство, прибегнув к философии, а для того, чтобы наступил восход, философия должна сформировать нравственное сознание. Без него восход просто не состоится.

13. О моих произведениях в целом

Когда я окидываю взглядом свое духовное развитие, то исхожу из того, что вижу нечто, остающееся неизменным со времен детства. Основная установка, сложившаяся в молодые годы, прояснялась на протяжении всей жизни, обогащаясь тем материалом, который дает знание мира. Однако никогда не происходило перемены убеждений, никогда не было перелома, пережитого кризиса и перерождения. Единственно большим поворотом в моей жизни стал союз, который мы заключили с моей женой. В нем то, что существовало ранее, закрепилось и бесконечно умножилось. Я жил тем, что досталось мне в наследство из родительского дома. Обретенное позже знание позволило мне яснее увидеть полученное мною там и полностью осознать это.

Ощущение бытия изменилось в нашей жизни под влиянием постоянной угрозы, исходившей от преступного национал-социалистического государства — оно смогло сделать так, что наше личное будущее показалось нам безнадежным. Тот, кому представлялось, что жизнь уже кончена, по миновании опасности ощущает, будто она дарована ему во второй раз. Но никакая всемирная катастрофа не смогла бы затронуть глубинного содержания внутреннего мира или переплавить его в нечто иное. Пережитые потрясения лишь заставили бережнее хранить то, что было, демонстрируя новые примеры, благодаря которым это сохраняющееся становилось более ясным.

Что это было такое, я смог сказать только всеми своими произведениями, взятыми в целом. Нельзя недооценить глубину той основы, которую заложили впечатления детства — насколько я смог их постичь: вынужденная изоляция уже в школе; болезнь, лишившая меня большей части того, что составляет естественную, здоровую жизнь; счастье жить в семье разумно мыслящих родителей, в семье, проникнутой любовью и дающей ощущение надежности; доверие, которое родители испытывали к жизни, принимая ее; сохранившееся на протяжении долгой жизни родство душ с любимой сестрой; консервативно — либеральная, оппозиционная политическая установка, стремление к демократии через аристократизм, которое преобладало и в семье матери, и в семье отца. Кратко отмечу два главных момента в моем творчестве. Сущность человека обнаруживается только в пограничных ситуациях. Поэтому я с молодых лет старался не отводить взгляда от самых экстремальных проявлений жизни. Это был один из мотивов, по которым я избрал своим поприщем

медицину и психиатрию: хотелось узнать, где границы человеческих возможностей, и постичь значение того, что обыкновенно предпочитают не замечать, отводя взор, и замалчивать.

Сколько я себя помню, толчком к развитию для меня всегда был опыт взаимопонимания и взаимонепонимания с другими людьми. Еще школьником я испытывал страдания, когда после конфликта добрые отношения приходилось восстанавливать лишь с помощью общепринятых проявлений дружелюбия. Я был непримиримым, был борцом, потому что добивался ясности. Если полному прояснению ситуации препятствовал какой-то авторитет (к примеру — авторитет учителя), если оно пресекалось насильственно, я мучился. Но я хотел еще большего: несмотря на то что у меня были родители, другие дети в нашей семье, друзья, я страстно желал коммуникации, в которой преодолевалось бы любое непонимание, которая была бы выше преходящего, сиюминутного и выходила бы за пределы чересчур самоочевидного, само собой разумеющегося. Человек обретает самого себя лишь в коммуникации с другими, что никогда не достигается только через посредство одного знания. Мы становимся самими собой лишь в той мере, в какой становится самим собой «другой», и обретаем свободу только в той мере, в какой обретает свободу «другой». Поэтому со школьных лет для меня вопрос о коммуникации между двумя людьми был прежде всего вопросом практическим и лишь во вторую очередь — подлежащим философскому осмыслению основным вопросом нашей жизни. В конечном счете, все идеи можно проверить и испытать, применяя один критерий: способствуют они коммуникации или препятствуют ей. Это мерило приложимо даже к самой истине: истина — то, что нас связывает. Можно сказать иначе: ценность истины следует измерять истинностью той связи, которую она делает возможной. Лишь с моей женой я познал, что такое исполненная любви борьба, вступив на путь оберегающей жизнь, никогда не кончающейся, не знающей сдержанности, а потому неисчерпаемой коммуникации.

Итак, двигаясь по двум этим направлениям (постижение пограничных ситуаций и прояснение коммуникации), я не достиг конца пути ни на одном из них. Сознание того, что я — в пути, и в тот исторический период, в который живу, застаю все происходящее лишь в незавершенном виде, в готовности развиваться дальше, привело меня, благодаря счастью профессорства, обеспечивающего неограниченную свободу для работы, к многолетнему изучению учений великих мертвых. Я планомерно осваивал традицию везде — там, где только мне

казалось, что я что-то понял. Античные произведения и Библия, с которыми я познакомился еще ребенком, только теперь были восприняты осознанно и серьезно — как основа нашей западной истории: не как авторитеты, перед которыми следует преклоняться, а как задачи, требующие своего разрешения и перевода на язык современности.

С самых ранних пор я чувствовал тоску по Великому. Я благоговел перед великими людьми и великими философами, которые необходимы, незаменимы для всех нас, которые задают меру, какой можно мерить человека, но которых мы тем не менее не обожествляем. Ведь каждый человек должен стать самим собой даже и перед лицом самых Великих. Авторитет истинен, но не абсолютен. Строптивое противостояние величию — это пагубная неистинность, а терпеливое изучение и самостоятельное постижение в результате его есть истинная форма освоения.

Первым из философов, который окрылил меня, был Спиноза. В университете я время от времени читал Фехнера, Вундта, Шопенгауэра, но Канта еще не понимал. Для моего мышления эти авторы значили очень мало. Я был полностью погружен в науку.

Моя жена довольно рано указала мне на Платона. Однако я тогда еще не познакомился с его произведениями. Насколько позволяли время и силы, я, наряду с работой психиатра, посещал семинары Ласка, читал Канта. Я понял кантовское учение об идеях. Немного изучал Аристотеля, Декарта. Во время мировой войны я более основательно занялся чтением Плотина, но в первую очередь потому, что его комментировал Кьеркегор. Кьеркегору я обязан термином «экзистенция», который стал для меня ключевым с 1916 года— для того, чтобы постичь то, что я пытался с этих пор постичь в беспокойных исканиях. Но таким же потенциалом обладало понятие «разум» и требование разумности, которое теперь становилось все более ясным благодаря Канту.

Я искал величия мышления в философии. Вошедшая в обычай уравниловка в учебниках и лекциях была невыносима. Работы тех философствующих авторов, которых я читал студентом, оказались предельно легковесными. Во мне крепло сознание того, что я не вправе выстраивать философов в один ряд. Величина философов и истинность их мышления были прямо связаны друг с другом. Истину их нельзя было постичь в форме каких-то результатов и учений. Занимаясь собственной философской работой, я тоже намеревался идти тем путем, который видел со времен юности, но с каждым годом все более ясно; тем путем, которым шли немногие великие, — путем, ведущим к достижению основополагающего знания о человеке,

которое создаст пространство для реализации всех возможностей, способных связать людей, несмотря на разнообразие их веры и жизни.

Я стремился к такому философствованию, которое может быть доступно и убедительно для человека просто как человека, но не выступало бы эзотерическим занятием одиночек-аристократов. Скорее, я хотел говорить с человеком просто с улицы — как человек, на эту улицу вышедший. Не потому, что каждый, каков он есть, должен иметь абсолютное право быть таким, каков он есть, а потому, что каждому необходимо дать возможность, с почтением взирая на величие, прийти к себе самому, безусловно руководствуясь любовью и разумом в рамках, установленных вечными порядками. Я стремился к общему мышлению, которое не являлось бы мышлением общезначимой, действительной для всех истины, но позволяло бы достичь коммуникации, которая не была бы потоком слов, разжижающим все, но превратилась бы в некое пространство, которое все более осознавалось бы нами и в котором мы все могли бы повстречаться друг с другом.

Я искал это пространство, в котором истинные содержания воспринимались бы даже тогда, когда они противоречат друг другу, находятся в конфронтации между собой. Я пытался постичь эти содержания и там, где не был причастен к ним сам в своей реальной жизни. Такое философствование должно было создать для каждого возможность свободно наполняться этими содержаниями и приводить к выводу, что ни один человек не есть все, не есть величайшее: я, если действительно состоялся как «я», сознаю, чего достиг, но не сомневаюсь, что нуждался для этого в других.

Однако я с ранних пор оказался на той границе, за которой кончается вера в гармоничность действительности и начинается полное крушение коммуникации, абсолютное своеволие, зло. Философия, считавшая, что в этом мире, в реальной современности все в полном порядке, казалась совершенно ложной.

Правда, в своем философствовании я пытался заглянуть туда, где сходят на нет все противоположности. Однако все то, что я мыслил таким образом, могло быть показано — ибо я пребывал не там, а здесь — в его влиянии на мою жизнь и в его влиянии на мир, в философствовании мне приходилось знать, где я пребываю и чего достиг. Говоря короче, мир в целом нельзя понимать как разумный, но я должен проявить в нем решимость руководствоваться разумом.

По этой причине я хотел реализовать в философствовании то,

что подробно рассматривал, употребляя понятие «разум» — в духе Канта и Лессинга. Исходящая из разума воля к разумности, которая, однако, должна постоянно опираться на нечто иное, на экзистенцию; осознание первопричин, которые сами не имеют причины и основы; основополагающее стремление деятельно открывать себя, чтобы наполняться тем современным, через посредство чего говорит вечность, — вот такими и некоторыми другими формулами можно описать то, что представляет собой Одно, Единое. Этот разум объективирует себя в существовании исторической реальности и в мышлении ее структур и порядков. Знание того, чего ты достиг и чего желаешь, приводит к видению собственной эпохи в горизонте всей истории. Когда я, будучи студентом, думал, что на протяжении всей нашей жизни все останется так, как оно есть сейчас, эпоха особого значения не имела. Ее можно было рассматривать лишь бегло, мимоходом. Смысл жизни определялся не этим временем. Смысл — нечто вневременное. Лишь с началом в 1914 году войны и для меня тоже возник вопрос о том, что происходит сегодня, что представляет собой эпоха, и с тех пор этот вопрос стоит постоянно. Все, что касалось меня, все, в чем я принимал участие, я обдумывал и оценивал отныне, исходя из мотивов его возникновения и последствий в данное время.

Была бы напрасной затеей попытка понять эпоху ради того, чтобы уразуметь, что считать в соответствии с ней задачей философии. Невозможно вычислить, чего требует нынешнее время, а затем планомерно следовать этому требованию. Каждый человек благодаря тому, из чего он исходит в своей жизни, уже являет собой момент своей эпохи. Но, оглядываясь назад, можно оценить ситуацию, сложившуюся в твою эпоху, и критически проверить, в коей мере ситуация, какой она видится сейчас, мыслится сообразно, и чего желают в эту эпоху. Однако и тогда смыслом философствования остается нечто выходящее за пределы этой эпохи и всего времени вообще.

При историческом взгляде предполагается, что можно различать начала эпох, их классическое завершение, кризисные переломы, рассматривать что-то как подготовку к возникновению нового, а что-то — как сохранение старого. Допускать, что такое различение возможно — лишь одна из существующих точек зрения. Но если на какой-то момент принять ее, то наша эпоха предстанет в таком свете: сейчас не то время, которое создает великие, уникальные произведения, как это было со временем Лао Цэы, досократиков, со временем, когда возникли некоторые диалоги Платона, некоторые библейские тексты. Скорее, эта эпоха в мировой философии аналогична поздней античности,

мышлению стоиков, Плотина, Боэция, которое, по большому счету, являло собой нечто общее.

Сегодня стремление создавать завершенные произведения представляется напрасным. Оттого, что стали невыносимо противны небрежность, приблизительность, пустое литье воды, хаос, сегодня возникает искушение подчинить себя дисциплине и создавать художнические произведения в поэзии, в философии, в искусстве. Но вместо того, чтобы, исходя из первоначала, обрести жизнь и позволить ей выразить себя в произведениях, движение по этому пути приводит к иному. Удается достичь структур подлинной реализации, в которых, правда, просматриваются поиск простоты, «бесшовная» конструкция, четкое чувство языка, однако все это становится сомнительным из-за притязания таких произведений на самостоятельное значение. Стремление сопротивляться бесформенности современных ничтожеств — дело хорошее, а потому заслуживает одобрения и то, что делают их противники, поскольку они напоминают и предостерегают.

Между тем путь к истине представляется сегодня другим. Для философии нов феномен современной науки в ее уникальной реальности и так же ново непонимание своей собственной сущности в окружении абсолютной техники, а также последствий и того и другого для всего нашего бытия в целом. Все усилия нынешних философов, видимо, отличаются слишком близким прицелом и неистинностью, что не позволяет им увидеть эту реальность науки, приводит к непризнанию ее и не позволяет ей стать одним из краеугольных камней в здании всеохватывающего основополагающего знания. Дешевые упреки и обвинения в адрес науки и техники не помогают. Не помогает ни один рецепт исправления ошибок и приведения в порядок всего в соответствии с каким-то тотальным планом (тогда как потенциал мышления используется вполне осмысленно, когда строятся планы, и эти планы ограничиваются четко определенными задачами, относящимися к образу бытия в наше время). Не помогает и отвлечение взгляда на будто бы усмотренную метафизически тотальность происходящего, что приводит к ложной идее о существовании какой-то необходимости — идее, парализующей фактическое познание и эффективную деятельность.

Великие метафизики прошлого предоставили нам незаменимые средства мышления, но мы не можем применить их для исцеления, постигнув с их помощью современную ситуацию. Философия может стать искушением, поддавшись которому, легко уклониться в сторону. Однако во всей науке в целом, если вникнуть в суть дела, сохраняется старая задача, стоявшая в

философии, — двигаясь от наивысшей универсальности, достичь простого основополагающего знания, на которое в то или иное конкретное время опирается дух сообщества.

Если бы обо всех моих произведениях, вместе взятых, высказывался мой недоброжелатель, он мог бы презрительно назвать меня всезнайкой. Но если их будет рассматривать человек, всецело посвятивший себя философии и проникнувшийся ею, он поймет суть дела, а именно то, что философствование должно с необходимостью стать универсальным. Такая универсальность — путь как раз не ко всезнанию, которое невозможно, а к основополагающему знанию, которое связывает все воедино и которое, как всеобъемлющее сознание, охватывающее все, могло бы выразить и сообщить себя в философии.

Не по — человечески было бы разделять людские дела и проблемы по специальностям и ведомствам, когда каждый индивид будет полагать, что его специальность, видимая им сторона вещей — это уже все. По — человечески будет жить, сознавая, что есть всеохватывающее целое, и при этом возделывать собственное поле в своей сфере деятельности так, будто в ней как бы отзывается эхом все в целом. Каждому необходимо сохранять эту свою особость, но никто не должен отказываться от такого всеохватывающего сознания. Это сознание — более важно по значимости, хотя оно может реализоваться не как нечто такое, что стоит надо всем в некоем воображаемом пространстве, но всегда являет себя только в личностном образе. Философствование оберегает от распада духа, препятствует разбросанности человека. Для него свойственно стремление к концентрации.

Быть может, надо обладать отчаянной смелостью, чтобы ставить себе задачу — работать ради достижения этого всеохватывающего и концентрирующего сознания, которое можно было бы сообщить другим. Едва ли можно достичь этой цели, если при этом не являешься в чем-то специалистом сам. История философии показывает, что большинство великих философов — в то же время специалисты в каких-то отраслях знания. Но в таком случае происходит опасный для индивида крутой поворот — выход из сферы особенного, специализированного ко всеохватывающему целому, причем не просто так, как это должен делать любой человек, а с намерением трудиться в сфере философствования профессионально, пытаясь донести до других это всеохватывающее сознание. Такой крутой поворот и в самом деле требует участия в тех интеллектуальных работах, которые идут в различных сферах — и чем их больше, тем лучше. Это

требует понимания всех реальностей, а следовательно, грозит совлечь на стезю всезнания и разбросанности. Оберегающее воздействие философии состоит в том, чтобы как раз и не допускать впадения во всезнайство, не давать человеку пленяться всем, что только ни встретится ему на пути. Скорее, оно — в том, чтобы возбудить в человеке стремление как можно быстрее оставлять это — немедленно, как только у него возникнет представление, будто стало ясным то предметное, которое связывает все со всеохватывающим общим сознанием.

Философ отваживается на нечто такое, что первоначально происходило лишь у немногих великих гениев. Мы, все прочие, работаем на протяжении веков над воплощением в действительность того, что уже было схвачено и освоено, над распространением того, что было творчески создано в той или иной конкретной исторической ситуации и при определенной конкретной мироориентации. Такая работа необходима. Задачу ее хотелось бы видеть в том, чтобы донести до всего человечества пребывающее в труднодоступной сокрытости у великих людей.

Главное в человеческом бытии — чтобы отдельный человек был причастен ко всей жизни в целом, в то же время делая нечто незаурядное в своей специальной сфере деятельности. Если бы все были только узкими специалистами, человечество легко стало бы добычей того, кто подчинит массу своей воле посредством насилия. Но ему удастся такое лишь тогда, когда специалисты не будут понимать сердцем и разумом, куда движется все в целом и чем в тенденции закончится развитие в их специальных сферах.

Философию называли специализацией во всеобщем. Это парадоксально, но философия должна работать над такими образами знания, с помощью которых и через посредство которых то, что существенно для понимания вещей, становится образом мысли каждого. Тогда сознание мира, сознание трансцендентного и сознание свободы быть самим собой стало бы всеобщим сознанием и воплотилось бы как утвердившийся в обществе дух во всей своей простоте, истинности и глубине.

Именно такое общественное сознание некогда сформировало Запад. Сегодня преобладает ощущение, что это сознание переживает закат — измельчав, утратив глубину и распавшись на множество никак не связанных между собой процессов. Выдвигается требование «синтеза» знаний, но тем самым подразумевается — что уже более осмысленно — не энциклопедический очерк о результатах, достигнутых всеми науками, а основополагающее знание, которое послужит опорой для всех наук и всего практического мышления, проникнутых им.

Мне представляется, что люди, начинавшие в какой-то

специальной отрасли знания и затем отважившиеся задуматься об этом основополагающем знании, разрабатывать его, просто призваны озаботиться всем тем, что существенно в человеческой жизни. Не следует, основываясь на предрассудках, заранее формировать сомнение, принесут ли они что-то ценное для общества или будут таким образом разбрасываться и распыляться. Тут нужно посмотреть, открывается ли в такой сопричастности мышлению других нечто, стоящее этих трудов. Пусть это произойдет. Не станем отвергать наш тип работы как нечто невозможное. Не надо навязывать, глядя извне, какую-то программу — чего здесь следует достичь. По крайней мере, прислушаемся к великим философам прошлого, облегчим себе понимание их и углубим его посредством нашего современного философствования.

Представляется невероятным, что основополагающее знание, складывающееся в наше время, уже может обрести некую систематику, которая, как целое, могла бы просуществовать достаточно долго. Скорее, приходят следующие мысли по этому поводу.

Система, замкнутая в себе, превратилась бы в нелепость. Можно говорить только о систематизации.

Если при развитии мыслей, при собирании разрозненного материала в некое целое возникает растущее удовлетворение от сознания того, как все согласуется между собой — так, что новые наблюдения подтверждают что-то или дают какое-то отсутствовавшее звено в цепи, — то переживания такого рода могут иметь различный смысл.

Такие проекты — скажем, видение мира в целом — можно представить по аналогии с системой безумия у душевнобольного. Когда больной явственно и четко мыслит систему, предстающую у него пред глазами как некое откровение — «бытие таково», — то прекращается страх, невыносимо терзавший и изнурявший больного.

Или же такие проекты выступают только как способ удостовериться в собственном мышлении, выяснить его возможности и границы, познать его формы и доступные для него миры. Именно это великолепно проделал Кант. Он ограничил свою задачу тем, чтобы разум удостоверился в самом себе. Осознание того, как он приходит в процессе собственного методологического прояснения к новым позициям и как все согласуется друг с другом, когда всякое особенное постигается как принадлежащее целому, — все это давало ему великий философский покой. Правда, он говорил, что не знает, что такое мир, что такое Бог, что такое бессмертие, но знает, как их можно

мыслить, откуда происходят эти мысли, каковы их смысл и назначение.

Возможно, я тоже почувствовал нечто вроде этой радости Канта, но она все же была значительно более сдержанной, и систематизация возможностей разума в пределах способов бытия «объемлющего», каковым мы являемся и в котором мы обнаруживаем себя, тоже осталась для меня незаконченной, даже — принципиально незавершимой. Однако систематизация, которая стала разнообразной, объединяет на своих особых путях то, что ранее существовало порознь. Постепенно сложился образ философского мышления, в котором множество связей, в котором одно дополняется и оберегается другим, но не так, что в результате оно замыкается в какую-то систему, а так, что всякая систематизация продолжает существовать в некотором пространстве, и мы касаемся этого пространства при трансцендировании в необозримом множестве точек, и все же никогда не узнаем его полностью, без остатка.

Уже в своей «Психопатологии» я проводил систематизацию, осуществляя деление по методам исследования. В моей «Философии» эти методы были методами трансцендирования — в мироориентации, в прояснении экзистенции и в метафизике. В работе «Об истине» они стали способами существования того «Объемлющего», в котором мы существуем и которым являемся сами.

Если единство моего мышления существует, то оно обеспечивается тем, что все связывается простым всеохватывающим основополагающим знанием, которое, однако, не может обрести какого-то окончательного вида, и основополагающей волей к коммуникации. В моих произведениях нет всеохватывающего единства всего в целом — есть ряд единств в открытом пространстве, центр и пределы которого находятся где-то в бесконечном Едином — так, что наше мышление не может достичь ни этого центра, ни пределов, но оно истинно в той мере, в какой имеет связь с этим пространством и обретает исходящий оттуда внутренний свет.

Помимо прочего, сам стиль, которым написаны мои философские произведения, служит их своеобразной характеристикой. Школьные сочинения давались мне с трудом. Меня упрекали в тяжеловесности изложения, в излишней обстоятельности, в длиннотах. Одноклассник как-то утешил меня: «Конечно, журналистского дарования ты лишен, но, по крайней мере, иногда относишься серьезно к тому, о чем пишешь».

Свои ранние работы, «Психологию» и «Психологию мировоззрений», я написал сразу, не дорабатывая затем рукописи

и не внося в них большой правки. Начиная с «Философии» и «Духовной ситуации времени» я стал тщательно работать над текстом. Это было связано с тем, что я принял решение философствовать, используя строгий метод, а прежде всего — с постоянными критическими замечаниями моего друга Эрнста Майера. С тех пор я ничего больше не публиковал, не переработав первую чистовую рукопись.

Мои работы всегда возникали из великого множества разрозненных заметок, которые я собирал. В один прекрасный день определялось, под каким углом зрения их упорядочить, что отобрать, а что отбросить; так возникало нечто связное и заполнялись существующие пробелы. Если идея находила выражение в какой-то схеме, то эта схема не строилась специально при помощи дедукции, а возникала из существующего материала записей. Самые всеобъемлющие идеи, определяющие построения моих книг, важны менее всего, поскольку они были продиктованы исключительно соображениями рациональности, необходимостью сгруппировать материал.

Стиль моих произведений меняется всякий раз в зависимости от того, о чем идет речь. Там, где у меня было что сказать научно, я написал объективно о вещах; там, где я философствовал, я писал так, чтобы выразить смысл Всеобъемлющего. Поскольку в моем философствовании главным было движение к разуму, проистекающее из идеи возможной коммуникации, я больше старался достичь логической ясности (которую ценю высоко и стремлюсь, по мере сил, к ее достижению), чем ясности экзистенциальной, и предпочитал убедительность мысли красоте поэтического слога (к которому, вдобавок, у меня не было и способностей).

В моих произведениях, которые всегда писались в спокойном деловом тоне, присутствует стремление оказать определенное влияние: сделать все возможное, чтобы способствовать воплощению в мире хотя бы малой толики разума, но это влияние должно осуществляться таким путем, чтобы вызвать в читателе непокой, пробудить его возможную экзистенцию, ободрить его и воодушевить на то, чтобы он стал самим собой, с предельной откровенностью и честностью сказать ему о возможном смысле в бытии и оставить его мучительно размышлять о непостижимом. Такова общая тенденция, которая свойственна мне (если можно называть тенденцией стремление к разуму). Ради этого стремления я мыслю, испытывая его сам, и хотел бы пробудить его в других.

В своих произведениях я не исходил из допущения, что истина уже пробивает себе путь или что мир с самого начала

руководится разумом. Скорее, исторический и современный опыт говорит о противоположном, если мы говорим о разуме, доступном человеку, — а только его мы и можем называть разумом.

Поэтому столь много зависит от того, ради чего каждый человек хочет жить и действовать. Ему приходится знать, где он находится, какова его ситуация. Его собственная сущность и ход событий обусловливаются тем, что он считает значительным и важным, тем, что он делает, совершая выбор — даже в самом малом. Это имеет вечное значение пред лицом трансценденции, беззаветно отдаваясь которой, человек только и становится самим собой, обретая там защиту от суеты успехов и неудач. Это имеет значение во времени — благодаря деятельности человека в мире. Мир не движется сам по себе, не идет своим собственным заранее определенным и неизменным ходом, подчиненным каким-то законам, аналогичным законам природы. Он не есть процесс, определенный судьбой, которую могло бы постигнуть какое-то мышление, — судьбой, которая была бы определена заранее и зависела от чьих-то чужих, не наших решений. То, что будет, зависит от каждого отдельного человека, однако все в целом не может быть высчитано им.

Написанное мною по большей части излагалось ранее в моих университетских лекциях. Если говорить о каких-то педагогических устремлениях, то они никогда не планировались мною заранее. Действительным воспитанием мне казалось только самовоспитание. Это — личное дело каждого, но когда преподаешь, то, обращая внимание на что-то, демонстрируя ход собственного мышления, показывая примеры действия, сообщая те способы, которыми постигается целое в мысли, надеешься тем самым способствовать тому, что в молодежи стремится к свету. Я не внушал чего-то отдельным людям, но давал им почувствовать строгость вечного порядка. Они не вправе давать себе послабление. В совершенной терпимости кроется строжайшая требовательность. Ее ощущает каждый человек. Тому, чтобы она ощущалась яснее, решительнее, как раз и может поспособствовать философствование, сообщающее себя другим.

14. Старость

Когда окидываешь взглядом прожитую жизнь, особенно если это происходит в преклонные годы, испытываешь странное чувство. Как будто подводишь черту под тем, что еще не закончилось.

Такова уж философия: чем она подлиннее, тем труднее завершить ее к какому-то сроку.

Достигнув старости, мыслитель вовсе не чувствует, что его труды закончены. Менее, чем когда-либо, он чувствует это. Кант говорил: едва мы продвинулись настолько, что стали способны начать по — настоящему, как уже приходится сходить со сцены, уступая место начинающим.

Разум продолжает жить, самое важное еще не сказано, самое главное из того, что заявляет о себе, еще не найдено.

Поэтому будет лучше всего, если эти философские воспоминания превратятся в план будущих трудов. Разуму, который устремлен вдаль, не может стать преградой замкнутый круг биологической жизни. И подчас испытываешь странное для этого возраста чувство: твоему взору, подкрепленному духовным опытом, открываются новые дали.

Базель, сентябрь 1953

notes

Примечания

1

Рим. 7; 19.

2

Данте А. Божественная комедия. М.: Советско — американский фонд Интерпракс «Культурная инициатива», 1992. С. 7.

3

Утесов Л. О. Мы родились по соседству // Одесский юмор. Антология сатиры и юмора России XX века. М.: ЭКСМО, 2008. Т. 32. С. 258.

4

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб.: «Наука», 2000. С. 164–165.

5

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Hans Saner. Reinbek bei Hamburg, Rowolt Taschenbuch, Verlag GmbH, 1970. S. 7.

6

Кожурин А. Я. Ландшафты «естественные» и городские (ранние опыты «ландшафтологииции» в европейской философской традиции) // Философия детства и проблемы современного города. Материалы IX международной конференции «Ребенок в современном мире. Дети и город». СПб.: Из — во СПбГТУ, 2002. С. 72–79.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2–е изд. Т. 41. С. 74.

8

Генис А. Соч. в 3 т. Екатеринбург: У — Фактория, 2003. Т. 2. С. 382.

9

Spengler O. Politische Schriften. Volksausgabe. Mьnchen und Berlin, C. H. Beck'sehe Verlagsbuchhandlung, 1934. S. 110–111.

10

Так называемое монголо — татарское иго началось только в 1237 г., через десять лет после смерти Чингисхана, которого сегодня считают в Монголии человеком тысячелетия. Впрочем, поверхностный немец О. Шпенглер мог и не знать таких тонкостей. Не знал он и о другой русской беде — о людях оседлых, которых чествовали при уходе на пенсию за то, что у них только одна запись в трудовой книжке — о приеме на предприятие. Но вот классными специалистами они от своей оседлости так и не стали. Не стали по той причине, что кочевники — администраторы (при социализме — «руководители широкого профиля», перебрасываемые партией с одного «фронта» на другой, с сельского хозяйства на культуру, а с культуры — на охрану заключенных; затем — носители универсальных управленческих технологий Щедровицкого; после них — нынешние универсальные менеджеры по руководству всем на свете) не давали оседлым бессловесным работягам мыслить и действовать самостоятельно.

11

Jaspers K. Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften. Hg. von H. Saner. Мьnchen, 1967. 2. Aufl. 1969. S. 16.

12

Флоренский Павел, священник. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 99.

13

Учение о бессознательном проецировании активной человеческой психики на предмет, предваряющее его познание как объективной данности (о бессознательной проекции Я на не — Я), было создано еще И. Г. Фихте (1762–1814). Именно он, а также Л. Фейербах с его теорией неосознаваемого проецирования земного семейства на небеса должны по праву считаться прародителями современной глубинной психологии.

14

Ницше Ф. Ecce homo // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М.:Мысль, 1990. Т. 2. С. 694.

15

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 7.

16

Быт. 13; 14–17.

17

Быт. 14; 14.

18

См. Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 8.

19

Здесь и далее «Философская автобиография» Карла Ясперса цитируется по настоящему изданию с указанием страницы.

См. Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten…S.ll.

21

Цит. по: Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S.ll.

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S.ll.

23

Цит. по: «Wahrheit ist was uns verbindet» Katalog anlдsslich der Ausstellung — Jaspers-Jahr 2008. Carl von Ossietzky Universitдt Oldenburg 22.05.2008 — 12.07.2008. Hg. M. Bormuth, M. Meyer-Bohlen. Bremen: Verlag H. M. Hauschild GmbH, 2008. S. 39.

Jaspers K. Schicksal und Wille. S. 97.

25

Idem.

Ibid. S. 48–49.

27

Nietzsche F. Die froeliche Wissenschaft // Nietzsche F. Sдmtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Baenden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazz- ino Montinari. Neuausgabe. Mьnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag — de Gruyter, 1999. Bd. 3. S. 513.

28

Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. С. 579.

29

Там же.

30

Паустовский К. Г. Близкие и далекие. М., 1967. С. 289–293.

31

Грин А. С. Собр. соч. в 6 т. М., 1965. Т. 3. С. 14–15.

Там же. С. 43.

33

Грин А. С. Собр. соч. Т. 3. С. 40.

Там же. С. 19.

Там же. С. 48.

36

Пастернак Б. Л.

Грин А. С. Собр. соч. в 6 т. М., 1965. Т. 3. С. 61.

Jaspers K. Philosophische Aufsatze. Frankfurt a. M.; Hamburg, 1967. S. 238–239.

Jaspers K. Schicksal und Wille. S. 47.

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 12.

Idem. S. 12f.

Jaspers K. Philosophische Aufsatze. S. 238f.

Jaspers K. Schicksal und Wille. S. 16f.

От названия города — Эмс.

45

Калли — детское прозвище К. Ясперса, которое сохранилось за ним в семье на всю жизнь. Вероятнее всего, оно возникло потому, что на вопрос, как его зовут, маленький Карл отвечал — «Карли», но не выговаривал букву «р».

46

Karl Jaspers' Family Correspondence / Kirkbright S. Karl Jaspers: A Biography (Navigations in Truth). New Haven; London: Yale University Press, 2004. P. 239–240.

Ibid. P. 240–241.

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 46.

Ibid. S. 47.

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 33.

Ibid. S. 34.

Ibid. S. 35.

53

Wahrheit ist, was uns verbindet. S. 338.

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 41.

Ibid. S. 38.

Ibid. S. 40.

Ibid. S. 48.

Ibid. S. 42.

59

Yaspers K. Was ist Erziehung? Ein Lessebuch. Muenchen, 1981. S. 153.

60

Дядя Карла Ясперса, Карл Теодор Тантцен, бывший товарищем детских игр будущего философа, сделал впоследствии неплохую политическую карьеру, став политиком регионального масштаба. Два раза — с1919по 1921 ис 1945 по 1946 год — он был премьер — министром Ольденбурга, а затем — до самой смерти в 1947 году — министром в первом правительстве Нижней Саксонии.

61

Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten… S. 44.

Ibid. S. 48.

63

К. Ясперс, будучи врачом, обстоятельно излагает собственную историю болезни в автобиографических произведениях — по всей видимости, считая ее важной для понимания своей жизни и своего учения. Поэтому мы тоже приводим данные о заболеваниях философа подробно. Объем выделений при регулярном отхаркивании составлял около 40 кубических сантиметров.

В университетах Европы учебное время измеряется именно семестрами, а не курсами (учебными годами), как в России.

Ibid. S. 49.

Ibid. S. 50.

Ibid. S. 52.

Ibid. S. 53.

Ibid. S. 54.

Ibid. S. 55.

Ibid. S. 56.

Ibid. S. 57.

Ibid. S. 59.

Ibid. S. 60.

Ibid. S. 62.

Ibid. S. 64.

Ibid. S. 65.

Yaspers K. Was ist Erziehung? Ein Lessebuch. Muenchen, 1981. S. 154.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. Inaugural — Dissertation zur Erlangung der Doktorwьrde der hohen medizinischen Fakultдt der Universitдt Heidelberg vorgelegt von Karl Jaspers. Leipzig: Verlag von F. C. W., Vogel, 1909.

Мы говорим не об ученических работах, которые пишутся в подражание кому-то, а о собственных, оригинальных учениях.

81

Герцен А. И. Соч. в 9 т. М.: Гослитиздат, 1955–1958. Т. 5. С. 238. См. также: Герцен А. И. Былое и думы. М.: Захаров, 2003. С. 549.

82

Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen. Мьnchen; Zьrich; Piper, 1985.S. 300

83

Декарт Р. Размышления о Первой философии. Соч. в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 20.

Там же. С. 21–22.

85

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen// Jaspers K. Gesammelte Schriften zur Psychopathologie. Nachdruck der 1. Auflage von 1963. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong; Springer-Verlag. S. 1.

В списке литературы к диссертации эта работа приведена без точного указания года выхода в свет: Ferd. Maack: Heimveh und Verbrechen. Berlin ca. 1894 (ohne Zeitangabe).

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 34.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 34–36.

Ibid. S. 36–37.

Ibid. S. 37.

Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. С. 936.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 37f.

93

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 38f.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 39f.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 40ff.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 47 f.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 69 f.

См. об этом подробнее главу 2 «Психопатология» в «Философской автобиографии» [С. 217–223].

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 2.

Idid. S. 3.

Ibid. S. 4.

102

Idem.

103

Idem.

104

Idem.

105

Такой вывод был сделан на основании того, что швейцарцы написали больше всего книг о ностальгии.

Ibid. S. 8.

107

Он странен потому, что в качестве примера переживания ностальгии, «не находящей разрядки в преступлении», можно рассматривать любое стихотворение, песню, воспоминание о «далекой прекрасной родине».

108

В «Пограничных посланиях» 1904 года, вновь напечатанных в «Островах мечты и снах» 1905 г., статья «Тоска по родине».

109

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 30.

110

Idem.

111

Ж. — П. Сартр отказался от присужденной ему Нобелевской премии в 1964 г., поскольку не хотел себя связывать ни с какой организацией; в специальном заявлении он отметил, что его симпатии принадлежат восточному блоку, но он точно так же отказался бы от Ленинской премии, будь она ему присуждена. Нобелевская премия присуждается независимо от мнения лауреата, его готовности принять или не принять ее.

112

Роман «Тошнота» был написан в 1938 году, после стажировки Сартра в 1934 г. во Французском институте в Берлине, где он познакомился с немецким экзистенциализмом.

113

Сартр Ж. — П. Тошнота. Избранные произведения. М., 1994. С. 31.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 30f.

115

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 31.

116

Idem.

Jaspers K. Heimweh und Verbrechen. S. 32.

118

См. современное переиздание этой работы австрийского физика и философа: Мах Э. Механика. Историко — критический очерк ее развития. Ижевск: Республиканская Ижевская типография, 2000.

Jaspers K. Eifersuchtswahn. S. 86.

120

Ясперс К. Бред ревности. Очерк к вопросу «Развитие личности» или «процесс»? / Собр. соч. по психопатологии. Т. 1. М., — СПб., 1996. С. 124–125.

121

Перевод А. В. Перцева